

ИГО ВЪЛЪИ
МЪИ Р

5

1947

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIV

№ 5

Май, 1947 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТ. ФЕДИН — Необыкновенное лето, роман. Продолжение	3
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Буря, роман. Продолжение	63
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — Город в степи, стихотворение	103
ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ — Тэня, рассказ	106
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Три стихотворения. Переводы с белорусского Дм. Ковалева и М. Исаковского	113

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Большевистская партия и советская литература (Краткий обзор документов)	117
М. МЕНДЕЛЬСОН — Гидеон Джексон и другие (Расовая дискриминация и американская литература последних лет)	150

Памяти погибших писателей

Иосиф Уткин

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ — Как подобает молодым	168
И. РАХТАНОВ — Военной дорогой	171

Библиография

Книга о колхозной деревне

Н. ЗАМОШКИН — Жизнь строится	175
Н. ВЕНГРОВ — Земляки поэта	178
А. МАРГОЛИНА — Колхозная пьеса	181

ПАРОДИИ И ШАРЖИ

АЛЕКСАНДР РАСКИЦ — Очерки и почерки	186
ЯН САШИН — История падения и взлета Силантия Кузякина. Пешком на луну. Морячий брег.	188
КУКРЫНИКСЫ — Вера Инбер, дружеский шарж	189

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

Роман *

КОНСТАНТИН ФЕДИН

★

9

О Лизе по возвращении домой Кирилл Извеков не говорил. Прошло слишком много времени с тех пор, как они разлучились. Так же, как первые месяцы ссылки мысли о ней были его крылом, помогавшим залетать далеко от замшелой лесной деревушки, так эти мысли сделались неповоротливой обузой, когда ему стало известно о судьбе Лизы. Впервые он узнал власть воспоминаний, и открытие это его поразило. Пока он думал, что разлуке с Лизой положен срок, что он отбудет ссылку и потом для них наступит жизнь, о которой они вместе мечтали, — он видел Лизу, хотя и отдаленной от него туманом оцепенелых верст, но живущей с ним напролет дни и ночи. После ее замужества она стала прошлым, но прошлое это обладало истязавшей силой, и он с болью принуждал себя забыть о нем, и все не мог. Он сразу перестал упоминать Лизу в письмах к матери, и Вера Никандровна поняла, что ему известна судьба Лизы, и тоже никогда не напоминала о ней. Но Кирилл знал только о том, что Лиза выдана замуж, — кто ее муж, он не мог догадываться, да и не хотел гадать. В единственном письме к нему, пришедшем в угрюмую пору снегов, в момент нещадной отрешенности ото всего света, Лиза написала ему о своем браке и умоляла не винить ее, хотя бы только потому, что этот брак — ее горе. Она писала о выданье, а не о выходе замуж, поэтому Кириллу долго не приходила на ум прежде волновавшая его склонность Лизы к Цветухину (не мог же Мешков выдать дочь за актера), а когда эта мысль пришла, он неожиданно испытал нечто подобное злорадному утешению — что вот теперь слабость Лизы справедливо наказана. С годами Кирилл вспоминал ее всё реже, но затем каждое воспоминание возникало внезапно и словно бессмысленное, ловя его врасплох на какой-то неподготовленности к сопротивлению, в безоружную минуту грусти или задумчивости. Уже когда он, после ссылки, скрывал свое имя и был особенно строг к себе, тренируя самообладание и хладнокровие, изображая старательного и недалекого малого, чтобы оправдать паспорт васильсурского мешанина Ломова, дорожащего местом заводского чертежника, он, прогуливаясь по нижегородскому откосу и любуясь огнями ярмарки, вдруг приступом ощущал необъяснимую тягу за кем-то идти из улицы в улицу, кого-то настичать, и долго не в силах бывал подавить захватывающую иллюзию, что он идет, преследуя и настигая Лизу. Он слышал не только ее скользкую поступь, он различал в полумраке вечера ее дыхание — тот тонкий, еле уловимый сладковатый запах парного молока, какой удив-

* Продолжение. См. «Новый мир» № 1, 1947 г.

лял его, когда он едва не касался ее лица своей вспыхнувшей щекой. Во снах она бывала с ним еще ближе, но сны он умел обрывать, а припадки воспоминаний наяву уязвляли его своей внезапностью.

Для Веры Никандровны Кирилл был в одно и то же время прежним мальчиком, нетронутым сохраненным с момента его ареста памятью сердца, и совсем новым зрелым мужчиной, казавшимся иногда в чем-то старше ее самой. Целую треть своей жизни он провел вдали от нее, и эта треть была исполнена необыкновенного содержания, о каком Вера Никандровна могла догадываться по письмам Кирилла, составившим главные события девяти лет разлуки. Он писал все годы ссылки, потом сообщил, чтобы она не тревожилась, если писем не будет долго — год и даже много больше, и потом написал только после революции. Она угадывала, что этого требовала так называемая конспирация — нечто столь возвышенное и до священности необъяснимое, что даже догадка о ней делала ее будто соучастницей жестокой сыновней тайны. Она попрежнему оставалась только учительницей, но так как всеми помыслами из года в год шла путем сына и следила по вестям от него и даже по его молчанию за всеми переменами, в нем происходившими, то она невольно думала о себе не только как о простой учительнице, но как о человеке, чем-то совершенно отличным от всех других.

Когда, наконец, Кирилл появился, во всех их ненасытных, хотя и малоречивых разговорах был установлен особый строй: Вера Никандровна либо слушала сына, либо отвечала ему. Она как будто продолжала переписку с ним, — он лучше знал, о чем надо и можно было говорить, и если он молчал, значит его не следовало выспрашивать. О Лизе он не заговаривал, и как раз это было легче всего понять матери, — забвение простиралось над прошлым, и тепло памяти не пробивало его, как солнце не пробивает вечной мерзлоты.

И вот нечаянно беглый луч скользнул в неосвященный угол.

Вера Никандровна вскоре после Октября рассталась со своим карликовым флигельком на пыльной площади и переселилась в здание школы, где ей дали квартиру. Здесь было непривычно много места — две просторных комнаты, выбеленных и светлых, как классы, громадная кухня и передняя, в которой уместился бы без остатка весь покинутый флигель. Квартира напоминала старое подвальное жилье, служившее Извековым долгие годы до ареста Кирилла, и с его возвращением в этих больших школьных комнатах, под топот и крики учеников, у матери появилось чувство продолжения былой жизни — опять вместе с сыном, опять в школе. Нехватало, пожалуй, только оконных кованых решеток, ячейками своими похожих на связанные восьмерки, да трех, вечно шепчущих за окнами, пирамидальных тополей. Но все-таки иногда Вере Никандровне было пусто в этом просторе и жалко, что уж не присядешь у крохотной голландки — подкинуть в огонь оборвыш завившейся свчинным клочком бересты: тут печи были неохватные, и с ними насилу управлялся школьный сторож.

Не прошло недели после приезда Кирилла, как матери стало ясно, что жить с ней он не будет. Он говорил ей как раз обратное: что его желание — не разлучаться с ней, но практически ему нужна была квартира в центре, ближе к городским учреждениям, а Солдатская слободка была пригородом, куда скачи, скачи — когда еще доскачешь! Бросить же этот пригород Вера Никандровна не могла. Ее связывала не столько школа, сколько издавна укоренившееся убеждение, что перемена школ отражается на учительском деле вредно: семья школьника должна доверять учителю, а если он будет прыгать с места на место — какая ему вера? Ей было бы обременительно жить в центре, Кириллу — невозможно

остаться на окраине. Они должны были разъехаться. Но сын решил, что будет часто бывать в слободке и что у матери устроит нечто вроде главного обиталища, для чего заложит в одной из комнат начало своей библиотеки.

Это была давнишняя его цель—библиотека, полки с книгами, такие; которых нельзя сдвинуть с места и которые протянуты — именно протянуты—даже не вдоль стен, а под прямым углом к ним, так, чтобы между полком можно было ходить и стоять — да, да, стоять подолгу в переломленном луче солнца, вытягивая из плотно содвинутых в ряды книг самый необходимый или самый желанный томик, раскрывая его на титуле, на оглавлении, отыскивая какую-то неведомую страницу, или изумляясь, что хорошо знакомая строчка таит в себе нечто неожиданно-новое и покоряющее. В бродячей и неверной прошедшей жизни Кириллу никогда не приходилось иметь больше связки книг, пригодной для переноски в одной руке, и он мечтал когда-нибудь собрать книг много-много.

Теперь время пришло. Конечно, Кирилл не думал осесть в Солдатской слободке навсегда. или хотя бы надолго. Наоборот, он был уверен, что принадлежит событиям, а события требуют от человека подвижности, и он вот-вот будет сорван с места, как лист среди листьев, и унесен неизвестно куда. Но у него, в комнате матери, останется то, без чего нельзя человеку обретаться на земле — кров, дом, прибежище души, и этим прибежищем, о котором он не перестанет попрежнему мечтать, будет библиотека.

— Знаешь, — сказал он матери, — мы заложим ее пока из того, что есть у тебя и — немножко, правда — у меня. Все-таки наберется названий с полсотни. Ну, а полки...

— Полки ты пока возьми из учительской, они там лишние, я достану для учительской шкаф, как только проведу смегу.

Вера Никандровна незадолго была назначена заведующей школой и слегка упивалась своей распорядительностью. Даже в дискуссиях о перестройке преподавания она чаще чем нужно произносила слова—смета, штаты, перерасход, отодвинувшие привычный ее лексикон — программа, расписание, часы.

Полка из учительской не понравилась Кириллу. Она была узка и так запачкана чернилами и старыми керосиновыми разводами, что он раздумал было ее брать. Но в учительской обнаружился склад исписанных школьных тетрадок, пущенных на растопку, и обложки их с внутренней стороны не выцвели, были чисты. Этими синими обложками решено было обить полку. Попробовали — получалось очень неплохо. Полку, разумеется, пришлось погавить пока вдоль стены: нелепо было бы ткнуть ее поперек, хотя Кирилл сначала примерил — как выйдет, когда полком будет много — и выходило тоже очень хорошо.

Вера Никандровна распрямляла столовым ножом проволоочки, которыми были сшиты тетради, аккуратно снимала обложки, а Кирилл облекал в них полку, жестким пальцем проглаживая бумагу на рантах досок.

— Да, я хотел тебе сказать, что смотрел сегодня квартиру, которую мне подыскали.

— Что же ты молчишь? Где это?

— Удобное место. Недалеко от Верхнего базара. В доме Шубникова, знаешь?

Вера Никандровна чуть-чуть охнула, но тотчас перехватила вздох, и Кирилл, не обернувшись, спросил:

— Ты. что?

— Укололась, — сказала она, — наколола палец на проволочку.

— Ты осторожнее. Знаешь, эти гвоздики да проволочки...

— А ты смотри не занозись, — сказала она, быстро закладывая за уши спустившиеся волосы.

— У нас в полковом комитете был случай, — сказал Кирилл. — Пришли в одну деревню, в Полесье. Солдаты увидели на каком-то дворе — самовар. Давно не попадалось самовара, — давай чай пить. Стал один паренек лучину шепать — вкатил себе в ладонь шепку. Посмеялись. А через два дня свезли его в околоток: антонов огонь. Вся война прошел, а через только столпотворениях не был, а тут — на старушечьем деле!

— Умер?

— Нет. Отрезали руку. Славный был парень. Член комитета.

— Вот видишь, — сказала мать.

— Чего же — видишь? Это ты палец наколола, я для тебя рассказываю

— И большая квартира? — спросила, погодя, мать.

— Купеческая. Хоть на велосипеде катайся.

— Зачем тебе такая?

— Если бы ты со мной переехала...

— Да если бы можно...

— Я понимаю. Я думаю — займу две комнаты, там есть с отдельным ходом.

Они не глядели друг на друга, занятые своей нетрудной работой. Кирилл приноровился ловко прибавать бумагу к доскам полок снизу — сверху она должна была держаться книгами.

— Не знаю, будет ли тебе там хорошо, — сказала Вера Никандровна.

— На квартире? А почему? Мне ведь не надо ничего особенного.

— Я знаю, — сказала она тише и оглянулась на сына. — Но в этом доме есть нечто особенное.

— Привидения?

— Да, может быть, — ответила она, стараясь усмехнуться.

— Если бы с купцом что-нибудь приключилось недоброе, я еще понимаю. А то, — ничего чрезвычайного. Выселили, дом муниципализировали — и все. Мне говорили, он даже где-то у нас на службе. Откуда же взяться привидениям?

Он с улыбкой обернулся на мать и вдруг понял, что она не шутит все в ней затруднилось — от движений поникших рук и медлительной жизни лица до дыхания. Она повела на него взглядом и увидела, что он ждет.

— За Шубниковым была замужем Лиза, — сказала она.

Смуглость его сделалась как будто темнее, в ней появился зелено-оливковый оттенок, он не двигался.

— Ты не спрашивал, поэтому я не говорила, — словно устранив его упрек, добавила Вера Никандровна.

Он отвернулся, провел тяжелою кулаками вдоль полки в обе стороны и так, с раздвинутыми руками, постоял молча.

— У меня вся бумага. Ты отстала, — сказал он.

Она подала ему несколько обложек, он начал обивать нижнюю полку, нагнувшись и скрывая лицо. Вдруг он с коротким присвистом втянул сквозь зубы воздух и распрямился.

— Что, и правда — заноза? Покажи! — шагнула к нему Вера Никандровна.

— Пустяки, — буркнул он, прикусывая зубами кончик пальца и потом широко размахивая рукой, так, что мать не могла приблизиться.

Он бросил работать и отойдя к окну открыл его. Вдалеке звонил трамвай, и угрожающее гудение мотора взбиралось выше и выше, пере-

ходя в нетерпеливое вытье и сразу оборвавшись. Обиженное коровье мычание откликнулось трамваю. Стадо начало появляться из-за поворота улицы. Закат уже покрасил тесовые домики, они стали картинными. Пыль вышла над скотом из-за угла, будто коровы несли ее — насквозь зарозовевшую от солнца — на своих рогах.

— Ты говоришь — была, — произнес Кирилл в окно и, не получая ответа, досказал громче: — Была за ним, а теперь?

— Она ушла от него во время войны, — ответила Вера Никандровна.

Он опять умолк и долго смотрел на слободку — как ее домишки смеялись беззаботную розоватость на всполошную красноту и как этот заревный свет, еще горя огнем, уже притушивал всё вокруг золотистой тенью крадущегося вечера. Довольнее и в то же время просительнее мычал скот, расходясь по воротам и калиткам. Потом все стихло.

— А что же теперь? — спросил Кирилл, будто обращаясь к тишине.

— Я не знаю — что. Она ушла к отцу.

— У нее дети?

— У нее, кажется, один сын.

— Сколько же ему? — спросил Кирилл, помедлив, и вдруг, резко отвернувшись от окна, подошел к матери, торопясь отвел ее к деревянному, по-канцелярски чинному диванчику, и они сели рядом.

— Я вижу, тебе все известно, да? Как это случилось? Как могло, как могло случиться? Что это? Как ты понимаешь? Почему, почему, почему?

Он обрушил на нее эти прорвавшиеся расспросы дерзко, точно развязав в себе сразу все узлы, разворошив, раскидав прочь путы, которыми держал свое неутоленное желание все знать. И мать, словно обрадованная его жадностью, так же неудержно, как он начал расспросы, стала говорить все, что пережила за него когда-то вместе с Лизой, что передумала о Лизе. и что когда-либо слышала о ней или догадывалась — говорить о таких воодушевленных мелочах, так странно-зримо, как способна говорить лишь женщина о другой женщине и лишь тогда, когда ставит себе целью ничего не скрыть.

Кирилл сидел, облокотившись на колени, уткнув подбородок в кулаки. Он не пропустил ни слова из рассказа матери. Конечно, он знал Лизу только как Лизу. Но она была кроме того Мешковой. Прежде для него Мешковы не существовали, была одна Лиза. Наверно и о себе он думал в то далекое время только как о Кирилле. А он был еще сыном Извекова, которого, правда, не помнил, и сыном учительницы, вырастившей его тем, кем он сейчас был. То, что Лиза была Мешковой, как будто объясняло, что с ней случилось, но объяснение не удовлетворяло его. Попрежнему казалось, что Лиза пошла против себя, и было непостижимо — почему, и он хмурился, затапливаемый подробностями, которые изливала мать. Обилие их начинало обременять, хотелось сделать этот первый разговор о Лизе последним, заключить его окончательным выводом, и Кирилл сказал:

— Что же ты думаешь о ней, в конце концов?

— Я думаю, она слишком добра.

— Слабовольна?

— Нет, добра. Добра к тому, кто к ней ближе в данную минуту. Добра вообще, беспредметно.

— Беспредметно? — переспросил он и протестующе дернул плечами. — Это хуже, чем слабовольна. Это значит безразлична. Но, по-моему, ты ошибаешься. Может быть — мягка?

— Может быть, мягка, — сказала Вера Никандровна, задумываясь вместе с сыном.

Они слышали тяжелые шаги по лестнице, — наверно не спеша поднимался сторож: пора было ставить самовар.

— Но она все-таки ушла от мужа, увела с собой ребенка, — сказала Вера Никандровна, — безвольная женщина едва ли способна на это.

— Мужей бросают из-за страха, из-за отчаяния. Из-за того, что муж опостылел. Это мало говорит о силе, скорее — о слабости. К тому же люди меняются, — сколько лет прожила она с мужем, прежде чем уйти? Это не объясняет, что с ней произошло перед замужеством.

Кирилл встал, потянулся, будто хотел сказать, что больше не вернется к этому разговору.

— Я надеялся разобраться, — проговорил он спокойно, — не разобрался и, видно, никогда не разберусь. Да наверно и не надо... Давай кончим полку.

Свет побагровел и, как на сцене, углубил комнаты, сделав их частью согретого зарей мира, уходящего за небосклон. Дверь в переднюю стояла настежь, за нею тоже продолжался этот немой багряный свет.

Тогда шаги на лестнице замолкли, и недолго спустя в передней показался нагнутый в плечах высокий человек. Он стал у порога, сощурился — свет бил ему в крупное усатое лицо.

— Мне указали, здесь проживает товарищ Извеков, — утвердительно спросил он, бережливо выкладывая слова.

Кирилл вышел к нему, взгляделся и сразу приподнял вытянутые руки, точно собрался осторожно принять что-то не совсем удобное и хрупкое.

— Петр Петрович, ты? — сказал он тихо.

Тот взял его за руку, поворотил к свету и одобрительно потрянул головой.

— Крепенький стал. А будто все тот же.

— Да и ты тот же, — попрежнему тихо отозвался Кирилл.

— Где там! — сказал Петр Петрович, снимая кепку и заодно скользнув ладонью по голове. — Вышипали кудри-то.

Широко разведя руки, они быстро обнялись, потом отстранились и опять стали осматривать друг друга и смеяться все громче и громче, выталкивая вместе со смехом неразборчивые коротенькие восклицания, понемногу двигаясь из прихожей в комнату. Они были совсем разные — Кирилл на голову ниже гостя, прямой, даже слегка откинутый назад, а гость громоздко-сутулый с длинными руками и шеей. Но багрово-румяный свет делал их в эту минуту чем-то похожими друг на друга, сливая в единство, и сходство еще увеличивалось обоюдной, счастливой и шумной веселостью.

— Мама, это — Рагозин! — вскрикнул Кирилл, смеясь и снова беря его за руку.

— Вон вы какой, — чуть слышно сказала она.

Она глядела на Рагозина так, будто с необыкновенной высоты и в один миг увидела все прошлое сына, и свое прошлое, и все, чего ей не дано было до сих пор видеть.

— Да, да, понимаете ли, — бормотал Рагозин, точно извиняясь, — так оно и есть, он самый, видите ли, какая вещь...

Все трое улыбались, как люди, долго ожидавшие встречи и от возбуждения утратившие толковые слова, но бестолочью первых слов, которые подвертывались на язык, они выражали как раз то, чего нельзя было не выразить в такой момент.

— Вот такая история, — повторял Рагозин, чуть подмигивая Кириллу. — Встретились, а?

— И ведь ни капельки не переменялся! Прямо как живой! — говорил Извеков, кружась около него и притрагиваясь к его рукам, к его от времени закатанным в трубочки пиджачным бортам.

— А что мне не жить? Теперь только живи! — отвечал Рагозин.

— И усы колечком. Мама! Он и тогда усы колечком носил, — с восхищением вспоминал Кирилл.

— Как подобает! — довольно утверждал Рагозин и пощипывал усы.

— Мама! Ты устрой поскорее нам что-нибудь этакое экстраординарное!

— Как же, как же! — отзывалась Вера Никандровна, продолжая разглядывать гостя. — Сейчас будет самовар.

— Это — да-а! — гудел Рагозин. — Ничего не скажешь! Самовар!

— Ну, спасибо! Удружила. Эх, мама!

— А что же еще можно? — сконфуженно недоумевала магь.

Так, неуклюже изливаясь, проходила первая оторопь радости, пока чувство не улеглось на душе сияющей поверхностью водоема, отволновавшегося после мгновенного налета ветра. Тогда Рагозин, осмотрев полку, взял со стола картонки с крупными надписями рондо — «История», «Социология» — и хитро усмехнулся:

— Красиво изобразил. А библиотека где?

— Библиотека будет.

— Хозяйственно.

Они взглянули друг на друга уже спокойными изучающими взорами, и Рагозин без паузы проговорил:

— Не на книжной полке сейчас судьба будет решаться, как думаешь, а?

— Да, конечно. Но и не без книжной полки тоже.

— Вроде как не без высшей математики, а?

— Вот, вот.

— Не думай — я не против, — сказал Рагозин примирительно и опять засмеялся: — Ершист ты, не любишь, чтобы задевали! И смолodu не любил, помню!

— Да нет, я ничего, — вдруг застеснялся Кирилл и сразу как-то по-ребячьи понесся: — Это у меня, знаешь, из ссылки. Встретился там один редчайший человек, сосланный из Питера. Борода, знаешь, ниже пупа.

— Народник, поди?

— Эсэр, думаешь? Ничего похожего. Он про себя говорил, что принадлежит к книжной партии. Библиотекарь, библиограф, ну, и наши складывали у него на квартире за полками литературу, прежде чем переправлять из Питера на места. Кончилось ссылкой. Так он, знаешь, нам рассказывал вечерами о книге — слушать было наслаждение. Читает иногда свою лекцию, а у самого по бороде слезы бегут. Об эльзевирах, о венецианских альдинах, или о нашей русской вольной печати, о «Колоколе», о «Полярной звезде». Раз я назвал при нем какую-то брошюру книжонкой. Так он весь затрясся: ты что, говорит, хочешь, чтобы я тебя презирал? Книжонка — это, говорит, презренный язык лицемеров и отребья. Книга — жизнь, честь, слава, богатство, высочайшие взлеты, неизмеримое счастье! Могучая любовь человечества! Что же, спросил я, и погромную макулатуру надо «книгой» величать? Он поблуднел: это, говорит, сор, а сор нельзя шить даже в книжонку.

— Любопытно, — сказал Рагозин.

— Он помнил каждую книгу, которая у него хоть день побывала в руках. И раз признался, что, к стыду своему, предан книгам больше, чем людям. Рассказывал с умилением о московском букинисте, кото-

рый начинал всякое утро земным поклоном о упокоении раба божия Николая, — это о Николае Новикове, первом российском издателе, первом историке русской лигерагуры. Я бы, говорил бородач, согласен с вами отменить религию, я — человек просвещенный. Но религию нельзя отменять, потому что просвещенному человеку надо молиться за Новикова.

— Я таких встречал, видишь ли, — с живостью кивнул Рагозин, — и я бы их тоже отменил, да нельзя: кто же будет обучать книголюбии?

— Вот, вот! — подхватил Кирилл. — Я уверен — ты это серьезно. Правда? Вот этот книголюб и привил мне свою лихорадку. Богу молиться я не стал, ну а книге преклоняюсь.

— Не сотвори себе кумира, — ухмыльнулся Рагозин, но вдруг прибавил по-деловому: — Давай с тобой заглянем в одно местечко. Литературы — океан! Знаешь, есть такой утиль-отдел? Там целый пакгауз бесхозных библиотек. Пороемся. Читать, правда, некогда, да я давно ишу кое-что... из книг, понимаешь ли...

— Да ты не извиняйся, я не против, — поощрительно заметил Кирилл.

Они лукаво косились друг на друга.

— Ершист, — повторил Рагозин. — Значит, ссылка-то не без пользы, коли с таким пылом вспоминаешь. А у меня, бывало, нет-нет да и занает: не из-за тебя ли, мол, пошел мальчик в медвежий край, сосать лапу?..

— Хоть ты и крестный мой отец, но за меня не отвечаешь. В купель-то я сам полез, верно? Мне другое приходило на ум: не подвел ли я товарищей, а с ними и тебя? Если бы я тогда успел раздать листовки, может ничего бы и не было?

— Нет, это было широко задумано у охранки: они решили сразу всё захватить, брали направо и налево. Народ попал в бредень, как густера. Я только случайно поверх бредня прыгнул.

Уже разгорелась зажженная лампа, и они сели за стол. Едва скользя воспоминаниями о разделившем их прошлом, они заговорили о том, что теперь все время было на душе — о войне, — как вдруг им помешали: кто-то остановился в сумраке дверей, и Вера Никандровна, прикрывшись от лампы рукой, сказала:

— Это ты? Заходи.

Была всего секунда паузы, когда Извеков и Рагозин словно решали, как отнестись к неожиданной этой помехе разговору, который только что по-настоящему начинался. Но в следующую секунду внимание их невольно переместилось с себя на вошедшую девушку, и они оба, как по сговору, поднялись.

Она поцеловала Веру Никандровну в щеку и подставила для пощелуя свою щеку с такой бездумной быстротой, с какой это делают часто встречающиеся друг с другом близкие женщины.

— Сегодня воскресенье, я решила, вы — дома, — сказала она и, глядя на мужчин, прибавила: — Я только на полчаса.

Говорила она тихо, но голос ее звучал сильно, как у певиц с прирожденной полнотой звука.

— Конечно, ни минуты свободной, где там! — упрекнула Вера Никандровна, но будто даже не без одобрения или гордости, как часто бывает в обращении матерей с детьми. — Кирилл, это и есть Аночка Парабукина.

Аночка не подала, а точно выбросила навстречу Кириллу легкую и немного длинноватую руку, в то же время шагнув к нему совсем неслышно.

— Мы знакомы, — проговорила она попрежнему тихо, но еще звучнее, — хотя вы меня, разумеется, не можете помнить. Я была вот такая, — она показала себе по грудь. — А вас я бы сразу узнала.

Она поздоровалась с Петром Петровичем, огляделась и, не найдя стула, пошла в соседнюю комнату, до странности легко, каким-то скольжением двигаясь. Однако, несмотря на бесшумность, поступь ее была как бы угловатой, и вся она казалась легкой не от плавности, но от худобы, особенно заметной по тонким ногам и рукам, к тому же слишком вытянутым, как у девочек, переросших свой возраст. Она принесла стул и под села к Вере Никандровне. Лампа осветила ярче ее голову, остриженную коротко, с недевечьим вихром на затылке, с маленькой женственной светящейся белизны прядкой на лбу и голыми висками. Лицо ее производило впечатление несколько противоречивое: тонкому овалу его и красивому рту и подбородку, пожалуй, не соответствовали чересчур строгие брови, вдруг делавшие суровым выражение медлительных синих глаз.

— Ты что смотришь? — спросила Вера Никандровна Кирилла, который, как поднялся, так и стоял, молча следуя взглядом за Аночкой. — Она, наверно, и тебе кажется больше похожей на мальчика? Ишь, своевольница! (Вера Никандровна слегка пригладила аночкин вихор).

— Я смотрю, какая же прошла вечность! — ответил Кирилл, подвигая стул так, чтобы видеть Аночку, но тут же мельком глянул на Рагозина и шумно отодвинулся на прежнее место. Он решительно намерился продолжать прерванный разговор и, подавляя неожиданную неловкость, произнес именно то, что в таких случаях произносят:

— Так, значит, вот...

Но мысль его пошла другой дорогой, и хотя он обращался к Рагозину, речь велась не к нему.

— Пока смотришь на себя, словно ничего и не случилось: ну, бежит и бежит время. вполне обыкновенно. А взглянешь на других — и как с того света свалишься! — что же с тобой произошло, если вокруг тебя прямо-таки перевоплотились?!

— Я стала, каким вы были, когда я первый раз вас увидела, — сказала Аночка, и спохватилась, и перебила себя быстро: — Нет, нет, по годам, я имею в виду только года!

Она почти рассмеялась и прикусила губу, и брови ее тотчас прыгнули вверх, и тогда в глазах у ней не только исчезла суровость, но они стали изумленно-озорными. Все сразу улыбнулись, и Вера Никандровна сказала, втолковывая, как на уроке:

— Сколько сейчас девочке лет, если девять лет назад она была в два раза моложе мальчика, а сейчас он в полтора раза старше нее?

— Девочке не знаю, а мальчику, на мой счет, лет двадцать семь? — прищурился Рагозин.

— Как ловок считать, — сказал Кирилл, — тебя бы в финансовый отдел.

— Меня уж прочили, друг мой, да я отбоярился.

— Теперь не отбоярись!

— Ух, сердит!

В шутке этой только для Кирилла заключалась какая-то нешуточная сторона. Он все поглядывал на Аночку, клонясь вбок, потому что ее загоразивал самовар, и вылетевшее у него слово о вечности еще вертелось в голове. Когда он увидел Рагозина, он не заметил ничего нового в той разнице, которая была между ними прежде: они продолжали двигаться в одном ряду. Приход же Аночки открыл в нем

перемену, как будто нагрывшую моментально: он, и правда, обнаружил вечность, отделившую его от маленькой белобрысой девочки, припоминаемой невнятно, и разница между ним и ею была совершенно новой. Но странно, раскрыв ему глаза на происшедшую в нем перемену и представ перед ним совсем новой, Аночка напомнила собою в то же время о чем-то неизменном. Она была несколько не похожа на Лизу, но именно Лизу увидел в ней Кирилл, и странно ему было как раз то, что эта Лиза ничуть не изменялась, оставаясь попрежнему восемнадцатилетней, попрежнему красивой, может быть, красивее, чем раньше, тогда как он разительно переменялся, и они находятся в далеких друг от друга рядах. И потому что Кирилл не привык к таким двойственным ощущениям, он испытывал и неприятность, и удовольствие.

— Куда же ты все-таки торопишься? — спросила Вера Никандровна.

— Егор Павлович обещал с нами вечером спеть.

— Кто это? — спросил Кирилл.

— Наш руководитель кружка. Цветухин, актер.

— Цветухин? Он жив?

— Почему же? Он не такой старый, — насмешливо и едва ли не обиженно сказала Аночка.

— Я хотел сказать — он все еще здесь? — с нажимом поправился Кирилл.

Ну, вот и Цветухин должен был выплыть, как только вспомнилась Лиза — иначе не могло быть.

— Я тебе не говорила — Аночка будет играть на сцене, в новом театре, — сказала Вера Никандровна с той еле уловимой, не то гордой, не то извинительной ноткой, с какой говорят о начинающих художниках и артистах. — Она уже выбрала профессию.

— Ты хочешь сказать, что кое-кто еще не выбрал? — вдруг усмехнулся Кирилл.

— Тебя это не должно задеть, — прямо ответила мать. — Ты сам говорил, что как только будет можно, станешь учиться, чтобы иметь специальность. Надо кем-нибудь быть. Без специальности нельзя.

— Так, так! — уже смеясь воскликнул Кирилл и обнял Рагозина будто призывая его к сочувствию. — Политики всю жизнь учатся и никогда не могут доучиться, верно, Петр Петрович? Надо кем-нибудь быть, а политики — это не «кто-нибудь». Общество строить, мир создавать, жизнь переделывать — какая это специальность? Вот, скажем, стихи писать — это другое. Это — специальность. Хотя что, собственно, стихотворец делает? Чем он занят?

— Он производит вещи, — сказал Рагозин.

— Какие вещи? Сонетами не пашут, на олах не обедают, как на посуде. А поди — специальность! Профессия!

— Вы очень не любите искусство? — строго спросила Аночка.

— Нет, я искусство люблю, — сказал Кирилл и помолчал. — Но я его люблю очень серьезно. Даже больше: я сам хотел бы причислить себя к людям искусства, служить искусству, потому что хотел бы воздействовать на людей. А разве воздействовать на людей не великое искусство? Пока я учусь еще только ремеслу руководить людьми, то-есть специальности. Но я знаю, что ремесло это может быть поднято на огромную вершину, на высоту искусства. Когда в моих руках будут все инструменты, все средства влияния на людей, я из ремесленника могу стать художником. У меня будут все радости художника, если я научусь строить новое общество, не мень-

ше, чем у актера, который научился вызывать слезы у зрителя. Я буду радоваться, как художник, когда увижу, что кусок прошлого в тяжелой жизни народа отвалился, и счастливый, здоровый, сильный уклад, который я хочу ввести, начинает завоевывать себе место в отношениях между людьми, место в быту... Нет, нет! Я искусство люблю, — еще раз с глубокой убежденностью сказал Кирилл и, крепче обняв Рагозина, улыбнулся матери: — Уж кем-нибудь мы с тобой, Петр Петрович, будем. Кем-нибудь!

— Он прав? — обратилась Вера Никандровна к Рагозину, не потому, что ей нужно было подтверждение правоты сына, а чтобы высказать несомненную уверенность в ней. И Рагозин, кивнув коротко: — он прав, — снял руку Кирилла со своих плеч и пожал ее.

— А вы не допускаете, что я буду любить искусство тоже очень серьезно? — спросила Аночка опять так же строго.

— Неужели я это отрицал? — встревожился он. — Я хотел только, чтобы вы не думали, что у меня с искусством недобрые счеты.

— Вы дали повод это подумать, потому что так отозвались о стихах...

— Разве я плохо сказал о стихах?

— Не плохо, — затрясла головой Аночка и поискала слово: — Высокомерно.

— Высокомерно? Ну нет. Это — принадлежность самих поэтов. Они считают, что сочинять стихи куда значительнее, чем делать революцию. Да может и вы так считаете?

Аночка не ответила, но, наклонившись к Вере Никандровне, сбормотала проказливо:

— Вот и еще двойка за «Счастье человечества».

— Счастье человечества? — сказал Кирилл.

— Это у них в школе, — улыбаясь, объяснила Вера Никандровна. — «Счастьем человечества» они называли... Как это у вас говорилось, Аночка?

— Я ведь только что окончила гимназию, она, правда, школой теперь называется, — быстро заговорила Аночка. — Ну, и у нас всем предметам были даны особые имена. Между девочек, конечно. Например, литература — это «Заветные мечты». А последний год у нас ввели политическую экономию и конституцию. Их мы окрестили «Счастьем человечества». Ну, и мне за «Счастье человечества» всегда двойку ставили.

— Трудно, видите ли, дается счастье человечества, — засмеялся Рагозин.

— Но ведь мы с вами говорили о «Заветных мечтах», — сказал Кирилл, взволнованно и без улыбки глядя на Аночку.

— Пожалуй, верно, — проговорила она, отвечая ему неподвижным взглядом. — Но мне кажется, вы не столько дорожите «Заветными мечтами», сколько «Счастьем человечества». И потому, что вы хотите, чтобы все думали одинаково с вами, вы мне для начала знакомства вlepили двойку.

— Ну, вы уж понесли какую-то абракадабру, — сказала Вера Никандровна.

Кирилл приподнял пальцы, закрывая свою мимолетную усмешку.

— Я не хочу, чтобы все думали одинаково со мной. Я хочу, чтобы вы думали так же, как я.

— Небольшое требование... Но вероятно я не смогу его выполнить.

— Почему же... если оно небольшое?

— Как-то слишком скоро у нас наметились расхождения.

— Например?

— Например, вы почему-то сразу переменялись, как только я назвала Цветухина.

— Не знаю, каков он сейчас, — отвел глаза Кирилл. — Раньше я его терпеть не мог. Он самообольщен, как пернатый красавец.

— Как вас звать? Кирилл, а по отцу? — вдруг спросила Аночка.

— А как вы меня зовете за глаза?

— За глаза... я вас никак не зову.

— Ах ты, вихор, — улыбнулась Вера Никандровна. — Николаевич, по отцу Николаевич.

— Так вот, Кирилл Николаевич. Позвольте дать вам совет: не высказываться о людях, которых вы не знаете.

— Правда, — беспокойно сказала Вера Никандровна, — Цветухин мужественный и простой человек.

Аночка легко нагнулась к Вере Никандровне и опять с необыкновенной быстротой поцеловала ее.

— Мне надо итти, — сказала она и прибавила, держа в ладонях голову Веры Никандровны и покачивая своей головой в такт отдельным и звучным словам: — Именно мужественный и простой человек!

Вера Никандровна взяла ее руки и спросила, глядя ей близко в глаза:

— Как Ольга Ивановна?

— Маме плохо, — ответила Аночка, словно мимоходом, но так, что уже больше не нужно было ничего говорить, и распрямилась и обошла стол, чтобы проститься с Кириллом.

Он вдруг неловко выговорил:

— Ну, хорошо. Принимаю совет. Не сердитесь.

— А я не сержусь, — непринужденно ответила она и ушла, мигом исчезнув из комнаты.

С минуту все молчали, потом, вздохнув, Рагозин спросил:

— Тебе, говорят, квартиру нашли! Переезжаешь?

— Нет. Она мне не нравится.

— Э, да ты вон какой! Этакое буржуя тебе палатцо дают, а ты недоволен?

— Да, — сказал Кирилл, явно думая о другом, — я, братец, задрал нос...

10

В безветренный, почти уже летний день Пастухов вышел из тамбура дорогомилловского дома в легоньком пальтеце по давней моде — до колен, палевой окраски с белой искрящейся ниточкой, и глянул сначала вверх — не хмурится ли? — потом в стороны — куда приятнее направиться? — потом под ноги — не грязно ль? Поглядев вниз, он заметил троих мальчуганов-одногодков, сидевших на тротуаре спинами к залитому солнцем цоколю дома, с ножонками, раздвинутыми на асфальте в виде азов. Асфальт был исплеван. Они повернули головы к Пастухову, ожидая, скажет ли он что-нибудь или пройдет молча, и в одной из довольно запачканных мордашек он узнал своего Алешу. Он шагнул к ним.

— Что вы тут делаете?

— Играем, — сказал Алеша.

— Как играете? Во что?

— А в кто дальше доплюнется.

— Гм, — заметил Пастухов с неопределенностью, но тотчас прибавил ледяным голосом, еле двигая натянутыми губами: — Пошел сейчас же домой, и скажи маме, что я назвал тебя болваном и не велел пускаться на улицу.

Он порхнул взглядом по плевакам. Откуда они брались? Этот дом обладал необъяснимой притягательной силой для мальчишек, они льнули к нему, как осы к винограду. Алешу было немислимо уберечь от них: если его выпускали на улицу, он встречал там одних, в саду его ждали другие, на черной лестнице третьи, в комнатах Арсения Романовича четвертые. Может быть, во встречах с мальчишками не было ничего дурного (Александр Владимирович считал, что дети должны расти, как колосья в поле, — среди себе подобных, а не как цинерарии — каждый в своем горшочке), но мальчиков было слишком много. Ольга Адамовна протестовала, чтобы ее посылали в город с хозяйственными поручениями и чтобы Алеша оставался без присмотра. Она даже попробовала пролепетать, что это не ее обязанность — ходить по базарам. Но не может, в самом деле, Пастухов допустить, чтобы мадам сидела дома, а по базарам ходила Ася. Такое время. Надо мириться. Именно — время, то-есть все эти неудобства происходят до поры до времени: кончится ужасная братоубийственная распря, и Александр Владимирович возвратится в свой петербургский кабинет карельской березы. А пока все должны терпеть.

В конце концов Пастухов терпел больше других. Он привык работать, привык, чтобы театры ставили его пьесы. А сейчас в театрах только разговаривали о работе, но работы никакой не делали, потому что пьесы Пастухова перестали играть. В театрах говорили об античном репертуаре, Софокле и Аристофане, о драматургии высоких страстей, Шекспире и Шиллере, о народных зрелищах на площадях, о массовых действиях и о зрителе, который сам творит и лицедеет вместе с актерами. Но в театрах не говорили о Пастухове, о его известных драмах и, право, недурных комедиях. А ведь пьесы его ставили не только у Корша или Незлобина, они подымались и до Александринки. Иногда знакомые актеры, встретив его на улице, расцеловавшись и порокотав голосами с трещинкой — как жизнь и что слышать? — начинали патетически уверять, что он один способен написать как раз то, что теперь надо для сцены — возвышенно, великолепно, в большом плане (— громадно, понимаешь, громадно! — говорили они), потому что кроме Пастухова никого не осталось, кто мог бы за такое взяться (— мелко плавают, понимаешь? — ну, кто, кто? да никого, никого!). Но, отволновавшись, они доверительно переводили патетические ноты на воркование лирики, и тогда получалось, что напиши Пастухов свою возвышенную пьесу, ее никто не поставит, потому что наступила эпоха исканий нового и, стало быть, распада старого, все ищут и не знают — чего ищут, но все непременно отвергают сложившиеся формы, а Пастухов и хорош тем, что имеет свое лицо, то-есть вполне сложился (— Пастухов — это определенный жанр, понимаешь? — тебя просто не поймут, не поймут, и все! — да и кто будет судить, кто?).

Выходило, что писать не надо. Да Пастухов и сам видел, что писать невозможно. Произошло смещение земной коры — вот как он думал о событиях. И, прежде с таким утешливым чувством игры сочинявший сцену за сценой для своих пьес, он слышат теперь работу собственного воображения, как слышат скрип несмазанной телеги через отворенное окошко. Он трудился прежде так же произвольно, как пишеварил. Теперь труд стал для него мучителен, потому что он не знал, что должен делать. Сместилась земная кора, — могла ли улежать на

месте такая кроха, как его занятия? Всё колебалось от толчков землетрясения, и камни, рушившиеся с карнизов вековых зданий, погребали людей под своими нагромождениями. Воздев руки, чтобы защитить головы, как в библейские времена, люди бежали туда, куда их гнал ужас или толкал случай. Пастухов тоже бежал.

Но по виду он совсем не был похож на беглеца. Нисколько не изменив своему обыкновению хорошо одеваться, он, правда, не купил за два последних года никакой обновки, но вещи его приобрели лишь ту легкую поношенность, которая делает их как бы одушевленными, особенно на людях, умеющих носить, и он казался все еще элегантным, так что опытный глаз сразу признал бы в нем петербуржца. Привычка наблюдать жизнь во всякой обстановке добавила к его независимой осанке некоторое высокомерие, которым он, однако, владел настолько, что оно бывало и незаметно. Он ходил по земле любопытным и судьей одновременно, и то становился простодушен, как зевака, то весь наливался самоуважением, точно посол не очень заметной державы. При этом ему всегда легко давалась любезность и сопутствовала природой дарованная радость бытия. И сейчас, растерянный, обремененный неизвестностью будущего, он сохранял наружность человека, довольного тем, что его окружало.

В Саратове он, как приехал, взялся разыскивать актера Цветухина — друга-приятеля, обретенного в последнюю побывку на родине и не то чтобы забытого, а за петербургскими интересами переведенного из друзей действительных в друзья-воспоминания. Как школьных товарищей соединяет школа и затем разводит жизнь, так Пастухова и Цветухина с десятков лет назад соединило пребывание в одном городе, а затем развела разлука и та часто лишь подразумеваемая, но деликатная ступень, которая высится между обитателями столицы и закоренелыми провинциалами.

Цветухин был не меньше Пастухова виноват, что за столь долгий срок они ни разу не дали о себе знать друг другу. Он не причислял себя к любителям писать письма, редко делая исключения даже ради женщин, переписываться же с мужчинами считал за блажь: что я — маклер, что ли, какой — вести корреспонденцию? — говорил он и уверял, что актеры никогда не умели писать никаких писем, кроме долговых. Может быть он все-таки был немножко обижен молчанием Пастухова и, допуская, что тот ненароком мог бы и не ответить, если бы он первый написал ему, предпочитал не подвергать свою гордость такому испытанию.

Пастухов прежде всего побывал в городском театре, — нигде достовернее не могли бы сказать об известном в городе актере. Но разведать удалось немного: Егор Павлович последнее время не служил в театре, а собирал какую-то особую труппу и занимался с нею не то на железной дороге, не то в гарнизонном клубе, а возможно — и еще где-нибудь.

— Они, знаете, захвачены, — сказал, подморгнув Пастухову, старый человек с небритым подбородком и приподнял ко лбу палец.

— То-есть, как захвачен? Егор Павлыч?

— Они самые, Егор Павлыч. Они от нас отошли, и в рассуждении у них что-либо совсем стороннее.

— А вы тоже актер?

— Нет, не актер. Я режиссер. Но вы не сомневайтесь.

Пастухов и не думал сомневаться. Он знал своего друга за человека с причудами, хорошо помнил его скрипку, слабость к изобретательству, его поиски народных типов для воплощения на сцене. Осо-

бенно историю с этими народными типами никогда он не мог бы забыть, потому что с ней Цветухин запутал его в пренеприятное жандармское следствие по опасному революционному делу, когда они вместе едва не увязли. Так что от Егора Павловича он равно ждал и вполне обычных поступков, как от очень милых людей, и вещей самых необычайных, как от больших оригиналов.

Александр Владимирович, выйдя из Липок, пошел к той старой приземистой гостинице рядом с консерваторией, в номерах которой когда-то проживал Цветухин. Он узнал двор, хотя тополя вдоль шербатовых асфальтовых дорожек сильно вымахали ввысь и загустели. Как и прежде, в воздухе таяла капель падавших через отворенные окна звуков — арпеджио роялей, поплевывание флейт, нутряные жалобы виолончелей. Высокий красный дом, под своими похожими на сахарную бумагу колпаками крыш, как будто тянулся на цыпочках к небу, приподнимаемый музыкальной смесью голосов. Корпуса гостиницы лежали у него в ногах. Пастухов обошел дальний корпус. Тут тоже были отворены окна, и низенький дом скудно отвечал высокому звонами размолоченного пианино.

Было безлюдно, и Пастухов беспрепятственно осмотрел длинный коридор с запахом шампинионов и аммиака, незапертые номера, тесно уставленные койками в бурых одеялах, и добрел, наконец, до залца с искусственной волосатой пальмой-вашингтонией. Отсюда и вылетали звоны. Стоя в дверях, он послушал это настойчивое подражание музыке. Барышня в очень короткой узкой юбке, наступив на правую педаль ногой в модном, до колена зашнурованном матерчатом ботинке, выдалбливала из пианино «Молитву Девы» — мелодию, которая в веках останется памятником мечтательности старой провинции. Указательный палец музыкантша держала, не сгибая, под прямым углом к покорной клавиатуре.

Пастухов кашлянул. Барышня обернулась, оставив палец воткнутым в клавиш. Пианино медленно успокаивалось.

— Вы меня? — спросила барышня.

— Простите, я оторвал вас от вашего экзерсиса.

— Чего?

— Я помешал вам. Скажите — не живет ли здесь актер Цветухин?

— Актер? — быстро проговорила барышня и сбросила ступню с педали, причем инструмент замурзился, как погревоженный старый собакевич. — А он что, делегат?

— Не знаю, — сказал Пастухов, — вполне возможно, конечно.

— Тут больше делегаты.

— Какие делегаты? Может быть действительно Цветухин находится в их числе?

— Отчего же нет? — согласилась барышня и заложила ногу на ногу. — Кто приезжает на всякие съезды, тот и останавливается. Тут общежитие. В крайних двух номерах студенты консерватории. Но только актеров с ними нет.

— А вы, простите, вероятно, тоже студент консерватории? — поинтересовался Пастухов так почтительно, что никто не заметил бы насмешки.

— Вы думаете — потому что я играю? Нет, я так, любительница. А вам что — разъяснили, что этот актер живет в общежитии?

— Он жил здесь прежде, в одном из номеров.

— Давно?

— Порядочно, — серьезно сказал Пастухов, — лет, пожалуй, восемь-девять назад.

Барышня, нагнувшись, обхватила свои зашнурованные икры сплетенными пальцами и широко разинула яркозубый веселый рот.

— Что? Девять лет? Да ведь это в прошлом веке! — вытолкнула она с хохотом. — Нет, вы смееетесь! Если правда — столько лет, то вы бы лучше спросили об вашем актере у моего дедушки! Вы наверно сами тоже артист?

Глаза ее с любопытством и любованием бегали по его шляпе, костюму, туфлям, почти не задерживаясь на лице. Говорила она бойко и с увлечением.

— А вы здесь служите? — спросил Пастухов, улыбаясь.

— Нет, я в «Зеркале Жизни».

— Ах, вы в зеркале жизни? Вон как! Это что же такое?

— Да вот рядом — кино. Не знаете? Я там билетершей. А сюда меня тетя Маша пускает играть на пианине.

— Тетя Маша?

— Ну да, она тут коридорной. У нас в кино тоже есть пианино, да администратор запрещает играть. А я живу недалеко, вместе с тетей Машей, и мы с ней дружим. Она сейчас ушла на обед и велела мне посидеть.

— Чрезвычайно интересно, — сказал Пастухов, — благодарю вас.

— Нет, правда, вы тоже артист? — опять спросила она, и расплела пальцы, и поправила спустившийся на лоб озорной чубик.

— А я вам не скажу.

— Да я сама сразу вижу: артисты все такие замысловатые. А если вы не шутите, что ваш товарищ жил тут так давно, то подите в первый корпус, гам комендант, может он вам скажет.

Пастухов еще раз поблагодарил, испытывая удовольствие от ее резвого взгляда, в котором брезжилась нескрываемая женская жадность, и слегка засмеялся, и она захохотала в ответ, и он ушел. На дворе он опять расслышал тот же упрямый, но учащенный звон пианино, и тотчас представился ему перпендикуляром опущенный на клавиш палец, и он ухмыльнулся.

В облике смешной любительницы музыки он, однако, увидел что-то новорожденное и настолько самонадеянное, что не она показалась ему курьезом, а он сам — со своими поисками прошлого века. Прошлый век! — это слово опешило его, примененное к недавнему времени, о котором он привык думать, как об идущем, а оно уже невозвратно ушло. Не был ли он сам прошлым веком? Остатком, обломком, в крошку разбившимся карнизом колеблемого здания? Застывшим в воздухе отрывком давнишнего напева, какой-нибудь жалкой ноткой провинциальной «Молитвы Девы»?

— Какая чушь! — отмахнулся он.

Но едва он сказал про свои мысли, что они — чушь, как время, которое он считал вчерашним днем, отошло в такую недосыгаемую даль, что он остановился в испуге. Все вокруг почудилось ему решительно изменившимся, непохожим на прежнее, как план города непохож на город. План был тот самый, что и прежде, дома стояли на своем месте, были старой высоты и даже старых окрасок, но во всем виделось новое выражение, жил не прежний, иной смысл. И в этом переменившемся до неузнаваемости окружении он себя одного увидел совершенно прежним. Он бродил, слонялся среди незнакомого города, ища свое прошлое, свой век.

— Я старый, — сказал он себе, медленно выходя на улицу и озирая ее оторопело, — я здесь один такой старый.

Ему надо было найти отрицание этого непрошенного самопризнания в старости, чтобы восстановить блаженное равновесие духа, и вдруг его глаз выделил из прохожих приближающегося необыкновенного человека.

Это был старик с бесцветной лысиной и серпом голубовато-белых волос, положенным концами на массивные уши. В округлой бородке, седых бровях, не уступавших по размеру усам, он был иконописен, и его разящий взгляд мог бы принадлежать сразу и мученику и мстителю. С плеч его свисал жеваный чесучевый пиджак, каких уже не оставалось от былых летних гардеробов, с оттянутыми до колен карманами, топырившимися от засунутых в них газет и свертков. В руке он нес панаму, от давности потемневшую, как высушенная тыква. Подходя к Пастухову, старик морщил лицо, щеки его делались гребенчатыми, улыбка обнажала исковерканные иззелена-желтые зубы, словно он набрал в рот фисташковой скорлупы.

— Когда же это вы, Александр Владимирович, в родные края? — пропел он, разводя руки для объятия. — С приездом! Не узнаете?

— Нет, извините, — помигал на него Пастухов.

— Ну, где уж! Молодое растет, старое старится. А ведь я вас выручал, вытягивал, когда вас преследовала жандармерия за связи ваши с подпольем! Помните?

— Да, да, да, да, позвольте, позвольте... — припоминал и не верил, что может нечто подобное припомнить, Пастухов.

— Ну, ну, ну! — помогал ему старик.

— Да, да, да, что-то такое, действительно...

— Да ну, конечно же, конечно! Вспомните-ка! Еще когда с вас была взята охранкой подписка о невыезде, а?

— Действительно, действительно, как же? — удивился Пастухов.

— Еще когда вы собирались поехать в Астапово, к смертному одру Льва Николаевича, а?

— В самом деле, позвольте-ка, позвольте...

— Да ну же, ну!

— Как же такое, а? Ну, просто, никак не могу, право...

— Ай-ай-ай, Александр Владимирович! Кто тогда хлопотал за вас перед прокурором, а? Кто спасал вас и для искусства и для всех нас? Ну-те-ка, а?

— Позвольте, ну, как же?! — мучился Пастухов.

— Да Мерцалов, Мерцалов! Помните? — пожаловал, наконец, старик, убежденный, что его имя осчастливит кого угодно.

— Ах, Мерцалов! — повторил рассеянно Пастухов.

— Ну да, Мерцалов, бывлой редактор бывшего здешнего «Листка»!

— Ах, конечно же, здравствуйте, здравствуйте! — воскликнул и с облегчением утер ладонью лицо Пастухов.

Они жали и трясли друг другу руки, и нагруженные карманы старика бились по его коленкам, и он то прикрывал лысину панамой, то снова оголял ее, а Пастухов, рассматривая старика, твердил себе со всею силой оживающего самодовольства: как хорошо, что я молод, молод, молод, что не ношу чесучевых пиджаков, не набиваю карманы газетами, что во рту моем здоровые зубы, как хорошо, как хорошо.

— Как хорошо, — сказал он, беря старика под локоть и поворачивая не в ту сторону, куда тот шел, а куда собирался итти сам, — как хорошо, что я вас встретил. Как вы тут живете, а?

— Живем, как сейчас можно жить, — в трудах, в ожиданиях.

— Не трогают вас за ваш «Листок»? — мимолетно спросил Пастухов.

— За что же? Я ведь не либерал какой-нибудь, помилуйте! С молодых ногтей мечтал о революции. Всем известно. В мрачнейшие времена имел дело с подпольем. Сколько людей выручил, вот так же, как вас.

— Да?

— А что вы думаете? Вы думаете, откуда я узнал, что вы тоже работали на революцию?

— Да? — повторил Пастухов, уклончиво улыбаясь.

— Ну, разумеется! Мы ведь понимаем друг друга, понимаем! Вы ставили на карту свое будущее, свою славу, и я не один раз рисковал головой. Всякое бывало. За вас, помню, клялся и божился, что вы не причастны. А ведь знал, знал — какое там не причастен!

Мерцалов с коротким смешком потряс головой, будто одобряя себя снисходительно за то, за что следовало бы пожуричь. Пастухов глядел на него пронизывающе-пытливо.

— Я не знал, что вы мне так помогли, — быстро сказал он. — Благодарю вас, хотя и запоздало.

Он протянул старику руку.

— Ах, что там! Это ведь святая обязанность, дело чести. Сколько добра приводилось делать — не запомнишь! Вот ведь и о Цветухине надо было тогда замолвить словечко. Он ведь тоже был не без грешка, хе-хе.

— Вот хорошо — вспомнили. Где он? Я его не могу разыскать.

— Цветухин? Ну, как же — здесь, здесь! Собирает таланты из народа. Труппу составил. Передвижной театр мечтает устроить. Интересная личность. Перессорился со всеми насмерть. Темперамент! Мнится горы сдвинуть.

— Что вы говорите?! Как на него похоже! Но где же его найти?

— Нет ничего проще. Я ведь с театральными людьми на короткой ноге. Пишу о театре. В газете мне — вы понимаете? — приличествующего места не дадут, я человек, так сказать, индивидуальных понятий, хотя, если говорить строго, именно подлинный общественник. Но меня уважают. Не могу пожаловаться. Поручили мне хронику искусства, да, да. Так что я пишу. Немного. Но подождем, подождем.

— Как же все-таки повидаться с Цветухиным? — поторопил Пастухов (он успел заметить, что старик имел пристрастие к излюбленному болтунами словечку «ведь», будто касавшиеся его, Мерцалова, обстоятельства знал или обязан был знать каждый встречный-поперечный).

— Я поспрошаю, где сейчас подвизается наш Егор Павлович, передам о вас, он к вам придет. Будет рад, будет рад. Мы земляков почитаем. Вы где остановились-то?

— У одного знакомого, неподалеку. У такого Дорогомилова, слышали?

— Бог ты мой, вы живете у Дорого...

Старик даже осекся и придержал Пастухова, чтобы стать лицом к лицу. Вздернув скульптурные брови, отчего лысина его двинулась на извилины лба, словно поплывший воск, он тотчас, однако, сменил удивление на добродушный смешок, который, в свою очередь, удивил настроенного Александра Владимировича.

— Я только что случайно познакомился с ним. Что это за фигура?

— Ну, кто ж не знает — старожил! Чудак, человек превратностей.

— Мистик? — сам не зная почему, подсказал Пастухов.

— Не думаю. Мечтатель скорее, любитель загадок, утопист.

— И бухгалтер?

— Представьте! Испокон века тянул счетную часть Управы. Но, так сказать, житель двух миров. Невинный мистификатор. Не мистик, как вы думаете, а мистификатор! — обрадовался словцу Мерцалов. — Неужели вы его никогда прежде не видели? Его ведь нельзя не приметить — он вечно в окружении мальчишек.

— Вот, вот, что это такое?

— Это его пунктик. У ребятишек он — божок. Вообще целая история. Кое-что, может, и недостоверно, но многие легенды о нем легко поддаются некоторому своду...

Они проходили Липками, и Пастухов ничуть не раскаялся, что принял предложение — посидеть и выслушать предание об Арсении Романовиче. Мерцалов оказался не простым говоруном, а презанятым рассказчиком.

Ходячая в городе дорогомиловская история вела начало с глухих времен, когда Арсений Романович был еще студентом Казанского университета. Как-то летом он попал на охоту по уткам в хвалынские займища, встретился там с компанией охотников, и они затащили его в Хвалыинск. В городке, полном тишины и скуки они покутили, сдружались еще больше и отправились в одно из тамошних поместий, к барону Медему. Тут произошла, что называется, роковая встреча. У Медемов была воспитанница — девушка прекрасная, с воображением, не засоренным какими-нибудь городскими пустыками. Дорогомилов потерял голову, как может потерять молодой человек в августовские вечера, на свободе, среди полей, садов, парков. Он нашел самый нежный отклик и уехал домой окрыленный. Но у Медемов оказались особые расчеты на воспитанницу, — они выдали ее за своего обедневшего родственника, московского гренадера. Несчастье убило Дорогомилова. Он ушел из университета и долго болел. Жил он тогда у крестного отца — камского пароходчика. Это были годы, когда на пароходах наживались неслыханные в Поволжье капиталы. Но одни пароходчики богатели, другие банкротились. И вот благодетель Дорогомилова разорился, и недавний студент, еще не оправившийся от нервной болезни, переехал к бедным родичам, в Саратов, чтобы вместе с ними бедовать. У него ничего не клеилось, что бы он ни предпринимал. О женитьбе он и не помышлял: он был из породы людей, умеющих держать зарюки, а судьба толкнула его к зарюку, и он его себе дал: никогда не жениться. Года через два дошел до него слух, что гренадер бросил жену и она умирает от чахотки. Дорогомилов в отчаянии ринулся в Москву и, правда — застал свою возлюбленную умирающей. У нее уже был ребенок. Дорогомилов дал ей слово, что воспитает мальчика, и увез его с собой. Надо было теперь думать не об одном себе, и он поступил на первое подвернувшееся место — в Управу. Меньше всего собирался он шелкать счетами, но ребенок требовал ухода, пришлось содержать няню. Дорогомилов проявил такую старательность по службе, что постепенно сделался незаменимым в Управе человеком. Но отдавая самые похвальные старания службе, чтобы упрочить свое положение, Арсений Романович сердцем жил в мире ребенка, привязываясь к мальчику с каждым днем все более страстно. Он усыновил его, сделал его воспитание целью жизни, привык считать себя счастливым, а счастье мальчика казалось ему обеспеченным навсегда. Но обоих ожидал другой удел. Поехав однажды в превосходный день кататься на лодке с приятелем Арсения Романовича — учителем Извековым, они были застигнуты на коренной Волге внезапной бурей. Они не могли выгрести ни

к берегу, ни к пескам. Лодку залило и опрокинуло. Извеков первый бросился к мальчику, но не мог, как требуется, ухватить его сзади, мальчик от испуга вцепился в шею своего спасителя, и они оба пошли ко дну. Это случилось, как всякая беда, почти мгновенно, на глазах Дорогомилова. Он удержался за перевернутую лодку, и его прибило к пескам. Труп Извекова был выброшен через неделю на остров, мальчик же пропал бесследно.

Горе не прошло Дорогомилову даром: он попал в психиатрическую больницу. Лечили его без мудрствований, как всех тогда — в сумасшедших домах — успокоительными каплями, купаньем, а чаще — ничем. Он вышел на волю в черной меланхолии. Но вдруг в нем как бы обнаружилось новое призвание. Погибший двенадцатилетний сын его был славным мальчиком, — у него осталось несколько друзей-сверстников, и вот они-то проявили к Арсению Романовичу ни с чем несравнимое детское участие. Они взялись навешать его, проводить с ним целые дни, и он стал медленно оттаивать в тепле мальчишеской любви. Сначала у него явилась задача — отвлекать своих друзей от Волги. Он сам боялся выйти на берег и перестал глядеть в ту сторону, где искрилась и горела речная гладь. Но, пожалуй, нет вернее способа потерять дружбу детей, чем помешать их тяге к воде. Как ни увлекательны были прогулки с Арсением Романовичем в горы и в лес, хождения по деревням, экскурсии на раскопки татарского Увека, или на махорочную фабрику, или к Чирихиной — на чугунолитейный завод, а ребятишки все косились на Волгу, и перед Дорогомиловым встал выбор: либо утратить расположение детей, либо преодолеть водобоязнь. С годами он ее преодолел, захваченный любовью мальчиков к реке, и тогда начались поездки на пароходах, побыски на рыбачьих станах, которые кочевали по берегам и островам, смотря по ходу стерляди, сазана или леща. Нередко целым выводком, во главе с Арсением Романовичем, как с клушкой, ребятишки высыпали на берег с удочками — таскать густёрку и отливающую синей эмалью чехонь, разжигали костер, варили уху, какой никто не поест, если не полюбит с детства мечтательного сиденья с удочкой у воды. С холодами все эти удовольствия кончались, но тогда на первый план выступала дорогомиловская библиотека. Он собирал книги не столько для себя, как для маленьких друзей, и, приваживая их любить чтение, делал из них поклонников своего уютного холостяцкого угла. Он, конечно, был прирожденным педагогом, но общение с детьми строил на личной дружбе, и это многим казалось странным, на него покашивались, пока не привыкли, как привыкают к городским дурачкам. Те мальчишки, которые с ним не могли сдружиться, дали ему кличку «Лохматый», открыто насмехались над ним, особенно когда он постарел и усвоил слишком чудаческие манеры. Из-за него случались и драки среди мальчишек, нечто вроде рыцарских турниров, когда дело шло о праве на преимущественное внимание Арсения Романовича, а то и просто схватки между защитниками его чести и оскорбителями ее. Для Дорогомилова весь этот романтический мир детских привязанностей, мечтаний, дружб и ссор, мир, выраженный в смелом прямом взгляде подростка, пылающем фантазией, неукротимой любознательностью и наивной чистотой, которую найдешь разве только у дикого животного, еще не обученного охоте, — мир этот стал наркомом Дорогомилова, и чем дальше шло время, тем больше делался старик наркоманом. Дети вырастали, разбредались по свету, но на их место приходили другие, они оставляли Дорогомилову в наследие своих товарищей, передавая им особые заветы, маленькие традиции, непи-

санный культ почитания старика. У него редко бывало больше четырех-пяти приятелей в одно время, и общение их не напоминало ни школы, ни класса — оно было вольным, как у взрослых, и мальчики считали, что ходят к Арсению Романовичу отдыхать, хотя часто уносили от него больше, чем из классов.

Конечно, Дорогомилов не позабыл своей несчастливой встречи в хвалынском поместье, ни приемного сына, которого он не сумел уберечь. Но он ни с кем не говорил об этой памяти, как почти не отвечал на расспросы о гибели своего друга Извекова. Он представлялся вечно поглощенным обязанностями, вечно мчащимся по неотложному делу, и его потрепанный сюртук, развевающийся на бегу, хорошо знали в городе. Однако, хотя к нему очень привыкли, никто не хотел допустить, что он так прост, все находили и в его поведении, и на его лице нечто необъяснимое, что, впрочем, находят у всякого, кто побывал в сумасшедшем доме.

— Прекрасная история, — сказал Пастухов с довольной улыбкой, выслушав рассказ. — А что это за Извеков? Что-то такое знакомое в этой фамилии.

Мерцалов лукаво покачал всем корпусом и даже как-то мяукнул, выпевая через нос игривый мотивчик.

— Н-да-м, н-да-м, Александр Владимирович, полагаю, что фамилия эта должна вам говорить весьма и весьма много (на лице его заборились во всех направлениях гребешочки складок). Ведь вы пострадали в свое время по одному делу с Извековым, который тогда был еще мальчиком, припоминаете?

— Да? — опять рассеянно сказал Пастухов.

— И этот соратник ваш Извеков — сын утонувшего учителя. А сейчас он не более, не менее — секретарь здешнего Совета. Н-да-м, н-да-м.

— Вон как, — ответил Пастухов, как будто пристальнее вдумываясь в слова Мерцалова, но тотчас переводя его на другую мысль: — А вы знаете, моя жена Ася, когда познакомилась с Дорогомиловым, сразу почуяла, что это — праведник. Как вы полагаете?

— Из семи праведников, — усмехнулся Мерцалов, — которыми держится город, да? Может быть, может быть. Но ведь теперь, вы знаете, держится ли вообще город, а? Удержится ли, хочу я сказать, в таких корчах планеты?

— Корчи планеты, — повторил Пастухов.

Они всмоглись друг в друга, молча улыбнулись и стали прощаться, Пастухов — напоминая, что надо разыскать Цветухина, Мерцалов — непременно обещая это сделать.

Подходя к дому и увлеченно перебирая в воображении то черты Дорогомилова, какими они возникли из рассказа Мерцалова, то повадку и приметы характера самого рассказчика, Пастухов неожиданно обнаружил, что дверь тамбура стоит настежь. Никого на улице не было видно, и даже мальчуганы, обычно игравшие где-нибудь поблизости, исчезли.

Он взбежал по лестнице. Дверь в квартиру была незаперта, по коридору наперегонки неслись спорящие голоса.

— Нет-с, извините, нет-с, извините, — вскрикивал Дорогомилов на высокой, не столько грозной, сколько умоляющей нотке.

Пастухов вошел в свою комнату. В тот же момент он увидел Асю, и по ее взгляду, горевшему сквозь тонкую слезку, которую Александр Владимирович превосходно знал и которая появлялась не от обиды или горя, а в минуту покорной слабости, по этой трогав-

шей его почти незаметной слезке понял, что шум в коридоре касался не только кричавшего Дорогомилова, но, может быть, прежде всех — его, Пастухова, семьи. И остановившись на первом шаге, он сказал не так, как подумал, а как, мимо всякого размышления, слетело с губ: — Что с Алешей?

Ася покачала головой, улыбаясь с польщенной гордостью матери, чувство которой обрадовано беспокойством отца за ребенка. Она подошла к мужу. Он поцеловал ее мягкие пальцы и тогда заметил Алешу.

Мальчик прижался к печке, скрестив руки по-взрослому — на груди — и выжидательно, с опаской смотрел на отца. Ольга Адамовна сидела в двери маленькой комнаты, ухватив косяк, как ствол винтовки, с выражением стража, решившего окаменеть, но не сойти с поста.

— Хорошо, ты пришел, — сказала Ася.

— Что происходит?

— Нас выселяют, — ответила она просто и с тихой веселостью, словно то, что муж продолжал сжимать ее пальцы, возмещало удовольствием любую неприятность.

— Нас одних?

— И нас, и нашего покровителя, и его скарб, словом — весь экипаж вон с корабля! — засмеялась она, но тут же, только чуть-чуть убавив улыбку, сказала практичным, внушающим тоном: — Ты должен выйти поговорить. Арсений Романович чересчур горячится и, по моему, портит дело. Явился очень милый молодой военный и немножко форсит. Ты ему сбавь гонор. Слышишь, какое сражение?

Александр Владимирович неторопливо вышел в коридор.

Наваленное до потолка старье не могло даже наполовину поглотить разлив приближающихся криков. Казалось, голоса сразу несколько человек — такое множество оттенков вкладывалось в неприемлемый спор. Слышались и угроза, и насмешка, и увещевание, и язвительность, и грубость.

— А я вам десятый раз повторяю, что Коммунхоз тут не при чем, помещение забирает военное ведомство! Военная власть!

— Забирает, забирает! — какими-то пронзительными флейтами высвистывал сорвавшийся голос Дорогомилова. — Никому не позволено забирать имущество Коммунхоза без его согласия и разрешения, да-с, да-с!

— Военному ведомству нужно — оно берет. Война, и — как вы изволите говорить — да-с! Война, и да-с!

— Нет, не да-с! Вы делаете плохое одолжение военному начальству, если выставляете его беззаконником!

— Я делаю не одолжение, а то, что надо. А насчет беззакония вы потише. Будет законный ордер.

— Ордер от Коммунхоза!

— Законный ордер.

— Законен только ордер Коммунхоза!

— Не беспокойтесь.

— Это мне нравится! Меня лишают крыши, мне заявляют, что имущество и книги я могу, если угодно, проглотить — да-с, вы именно так выразились! — и мне же предлагают не беспокоиться! Но поймите же...

Пастухов стоял у окна, освещенный сверканием дня, и как ни шурялся, не мог разобрать — что за человек надвигался по коридору, останавливаясь и оборачиваясь, чтобы парировать выкрики Арсения

Романовича. Потом из темноты выплыли на свет сразу две фигуры. Первым шел военный в великолепном френче и в надвинутой на брови фуражке с длинным, прямым, как книжный переплет, козырьком и со щегольской крошечной рубиновой звездочкой на околыше. С ним в ногу выступал, по плечо ему, человек с плотно замкнутыми устами, полустатский, полувоенный, в галифе, пестром пиджачке, в картузе с белым кантом, какие носят волжские боцманы. Пастухов загораживал проход, и военный, негромко шаркнув ногой, придержался, показывая, что надо дать дорогу.

В эту минуту Дорогомиллов, протискиваясь вперед, вытянул руки с воплем отчаяния:

— Александр Владимирович!

Он был в одной жилетке и старинной рубашке с круглыми накрахмаленными манжетами, жестко гремевшими на запястьях, волосы его сползли на виски, перепутавшись с бородой, из-под которой свисали концы развязанного галстука в горошек.

— Александр Владимирович! Извините, пожалуйста, извините! Но послушайте. Приходит этот товарищ, осматривает квартиру и объявляет, что она будет занята военным комиссариатом. Прекрасно, прекрасно! Военным властям нужны помещения. Ну-с, а вы с семьей? Ваш маленький Алеша? А я со своей библиотекой? А коммунальный отдел Совета, чьей собственностью является весь этот дом? Гражданина военного все это не интересует. Его интересует война.

— Виноват, — перебил человек, которого интересовала война.

Заложив большой палец за портупею, он на секунду прикрыл глаза, будто собираясь с терпением и призывая внять доводам разума. Момент этот Александр Владимирович счел удобным, чтобы, кивнув, назвать свою фамилию с внушительной размеренностью, давно установленной им для тех случаев, когда он рассчитывал произвести впечатление. Военный стукнул каблуками и взял под козырек — под свой импозантный козырек и на свой удивительно особливый лад: собрав пальцы в горсть, он раскинул ее и вытянул в лодочку у самого виска, словно погладив выбившуюся из-под околыша кудряшку.

— Зубинский, для поручений городского военкома, — сказал он совсем не тем голосом, каким только что перебранивался, и не без приятности. — Разрешите объяснить. Военный комиссар полагает занять верхний этаж дома под одно из своих учреждений. Гражданин Дорогомиллов напрасно волнуется...

— Напрасно! — выкрикнул Арсений Романович и загремел манжетами.

— Совершенно напрасно, потому что ему, по закону, будет предоставлена, возможно тут же, внизу, комната.

— Комната! Благодарю покорно! А библиотека, библиотека?!

— Относительно библиотеки, лично я полагаю, что, в случае ее ценности...

— Кто установит ее ценность? Вы? Вы? Вы? — иступленно закричал Дорогомиллов.

— В случае ценности, — продолжал Зубинский, слегка играя своим спокойствием, — она подлежит передаче в общественный фонд, в случае же малоценности...

— Малоценности! — почти передразнил Арсений Романович.

— В этом случае она, конечно, останется за ее владельцем.

— Но помещение для книг, 'помещение! — требовательно возгласил владелец.

— Если не достанет помещения, тогда о книгах позаботитесь отдел утилизации Губсовнархоза.

Дорогомиллов качнулся к стене и произнес неожиданно тихо:

— Вы слышали, Александр Владимирович?

— Да, — отозвался Пастухов, усмехаясь Зубинскому, — вы зашли, кажется, чересчур далеко.

— Я отвечаю на вопросы. Это мое мнение, не больше.

— Какое же у вас мнение обо мне с семьей?

— Вот гражданин Дорогомиллов требует, чтобы мы заручились ордером Коммунхоза. Почему же он поселил у себя без всякого ордера вас, гражданин Пастухов?

Все молчали. Зубинский вежливо и с интересом наблюдал, как обезкураженно мигает Александр Владимирович, как приглаживает волосы Дорогомиллов, как помалкивает человек с замкнутыми устами, и наконец, медленно перевел взгляд на Анастасию Германовну, безмолвно следившую за сценой из комнаты.

— Иными словами, гражданина Пастухова с семьей вы просто выкинете на улицу, да? — вдруг спросила она мягко и с улыбкой, которая могла показаться и очаровательной и вызывающей, так что Зубинский, поколебавшись, ответил уклончиво:

— О, с таким именем, как ваше, вряд ли можно остаться под открытым небом.

— Это сказано, пожалуй, по-светски, — все так же улыбаясь, проговорила Ася, — но, правда, Саша, мы предпочли бы галантности приличный номер в гостинице?

— Я предпочел бы, чтобы нас не трогали, — мрачно сказал Пастухов.

Зубинский приподнял плечи в знак того, что он отлично понимает, как все это неприятно, но он — человек службы и выполняет долг.

— Я надеюсь, вы поможете со своей стороны гражданам Пастуховым, — обратился он к своему спутнику, который, еще помолчав, с сожалением разжал рот и, будто преодолевая головную боль, выдохнул одно слово:

— Оформим.

— Простите, а вы кто? — сострадательно полюбопытствовала Ася.

— Представитель Жилищного отдела, — горько сказал молчаливый человек.

— Ах, такого типа! — вскрикнул оживший Арсений Романович. — Позвольте! Жилищному отделу известны все эти намерения? И вы не проронили ни звука?! Я сейчас же иду вместе с вами и делаю заявление. Официально! Официально!

Ни на кого не взглянув, представитель Жилищного отдела вразвалочку направился к лестнице. Зубинский козырнул на свой изысканный манер Анастасии Германовне, изгибом корпуса показывая, что приветствие относится и к Пастухову — побольше, и к Дорогомиллову — самую малость, быстро шагнул к выходу, и слышно было, как он молодцевато забарабанил подошвами по деревянным ступеням.

Арсений Романович сложил руки, закрывая ладонями грудь, и низко поклонился Анастасии Германовне:

— Извините мне этот мой вид (он громыхнул манжетами) и эти мои ужасные вопли! Ужасные, ужасные, как на базаре!

Он устремился в темноту коридора с легкостью необычайной.

Оставшись с женой, Пастухов подошел к окну. В тишине раздавалось каждую минуту возобновляемое постукивание его ногтей по стеклу. Вдруг он засмеялся, вспомнив любительницу музыки в общежитии.

— Ты что? — спросила Ася.

— Есть люди настолько самонадеянные, что спроси такого павли-на — играет ли он на рояле, он, не моргнув глазом, ответит: не знаю, мол, не пробовал, но думаю, что играю...

— И ты думаешь, Зубинский из такой породы?

— Думаю, да.

— Ну, значит, мы с тобой горим! — весело сказала она, и, повернувшись друг к другу, они так захохотали, будто никаких невзгод и не было вовсе, а они шли навстречу очень заманчивым событиям.

Тогда Алеша, выйдя из своего угла, стал между родителями и Ольгой Адамовной, точно обеспечивая отступление к любой из трех точек, если будет надобность, и сказал:

— Папа, лучше, чем если нас станут кидать на улицу, то давайте будем жить в саду, а? И чтобы Арсений Романыч вместе с нами жил, хорошо?

Александр Владимирович перестал хохотать и, немного подумав, как всегда в разговоре с сыном, сощурился на него и ответил серьезно:

— Да, конечно, мы так и сделаем. Нам с тобой в саду будет чрезвычайно удобно... играть с мамой и с Ольгой Адамовной... в кто дальше доплунется...

11

День спустя, проходя торговым рядом, называвшимся по старой памяти — Архиерейским корпусом, Пастухов с женой остановились перед газетой, только что наклеенной на кирпичную стену и обрамленной по краям, где стекал клейстер, шевелящимся ободком мух.

Военная сводка Красной Армии была грозной: фронты раскачивали свои действия все более зловеще на юге и на востоке. Нижняя и Средняя Волга попрежнему была желанной целью белых генералов, одновременный выход к ней деникинского правого фланга с донских степей и колчаковского центра из Заволжья означал бы слияние разомкнутых военных сил контрреволюции, которые теперь поднимались явно для решающего удара. Казаки уральских и оренбургских степей должны были бы сомкнуть звенья мертвой цепи вокруг республики Советов. Саратов в этой борьбе громадного стратегического масштаба был рукоятью меча, опущенного клинком вдоль Волги, на юг, и одним лезвием обращенного к западу, против Деникинских армий, другим — на восток, против казаков. Переломить этот уже испытанный большевиками, послушный им меч, выбить эту рукоять из непокорной десницы революции — было ближайшим намерением белых, и для осуществления его они согласились между собой не пощадить крови.

Поспешно надвигавшееся лето несло с собою на Саратов, казалось, одинаково горячие ветры с трех сторон — с низовья, где так же, как год назад, у всех на устах был Царицын, с донских хлебных равнин, где страшной опухолью набухал новый фронт, и из Заволжья, где, в глубине степей, казаки осадили свою главную станицу — завоеванный красными Уральск. От этих ветров, ускорявших жаркий свой бег, становилось тяжелее дышать, город чувствовал: быть лету знойным.

Всякий хорошо понимал, что жизнь и в самом коротком, и в самом дальнем будущем зависит от гражданской войны, ее повседневного течения, ее конечного исхода. Но понимая это и либо отдавая войне то, что она требовала, либо противясь ее требованиям, всякий был связан общей жизнью, рассчитанной не на военное, а на мирное будущее, и вдобавок неизбежно вел свой личный быт, то совпадающий, то

совсем не вязавшийся с жизнью общей. Все это уживалось в переплетении иногда красочном, иногда бесцветном, и с такими внезапными переменами, что один час никак нельзя было уподобить другому.

По дорогам маршировали рабочие отряды, запыленные, с деревянными мишенями на плечах бойцов. Госпитали мчали на грузовиках свои кровати, учреждения — свои оббитые шкапы. В трудовых школах девочки и мальчики лепили из розового и зеленого пластилина петушков и лошадок и устраивали выставки своих изделий. На заводах и в мастерских паяли и начинали взрывчатой смесью ручные гранаты. В садике наискосок Липок толпа любителей, в поздние сумерки, подковой окружив эстраду, слушала поредевший после войны симфонический оркестрик и наблюдала за извивами худосочного дирижера — городской знаменитости, прямоволосой, как Лист, и черно-синей, как Паганини. На Верхнем базаре, оцепленном нарядом красноармейцев, вели облаву на дезертиров. В газете появлялась значительная статья о предстоящей петроградской постановке «Фауста и города». Шли съезды сельских Советов и крестьянской бедноты. В кино показывали «Отца Сергия» Льва Толстого. У пекарен дежурили очереди за калачом. Городской Совет выпускал обязательное постановление о снятии с домов старых торговых вывесок. Церкви густо благовестили ко всенощной. Против здания бывших губернских присутственных мест возводилась из цемента еще не ясно угадываемая конструкция революционного памятника.

Прочитав сводку, Ася и Александр Владимирович перекинулись скорым взглядом, который был им до дна понятен без слов. Но в тот же момент, обернувшись к газете, Ася сказала:

— Смотри.

И они вместе, почти касаясь друг друга головами, приблизились к темным от проступившего клейстера строчкам:

«К приезде А. Пастухова. В Саратов прибыл драматург Александр Пастухов, пьесам которого не раз бурно аплодировали наши ценители театра. Имя его должно быть известно у нас не только поклонникам сценического искусства, но так же и в революционных кругах. В свое время А. Пастухов участвовал в распространении в нашем городе поджольных листовок против самодержавия и пострадал от царских охранников. Деятели прогрессивной местной печати предпринимали шаги в его защиту, но безуспешно: мрачные силы прошлого не могли простить начавшему завоевывать популярность литератору его симпатий к угнетенным массам, его самоотверженную помощь революционерам. Теперь, когда рабочий класс открыл широкий простор для творческих талантов народа, мы можем ожидать, что из-под искусного пера нашего земляка А. Пастухова выльется немало произведений, которых от него вправе ожидать современный зритель. Театральная общественность желает ему на этом ответственном пути славных удач и свершений. ЮМ»

Они отошли от газеты и завернули за угол. Ася взяла мужа под руку. Не глядя на него, она видела его мину. Оттого, что он вобрал шею в воротник, у него вздулся второй подбородок, нижняя часть лица выросла, губы припухли, как спелый гороховый стручок. Он смотрел вдаль, веки его то начинали мигать, точно стараясь освободить глаза от царапающей помехи, то замирали, полуприкрытые.

Раздался внезапный трезвон на звоннице архиерейского двора, и сразу готовно отозвались многоголосые колокола нового собора: пресвященный выезжал из ворот на своей тяжеловатой, небыстрой паре темнокарих. Пастуховы должны были пропустить карету и увидели его

через начищенное стекло дверцы — он слегка наклонял черный клубок и пухлыми, как пшеничный хлеб, короткими пальцами, чуть выглядывавшими из лилового шелкового отворота рукава, благословлял направо и налево.

Ася тихонько перекрестилась.

— Тьфу! Поп переехал дорогу, — буркнул Пастухов с явным умыслом показать, что его настроение превосходно.

— Какой же это поп, Саша? Это монах!

— По-твоему, монах — к добру?

— Непременно к добру!

— Тогда другое дело, — согласился он и, омыв ладонью лицо, засмеялся. — Мерцалов! ЮМ! Ах, шут гороховый! Удружил!

— Ты мне никогда не говорил об этой истории, — облегченно сказала Ася. — Подполье, прокламации, революционеры. Что это?

— Да ерунда! Ты же знаешь — или забыла? — старый анекдот с подпиской о невыезде. Ну, действительно, меня тогда здесь подержали, хотели что-то там такое мне приписать... пришить, как говорят по-блатному. Чепуха! Выдумки.

Он помешкал, нервно расстегивая и распахивая пальто, потом вдруг досказал:

— Во всяком случае, сильное преувеличение. Этот заржавленный прогрессист стряпает, наверно, для себя, свою домашнюю кухню, больше ничего. Постную лапшу из провинциальных бредней...

— Но что-то все-таки было?

— Ах, ну что там могло быть! Какие-то пустяки...

Он немножко посвистел, осанился, и она поняла, что он еще не решил, как отнестись к навязанным ему заслугам.

— Что же, что пустяки, — мурлыкнула она вкрадчиво и любяще, — нам, бедным, и пустяками нельзя брезговать, если пустяки наруку. Все сложилось не по нашей вине, не по нашему желанию...

Он передернулся, она ответила неслышным, шутивым и таким убедительным своим смешком, и тогда он произнес резко:

— Не могу же я, в самом деле... раз это ниже моего достоинства...

Она чуть пожала ему руку выше локтя, он насупился и промолчал всю дорогу до дома...

Арсений Романович с первых дней настоял на том, чтобы Пастухов пользовался кабинетом и библиотекой, потому что заниматься в комнате, где находилась семья, было затруднительно, и Пастухов принял этот порядок. Он расположился за письменным столом, приведя его в чистоту, хотя считал, что как раз этим больше всего нарушает привычки хозяина-холостяка. Но он не выносил ни пыли, ни лишних вещей перед глазами. С тоской он вспоминал свой стол — лампу на высокой хрустальной колонке, бледнофиолетовый абажур, кубический стеклянный массив чернильницы, желобок из папье-маше с золотым китайским драконом, и в желобке — целую поленницу отточенных карандашей. Карандашами занималась Ася: он их ломал, она чинила, и она же ставила рядом с чернильницей какой-нибудь цветок — смотря по сезону: тюльпаны ранней весной или связку нарциссов, зимой — ветку оранжерейной азалии, малиново-алой, как огонь, легом—левкой, или просто ромашки, или два-три длинновязых розовых лупина. Прихотливая череда запахов проходила комнатой Александра Владимировича, и чего только он не отыскивал в оттенках благоуханий, и как только же поражал своими открытиями жену:

— Ася! — звал он содрогающим квартиру криком. — Поди сюда!.. Закрой глаза, нюхай. Правда, в этих окаянно-невинных благовещенских лилиях спрятаны опенки? А?

— Да что ты! — восклицала она, счастливая и неверящая. — И правда! А говорят — лилии без запаха! Как же я не замечала?! Боже мой, совершенные опята! Жареные опята!

— Да не жареные, а свежие, только что снятые с гнилого пенька! Такие розоватые со ржавчинкой, кустиком, на палевых ножках. Убейся, ты ничего не понимаешь, у тебя в носу вата от насморка!.. И заметь: опёнок — происходит от слова пенек, опёнышек растёт на пёнышке. Это открытие сделано мною. Поняла? Ну вот, запомни, что у тебя муж — гений. И уходи, пожалуйста, безнося, ты мне мешаешь работать...

В кабинете Дорогомиллова пахло следами мышей, при белом свете резво шуршавших книгами, где-нибудь между стеной и задней полкой. Книги пахли книгами: этот аромат несравним ни с чем. Особенно книги восемнадцатого века, из тех, которые понемногу перекочевали из усадеб в город, с обветшалыми дворянами или с поповичами, изменившими сельским церковным слободкам отцов — желтые или пепельно-голубые, с едва улавливаемой на свет водяной сеткой страницы: «Нового Плутарха», «Словаря суеверий», «Смеющегося Демокрита». Но и позднейших лет книги, прошедшие базарным «развалом», через руки содержателей ларьков и букинистов, несли в своих разворотах букет неповторимой кислятинки и заболони, напоминая и винный боченок, и обчищенный прут лозника — первородный запах легко принимающей влагу древесины, которую, со временем, все больше добавляют в бумагу. Старинная тряпичная бумага немного похожа на выветриваемый бельевой комод или донесшийся издали дух белошвейной мастерской. Но все это только приблизительные уподобления, потому что книга пахнет книгой, как вино — вином, уголь — углем, — она завоевала место в ряду с основными стихиями природы, это не сочетание, но самостоятельный элемент.

Пастухов клал рядом с чернильницей карманные часы: он работал много, однако всегда по часам. Но, воззрившись на золотую шелковинку секундной стрелки, он чувствовал, что обычное сосредоточение фантазии вокруг одной темы не приходит, что — наоборот — в кабинете Дорогомиллова мысль развевается, будто невесомая пыльца цветений — то туда, то сюда, куда дохнет прихотливым воздухом весны. Тогда он шел к полкам и, как попугай, вытягивающий билетик «счастья», гашил за корешок какой-нибудь приглянувшийся томик.

Обычно он брался за историю. То, что прежде казалось достоянием университетских приват-доцентов, архивных крыс и мертво покоилось в прошнурованных «делах» и учебниках, теперь приобретало для Пастухова живой смысл и беспокоило, как личная судьба. Громы, ходившие второй год, днем и ночью, за пределами ненадежных убежищ Александра Владимировича, перекликались с отдаленными событиями, описанными на полузабытых страницах. Наверно, прошлое умирало только мнимой смертью вместе с пережившими свой век летописями, но вечно пребывало в крови народа, взметывая языки старого пламени, едва загорался новый огонь — огонь возмездия и неистовой тоски о лучшей доле.

Пастухов читал о народной войне Пугачева, и Емельян Ивanych возникал перед ним, как призрак, явившийся на желтых лысых взгорьях, обнимающих Саратов. Былой хорунжий стоял без шапки, уткнув кулаки в бока, августовский полынный жар шевелил его русую гриву,

и он спокойно и грозно глядел вниз, на городских людишек, которые, с занявшимся духом, взбирались к нему вверх, чтобы положить к стопам покорителя городские ключи. Он въезжал на вороном коне, сам как ворон — жгучий и окрыленный, — с казачьей шашкой на бедре в серебряных, как белое перо, ножнах, с распахнутым воротом пунцовой шелковой рубахи под бешметом, въезжал через открытые Царицынские ворота в город, и народ кидал над головами шапчонки и бежал за его конем, шумя и выкликая изустные челобитные на своих врагов-утеснителей. В закатный час, под звон соборной колокольни, восседая на приподнятом помосте, крытом отнятыми у богачей закаспийскими коврами, он милостиво принимал присягу горожан, и вольные его сподвижники, руками проворного на расправу войска, развешивали вокруг Гостиной площади изловленных дворян, царевых ставленников, вредных купчишек, и тот же терпкий от полыни степной ветер покачивал на глаголях висельников и, накружившись вокруг них, летел в Заволжье.

С извечным этим ветром уносился Пастухов прочь из пугачевщины, перелетая через желтые горы, через Волгу, через степи на полторы сотни верст и на добрые полторы сотни лет к недавним дням.

Тогда слышался ему топот белого коня и свист его ноздрей, и на коне, прижавшись к гриве, скакал, заломив папаху, светлоусый всадник с прищуренным глазом под стиснутыми бровями, и за всадником, переливаясь, словно ковыль, волнами, накатывались ярые конные полки. Это был балаковский плотник, недавний подпрапорщик из солдат, теперь собравший на просторах Заволжья конную и пешую рать в защиту революции от возмущившихся против нее уральских станиц. Под знаменем большевиков карал он — красный командир Василий Иваныч — карал и казнил корыстный старый мир щедрой и увесистой народной дланью. Имел его уже неслось впереди него восточным гортаным клетотом — Чапай, Чапаев — по всему Уралу, по всей Волге. Как прирожденный хозяин степей, брал он степные города и станицы, нарекал их новыми именами — повелительный крестный отец — и скакал, скакал, загоня под собою коней, по великой равнине от Узени до Урала, от Иргиза до Белой. Опаленный все тем же неистребимым полынным жаром августа, отвоевывал он у белых захваченный ими родной уездный город Николаевск, и когда вел свой Первый имени Емельяна Пугачева полк в атаку — сбивать с позиций чешскую артиллерию — наименовал штурмуемый город Пугачевском, отменив рабочей и крестьянской властью царское его николаево величанье, и конники, скача в атаку, грянули на всю раздольную ширь: «Даешь Пугача! Даешь!»

Случилось это за девять месяцев до того, как сейчас, весной, Пастухов думал об Емельяне и о Василии Иванычах, отыскивая сходства и различия между пугачевской вольницей и чапаевским краснознаменным войском. Теперь Василий Иваныч бился уже далеко от Пугачевска, ломая и руша строй офицерского корпуса Каптеля. Иные города встречали чапаевских всадников, иная музыка Заволжья — будто барабанный бой — Бузулук, Бугуруслац, Бугульма, Белебей.

Но как ни менялась музыка имен, как ни рвались вперед и ни врашались события, Пастухову все слышался неотвратимо-звующий жар полыни, который обьял равнинные пространства русского Юго-Востока, соединив их во времени и в чувстве. Тогда он думал, что судьбы народа из века в век решались в этом полынном зове Юго-Востока. Здесь пробовалась прочность русского копья, здесь мерилась крепость сабель, здесь посвист казака играючи перекликался со свистом пули.

От поля Куликова до Степана Разина, от Пугача до неизловимых вольниц волжского Понизовья, в степном углу, где сблизилась, чтоб снова разминуться, два многоводнейших русла — брат и сестра, — звоном оружия вырубалась история народной славы, народного недовольства, народного гнева. И вот опять, в том же сладостно-горьком степном углу, назад тому немногие месяцы, около города — ключа волжского Понизовья, который величали еще по-царски — Царицыном, выиграна была первая из великих военно-стратегических битв за хлеб, за волю, за советскую власть. И еще раз, уже сейчас, новой весной, все в той же степи Юго-Востока — где брат тянет руку сестре — с новым зноем нависала душная туча: казачий Дон лязгал сталью шашек. Крестьянская, рабочая Волга выкатывала на курганы пушки...

Пастухов вздрогнул от негромкого стука в дверь: Арсений Романович заглядывал в комнату с видом раскаяния в такой непростительной смелости. Нет, нет, он не хотел мешать, ему нужно только на секундочку, и он сейчас же уйдет — варить свой суп из воблы. Правда, ему хотелось сказать об одной новости, но это можно и отложить.

— Да входите вы, пожалуйста, ведь это же — ваш дом! Мне, ей-богу, неловко! Я ничем не занят. Сижу, перелистываю Соловьева. Что-нибудь насчет выселения?

Нет, насчет выселения не было никаких новостей, жалоба Арсения Романовича еще не рассматривалась, а военные власти ничего о себе не давали знать.

— Пока живем, живем! — бодренько сказал Дорогомиллов. — Но есть одна новость.

Он извлек из бокового кармана и распахнул газету.

— О вас, — произнес он уважительно.

— Ах, да, — быстро ответил Пастухов, — читал.

— Читали? Я тоже прочитал и очень, очень рад!

— Рады?

— Ведь сами вы не сказали бы, что вы не только слуга Мельпомены, но и слуга народа?!

— Ну, знаете, — как бы отклонил незаслуженную честь Пастухов.

— Я только подумал — по какому же вы делу привлекались? По времени получается — по рагозинскому. Не по рагозинскому?

— Некоторым образом, если угодно, — без охоты сказал Пастухов, отходя к окну. — Бросьте вы об этом!

— Я понимаю, хорошо понимаю! — воскликнул Арсений Романович, сделав шаг вперед и сразу же отступив в застенчивой нерешительности. — Эта заметка, как бы сказать, ранит вашу скромность, да? Извините меня, это так понятно, что ведь нельзя же человеку о самом себе так вот и заявить, что я, мол, страдал за народ и имею, что ли, заслуги перед революцией. И даже может быть неприятно, если другой кто-нибудь возьмет и заявит — смотрите, мол, вот он, в своем роде, исторический деятель. Ну, и вообще такого типа. Я бы тоже ни за что не проронил бы о себе ни слова, если бы и сделал что-нибудь в прошлом для успеха движения...

— Ну, если бы сделали, то почему же? — убежденно вставил Пастухов.

— Нет, нет, нет! Что вы! — совсем в испуге взмахнул руками Арсений Романович. — Нет! Я почему взволновался? Я как прочитал, так невольно подумал, что неужели вы тоже... то-есть неужели вы участвовали в рагозинском деле? И мне, знаете, пришла идея... или, как

бы сказать, я перенесся в ваше положение и решил, что вам наверно очень было бы интересно узнать, как это тогда все происходило...

— Что происходило?

— То-есть, нет, нет! Может быть, вы стояли гораздо ближе... и даже наверно, наверно стояли так близко, что вам все отлично в самых мелочах известно!..

— Что известно?

Дорогомилов, переплетя пальцы, теребил руки, прижимая их к груди, розовые, стариковские румянцы выступили над путаной седой бородой его бороды, он приподымался на носках, словно стараясь куда-то заглянуть, и Пастухов смотрел на него уже с той жадностью, которая обычно возникала, когда он чего-нибудь вовсе не мог понять.

— Я подумал, что если вы причастны к этому делу, то все-таки мне, как вашему знакомому, следовало бы, может быть, сказать, что собственно известно лично мне...

— Арсений Романыч! Ну говорите же, ради создателя!

— Нет, нет! Вы только не заключайте, пожалуйста, и я даже буду вас просить дать мне слово, что вы не поймете так, будто я хочу как-нибудь фигурировать или создать впечатление, будто я тоже какой-нибудь революционер, стать как бы в один ряд с вами, Александр Владимирович, — нет, нет! Я просто никому об этом...

— Арсений Романыч!

— Ну, так пожалуйста, пожалуйста!

Дорогомилов расцепил пальцы, сложил аккуратно на столе газету, чиркнув ногтями по ее складкам, и, приведя себя в спокойствие, сказал тихо:

— Вам, вероятно, будет интересно узнать, что Петр Петрович Рагозин, когда его разыскивало в 1910 году охранное отделение, никуда не уезжал из Саратова и находился...

Арсений Романович вздохнул глубже и слегка поднял дрожавшую руку, показывая на боковую узенькую дверь.

— ...вот здесь.

— У вас?

— Вот в этой самой библиотечной комнатке.

— Значит, вы... — сказал Пастухов, но Дорогомилов не дал ему договорить.

— Я прошу — поймите меня: я не о себе хочу, а только о Петре Петровиче. Он не потому у меня очутился, что я принимал какое-нибудь участие в его деле, как, допустим, вы, а совсем наоборот — потому что я никакого, ну просто-таки никакого отношения ко всему этому не имел. А когда подпольному комитету партии стало известно, что готовятся повальные аресты, тогда один мой старый знакомый, который в комитете работал, пришел ко мне и сказал, что надо укрыть одного хорошего человека и что моя квартира вполне для этого безопасна, потому что все меня считают (тут Арсений Романович улыбнулся детской и в то же время хитровой улыбкой и затем дохнул с открытой душой)... ну, что говорить, считают вроде как за городского дурачка. Это он мне прямо не выговорил, но я понял и согласился, нечего греха таить, согласился, потому что ведь это, ей-богу, так. И потом ко мне хороший человек явился, и я его вот тут вот...

Дорогомилов подбежал к библиотеке, рассек рукой воздух между полок, отпорхнул назад, к старому дивану с желтым исцарапанным кожаным сиденьем, и, прижав к нему обе ладони, закончил с проникновением:

— Вот на этом диванчике, там, за полками, Петра Петровича я тогда и водворил.

Арсений Романович принял вид несколько церемониальный, откинув волосы, одернув сюртук и ожидая, что скажет Пастухов.

Александр Владимирович зашел в библиотечную комнатку, постоял перед полками, медленно вернулся, сел на диван, легко оглаживая прохладную поллировку спинки, потом достал портсигар и стал разминать папиросу.

— И долго он у вас там за полками сидел?

— Двадцать семь дней! — не задумываясь, дополнил Дорогомилов.

— Не выходя?

— Не выходя.

— Но как же он...

— Все, все, что ему было нужно, я доставлял...

— Но что же он все-таки целый месяц делал?

— Читал.

— Читал?

— Да. Вот извольте — что это? Соловьев? Читал и Соловьева. И даже на многих книгах оставил заметочки карандашом.

Дорогомилов схватил со стола книгу и поспешно залистал страницы.

— Вот, вот, к примеру...

Пастухов увидел на полях малоразборчивую резкую надпись поперек отчеркнутых строчек и пробежал взглядом отмеченное место. Это была грамота Пугачева, где он, милостью своей императорской личности, жаловал всех своих приверженцев «...рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью...»

— Вы можете разобраться, что тут написано?

— Могу, — сказал Дорогомилов и прочел: — «Так будет».

— Это написал Рагозин?

— Да, это написал Петр Петрович.

Пастухов поднялся, окуренный клубами папиросного дыма, долго стоял, вызывая неподвижностью своей молчаливое и почтительное ожидание у Арсения Романовича.

— Что же — преемственность?

— В каком отношении? — не понял Дорогомилов.

— Я до вашего прихода, читая о Пугачеве, думал о происходящем нынче там, за Волгой, на Дону, по всей России. Порох, заложенный тогда, горит сейчас. Правнуки казацкой вольницы скачут по степям.

— И да, и нет! — торопясь, сказал Дорогомилов. — Народный суд, который тогда был силою прерван и который после того сколько раз зачинался опять и сколько раз опять прерывался, он сейчас продолжается, эго так. Но цель-то ведь не только суд и кара, правда? Цель-то ведь — устройство иного общества, ведь верно?

— Но вы видите: Рагозин приложил собственную руку под обещанием Пугачева, а?

— Под мечтой его, под благодетельной мечтой! Не под казацкой вольницей! Под будущим приложил свою руку, которое таилось в пугачевском обете, а не под прошлым.

— А не кажется вам, дорогой Арсений Романович, что народ безудержностью своего суда, разгулом страсти своей, крепче укоренит то прошлое, которое сейчас корчует?

— Никогда, Александр Владимирович, никогда, говорю я, ибо он, корчуя, насаждает!

— Хотел бы я думать так, как вы! Но разве не смоеет этот карающий поток слабенькие саженьцы, которые мы едва видим в его водовороте?

— Слабенькие? Вы называете их слабенькими? Да самый поток-то извергнут одним таким ростком — великой идеей насаждения государства на совершенно народной основе. Поток-то этот всеразрушающий новым государством и направляется! Этим слабеньким, как вы говорите, саженьцем!

— Однако не слышно ли слепой стихии в нашем окраинном свисте и топоте конниц?

— Разве что всякое величие может быть названо стихией! Да и не окраинный это свист и топот! Мне слышно другое. Сейчас сказано бессмертное слово, слово о власти труда, которое свяжет все окраины в целое!

— И неделимое?

— И неделимое!

— Но об этом и на Дону говорят, Арсений Романович...

Пастухов как будто поддразнивал его, любуясь священной серьезностью, с какой он выкладывал свои убеждения. Но игра не мешала согреваться пылом неусмиримой веры в седоволосом растрепанном человеке, и Пастухов чувствовал, что спор влечет к тому самому главному, о чем думалось с каждым днем больше и больше — о своем месте в происходящем.

— На Дону! — с возмущением сказал Дорогомилов и даже отворотился прочь, показывая, что такого довода он себе решительно не представляет. — Там говорят о неделимой России прошлого. А тут народ настолько сметает все прошлое, что...

Дорогомилов неожиданно схватил Пастухова за лацкан и, подергивая книзу на каждом слове, провещал в каком-то сурово-восхищенном рвении:

— ... народ будет вынужден взять на себя все будущее и по необходимости построить свой совершенно иной мир. Как поется в гимне! Да-с! И это будет великий подвиг!

Он тут же застеснялся своего душевного рывка и отскочил сейчас же в сторону, как только досказал о подвиге.

Мысль его поразила Пастухова. В том, как было выговорено слово «необходимость», точно впервые обнажился настоящий смысл неприменности и такой предрешенности, что уж будто новому миру ничего не могло оставаться, как только возникнуть. И то, что слово это сказано было старым человеком без какого-нибудь страха или опасения перед будущим, но с юношеским восторгом, наполняло его пророческой силой, которая тотчас, как всякая сила, оказала действие, вызвав в Пастухове желание ей подчиниться. Но он слишком привык начинать с возражений встреченному факту и сразу понял смешную сторону своего желания: хорош бы он, в самом деле, был, если бы упал в объятия этому чудаку в сюртуке, вдруг признав в нем самого убедительного из пророков, которые до сих пор ни в чем Пастухова не убедили! И повременив, пока не улеглась потребность слиться чувством с перетревоженным Арсением Романовичем, Пастухов сказал:

— Вы убеждены, что разум переборет страсти прежде, чем они подчинят себе события?

— Он не собирается бороться со страсти, это было бы гибелью. Он их направляет.

— Компасом Рагозиных?

— А вы сомневаетесь? Вашим компасом, если вы не выпустили его из рук с тех пор, как держали вместе с Рагозиным.

Дорогомиллов вдруг потерял свой взбаламученный облик и глядел на Пастухова похолодевшими, даже жестокими глазами, словно пробуя его выдержку. Уж не осталось следа от уважительности в голосе, уже совсем будто и не было боязни как-нибудь задеть скромность Пастухова, а было только испытание, взыскательный экзамен, и как экзаминатор, решивший добить ускользающего от прямого ответа ученика, Дорогомиллов спросил без обиняков:

— Но, может быть, вы отошли, Александр Владимирович, от взглядов Рагозина за истекшее время и находитесь в другой партии?

Несмотря на примелькавшуюся обычность разговора о партиях, вопрос показался Пастухову необыкновенным и на секунду смутил и почти оскорбил именно тем, что задан был с экзаминаторским намерением принудить к прямому ответу. Кроме того, Пастухов становился из наблюдателя наблюдаемым, и это его крайне умалило в собственном о себе мнении. Но обижаться было бы малодушием, и он, как всегда в затруднительных случаях, прибегнул к спасительному своему жесту омовения лица. Он утерся ладонью, помигал и с легким сердцем засмеялся.

— Никогда я, милый Арсений Романович, ни к каким партиям не принадлежал, да и не собираюсь принадлежать. Историю, которая со мной приключилась во время рагозинского дела, я когда-нибудь расскажу. А вы расскажите, как же было дальше с Рагозиным, когда он у вас тут сидел?

— Да, да, — вдруг обретая свою беспокойную обязательность, зашепшил Дорогомиллов. — Замечательно, что я вовсе и не знал тогда, кто у меня укрывается

— Как так?

— Я же ведь понимал, что спросить об этом, значит получить не отказ даже, а просто ничего не стоящий ответ, вымышленное имя, и все. И я не думал спрашивать. Я только год спустя узнал, кто был этот хороший человек. И, знаете, хотя прошел уже целый год, я все-таки очень тогда испугался!

Арсений Романович улыбнулся со счастливым удовольствием.

— Испугались через год? — опять засмеялся Пастухов.

— Испугался через год! Очень уж в городе шуму много было вокруг его имени. Да вы помните?

— Ну, а как все кончилось?

— Кончилось просто. На двадцать седьмые сутки, в ночь, я проводил Петра Петровича на берег, в приготовленную заранее однопарную лодку, и он один отплыл по течению, до села Рыбушек, как он мне сказал, где должен был сесть на пароход. Наверно, так все и вышло. Я у него не расспрашивал — с верхним ли он поедет пароходом или с нижним, а лодку, мы договорились, что он бросит. С той ночи я его не видел до самой революции: когда он сюда вернулся, я его слушал на митинге.

— Он здесь? — воскликнул Пастухов.

— Да разве вы не знаете? — тоже изумился Дорогомиллов.

— И вы с ним не встречаетесь?

— Нет.

— Позвольте, — вскидывая руки, сказал Александр Владимирович, — позвольте! Что же вы столько себе задали треволений, хлопота в каком-то там коммунхозе, чтобы вас не выселяли из собственной квартиры, если вам стоило пойти к Рагозину, и он вас во дворец бы переселил, с почестями и с музыкой!

— Это почему же? — спросил Дорогомиллов и нагнул вбок голову.

— Как почему, странный вы человечеще? Да ведь вы ему жизнь спасли!

Дорогомилов, весь съезживаясь, как от налетевшего озноба, проговорил с подавленной обидой:

— Я провалился бы от стыда, прежде чем это сделал бы.

В эту минуту в коридоре зазвучали голоса, сильнее и сильнее, сначала женские, потом мужской — на редкость полный, с маслянистым переливчатым оттенком, и Пастухов, испытывая неприятное стеснение перед оскорбленным Арсением Романовичем, обрадовался неожиданной вырубке, насторожился на шум и вдруг с облегчением узнал этот особенный мужской голос и кинулся к двери:

— Цветухин! Пришел Цветухин!

12

Когда Егор Павлович сбрил усы, обнаружилось, что у него — слегка вздернутый нос и выпяченная нижняя губа, которая как бы припечатывала речь в конце слов. Возможно, он носил усы, чтобы сгладить этот недостаток, и так же возможно — сбрил их, чтобы смягчить следы, положенные на лицо работой времени.

Но за этой неожиданной губой и за этими морщинами Пастухов тотчас увидел прежнего Цветухина — бурсака, фантазера, любимца публики, чуть-чуть гарцующего смуглого красавца, и на секунду растрогался. Обнимаясь, они оба ощутили наплыв того родственно-молодого, что связывало их в прошлом.

Егор Павлович сразу, однако, как-то заиграл, взяв шуточный, пожалуй, насмешливый тон, к которому прибегают люди независимые, старающиеся показать, что они за себя постоят, если их чувство равенства будет задето чьим-нибудь превосходством. Это — одна из чувствительных заноз, мешающих непринужденности отношения некоторых даже тонких людей провинции к так называемым столичным птицам: боязнь оказаться ущемленными часто лишает гордецов возможности в своей очередь обнаружить истинное превосходство над такими птицами.

Произошло первое свидание приятелей наедине, оно прошло бы совсем иначе. А тут Цветухина изучали сразу и Анастасия Германовна, встретившая его с обаятельным, хотя почти артистическим расположением, и взволнованный Дорогомилов, о котором Егор Павлович слышал, как о своем присяжном поклоннике. Вдобавок, встреча сопровождалась одним смешным обстоятельством, толкнувшим Пастухова к игривости, так что, против ожиданий, все пошло слегка вкривь.

С Цветухиным явилась девушка, отрекомендованная им запросто: — моя ученица Аночка. Она оказалась знакомой Дорогомилова, но, не смотря на это, в первый миг очень смутилась, будто попала бог знает куда, и сразу отступила в тень, за этажерку, с таким вежливо-умоляющим выражением лица, словно просила о себе забыть. Оттуда она и выглядывала, наблюдая особенно за Пастуховыми.

— Что, старый революционер? — чуть ли не со второй фразы после «здравствуй», пожаловал Цветухин. — Воевать приехал?

Он со вкусом потер руки, точно хотел сказать, что мол вот я сейчас возьму тебя в работу!

— Это ты, говорят, здесь воюешь, — усмехнулся Пастухов. — Возрвать театр собрался?

— Мы — что! Перелицовываем, что можем, как костюмеры. Из рогожки парчу делаем. А ты залетел в самое поднебесье. Не достанешь. Революцию делал. От царской охранки пострадал!

Цветухин шельмовски сощурил один глаз, но не настолько, чтобы это можно было счесть за подмигиванье.

— Я-то при чем? — сказал Пастухов, и усмешка его сделалась неподвижной. — Это все ваш Мерцалов.

— Да уж там наш или не наш! Мерцалов или не Мерцалов! Только теперь весь город знает про р-революционные заслуги Александра Пастухова.

— Разве это плохо? — спросила Анастасия Германовна в обворожительном испуге.

— Помилуйте! Помилуйте! — вскрикнул Цветухин и потом сразу опустился до шопота, прикрывая рот указательным пальцем: — Оч-чень, оч-чень хорошо! Замечательно! И, между нами, в высшей степени своевременно!

Он громко засмеялся и опять сощурил глаз.

— У тебя тик? — полюбопытствовал Пастухов.

Ощупывая свое лицо, Цветухин быстро перешел на крайнюю озабоченность.

— Тик? Почему тик? Ты что-нибудь заметил? Ты меня убиваешь. Аночка! У меня тик, а?

— У тебя глаз дергается, — сказал Пастухов.

— Ах, глаз! — снова засмеялся Цветухин. — Так это он ослеплен видом испытанного в боях революционера!

— Ладно, ладно! Вместе ведь прошли наш доблестный путь благородный...

— Ты уверен? — тихо и серьезно сказал Цветухин.

— Не столько уверен, сколько помню, как ты тряся при мысли о жандармах.

Взгляд Цветухина сделался странно-отвлеченным.

— Это хорошо, что ты не совсем уверен, — проговорил он вскользь и, выдержав паузу, спросил еще серьезнее: — ты не допускаешь, что с моей стороны это могла быть конспирация?

— То-есть ты тряся... для конспирации?

— Вот именно. Для конспирации.

— От кого?

— От тебя.

Они посмотрели друг на друга в молчании, Цветухин — затаенно-многозначительным взором, его приятель — часто и мелко моргая легкими веками.

Вдруг Егор Павлович захохотал, навалился на Пастухова, туго обхватил его плотный стан и, хлопая ладонями по спине, как делают, разогреваясь на морозе, стал выкрикивать сквозь хохот:

— Поверил! Поверил! Поверил!

Все развеселились, и Пастухов, высвобождая себя из объятий, подобревшим тоном пропел:

— Ну-ну, ступай к чёрту, комедиант несчастный...

— Погоди, мы еще вернемся к твоей биографии. А сейчас — два вопроса. Во-первых: употребляешь?

— У тебя есть? — недоверчиво спросил Пастухов.

Цветухин, откидывая полу пиджака, показал на вздутый брючный карман.

— Не верю, — скороговоркой буркнул Пастухов.

Цветухин медленно вытянул на свет бутылку с коричневатой жидкостью.

— Не верю, — холодно повторил Александр Владимирович.

Цветухин, оглядев все углы комнаты, истоиво перекрестился на окно.

— Все равно не верю. Что это?

Цветухин зажмурился и чуть-чуть покачал головой.

— Что за зелье, я тебя спрашиваю, комедиант?

— Пер-вач, — сценическим шёпотом произнес Цветухин и вскинул брови до предела.

— Не может быть, — сказал Александр Владимирович потрясенным голосом. — Немыслимо. Неправдоподобно. Противоречит естеству человеческого разума. Убью, если врешь, Егор!

— Аночка, подтверди! — с мольбой попросил Цветухин.

— Есть ли хоть крупца правды в том, что говорит этот безрассудный человек? — строго обратился к ней Александр Владимирович. — Спиртоносит ли хоть самую малость содержимое этого убогого сосуда?

— К сожалению, да, — улынулась из своего укрытия Аночка.

Пастухов взял у Егора Павловича бутылку, приподнял к свету, прощательно взгляделся в загадочный туман влаги, внезапно прокричал:

— А-ся! Немедленно на стол стюдень!

— Боже мой, сколько шуму! — ответила Ася, делая перепуганное лицо и в то же время премило смеясь Аночке, как естественной союзнице.

— Воболка! — неожиданно тонко воскликнул Дорогомиллов. — Есть проявленная весенняя астраханская воболка!

Он с прихода гостей не проронил ни звука, сначала не понимая, что происходит — ссорятся ли друзья, или шутят, а потом чувствуя, как завораживают и тянут за собою переливы и прыжки цветухинской игры. Раньше Егор Павлович доставлял ему глубоко-интимные переживания. Актер был зрелищем, резко отделенным непреходимой чертой: он действовал, а Дорогомиллов смотрел. Теперь никакой черты не было, зрелище вошло в самый дом Дорогомиллова и звало не к созерцанию, а к действию наравне с актером. Это было невероятно: Арсений Романович будто попал на сцену и участвовал в одном спектакле с Цветухиным!

Но воскликнув насчет воболки, Арсений Романович тут же застенялся, потому что все стали глядеть на него с ожиданием — что же он теперь сделает, и ему непременно надо было что-нибудь сделать. Пастухов рассматривал его зашевелившиеся космы с таким изумлением, будто эти сивые пряди волос вдруг ожили на манекене в пыльном окне парикмахерской. Дорогомиллов замер. Тогда Александр Владимирович подвинулся к нему, тронул мягко под локоток и произнес, слегка загнувшись, мучительно и сладострастно:

— Арсений Романович, милый! Поколотите! Поколотите! Поколотите ее об угол плиты. Покрепче. Пока не проступят соки. Потом облупите и надерите, родной мой, со спинки, с балычка, этаких тоненьких ремешков. От хвостика к головке.

Цветухин туго зажмурил глаза.

— Ремешками такими, ремешками! — изнывая, договорил Пастухов и тоже зажмурился.

— Чую! Чую настоящего земляка! И отлично понимаю! — опять воскликнул Дорогомиллов, и все сразу задвигались в неодолимой потребности скорее всё устроить.

Но Егор Павлович дирижерским мановением остановил беспокойство, плавно приблизился к Аночке, взял ее за руку, которой она не хотела давать, и потянул на середину комнаты.

— Прежде, чем выпить за повстречанье, — сказал он торжественно, — нам предстоит решить еще один не терпящий отлагательства технический вопрос. Фатальный случай сковал это молодое существо...

— Егор Павлович, ну, право же, не надо! — противилась Аночка. Пунцовая краска занялась у нее на всем лице, и она как-то неловко пятилась, продолжая вырывать свою руку. — Я чувствую себя совсем хорошо!

— А вы не стесняйтесь, — приободрила ее Анастасия Германовна, и с женской догадливостью спросила: — У вас каблук оторвался. Правда?

— Бедняжка просто стоит на гвозде! — возбужденно подхватил Егор Павлович. — Каюсь, вина моя. Мы шли через трамвайную линию, Аночка угодила каблуком в рельсу, — кнак! — и понимаете? Я бросился на выручку, нашел какой-то там булыжник, стал приколачивать, знаете, вот эдакий гвоздище, из-под стельки, — ужас! И ничего я не мог поделывать! Как мы дошли? — понять невозможно...

— Как вы дошли! — лукаво переговорил Пастухов.

— Как дошли! — не сообразил сразу Егор Павлович, но приостановился: — А что?

— Ничего. Ты ведь про бедняжку Аночку? Или, может, у тебя тоже гвоздь в башмаке?

— Ну, конечно, про Аночку. Но ведь... сердце-то не железное?

— Не железное, — быстро согласился Пастухов.

— А вы разуйтесь, — сказала Анастасия Германовна так ласково и проникновенно, будто давала совет по крайне секретному делу.

Егор Павлович пододвинул Аночке стул. Она села. Он с ловкостью стал на одно колено, чтобы помочь ей снять туфель. Но она тотчас вскочила, отбежала, прихрамывая, назад к этажерке, стряхнула прочь туфель и по-журавлиному подобрала разутую ногу. Смущения ее как не бывало, — она баловливо поглядывала на всех, следя за преувеличенным переполохом, поднятым Егором Павловичем.

Дорогомиллов готовно отыскивал в своем фантастическом хозяйстве нужные орудия, со звоном, дзиньканьем, стуком перерывал ящики письменного стола, вздымая пыль столетий, чихал, фыркал, ворчал на своих мальчишек, которые были вечным испытанием его любви к порядку. Нашлось кое-что очень полезное: маленькие слесарные тиски, никелированная наковальня, щипцы для сахара. Но, как на грех, запропастился молоток.

Хитро, насмешливо водил взглядом Александр Владимирович за суетившимся Цветухиным. Егор Павлович, перебегая с места на место, то прижимал к себе аночкин туфель, то заглядывал в него и трогал гвоздь пальцем с видом полного отчаяния. Разгадка как будто уже была нащупана Пастуховым, и он забавлялся потешной сценой. Когда молоток отыскали и Цветухин с азартом выхватил его из рук Арсения Романыча, Пастухов сказал:

— Простите, милая мадемуазель. Кого из трех рыцарей вы хотели бы иметь своим башмачником?

Стоя попрежнему на одной ноге так, что согнутая коленка другой, в телесном по моде чулке, торчала из-под короткой юбки, Аночка внимательно глядела на Александра Владимировича.

— Меня зовут Аней или Аночкой. Я буду очень благодарна, если каблук будет прибит прочно.

Пастухову показалось, что перед ним — совсем не та девушка, которая, пряталась дичком за этажеркой, и особенно удивил голос, вдруг прозвучавший строгой женской нотой.

— Не беспокойся, Аночка, я теперь сделаю, сделаю! — говорил Егор Павлович, нагнувшись над подоконником и мастера какое-то приспособление. — Ты, Александр, забыл, конечно. А мы с Аночкой сейчас

вспоминали, что ведь ты назвал ее когда-то сиреной. Она была большеглазой девчоночкой, с косицами на затылке. Помнишь?

— Да, мне кажется... — лениво отозвался Пастухов и опять стал наблюдать Цветухина, упоенно воевавшего с гвоздем.

Пока продолжалось сапожничанье, Анастасия Германовна хлопотала вокруг стола, и слышно было, как Арсений Романович на совесть выполнял кулинарный рецепт Пастухова: глухое колоченье воблой о чугунную плиту неслось из летней кухни, бойко отзываясь на неровный цветухинский стук молотка.

Наконец вся работа кончилась, и стали рассаживаться, довольно неудобно, потому что мешали ящики письменного стола, — мужчины в один ряд, Аночка с Анастасией Германовной напротив.

Были налиты три рюмки (женщины со смехом, но решительно отказались пить), и когда Егор Павлович потянулся за своей рюмкой и открыл рот, чтобы произнести первое застольное слово, Пастухов оставил его.

— Погоди. Я не знаю, что ты такое принес. Может, это тараканья отравка. Недаром от нее шарахается дамский пол. Но я хочу объявить, чем дорогих гостей буду потчевать я. Блюдо, которое смолою горит перед вами, называется вельможьим студнем.

— У нас говорят — студень, — вставил Цветухин.

— У вас говорят, как хотят. А я говорю, как это кушанье называют в трактирах, откуда распространилась его слава. Настоящий студень — это не свиной, не телячий и не еще какой. Настоящий студень только говяжий. Варится он из одних ног. От морды допускается класть только губы. Навар должен быть такой, чтобы и в незастылом виде воткнутая ложка не падала, а только клонилась. Вывариваться он должен не бурно, а с томлением, почему требуется русская печь, а плита совершенно противопоказана.

— Пощади! — простонал Егор Павлович, ерзая от нетерпенья.

— Когда дрожалка застынет, она должна быть упругой, как резина, прозрачной, как сказочный алатырь, что значит — янтарь, и отстой жирка поверху обязан чуточку отдавать паленым копытом. Вот такую штуку вкушали на древней Руси бояре, отчего и пошло имя — вельможий студень. Я сам выбирал на базаре воловьи ноги. Мадам у нас есть, Ольга Адамовна, чертыхаясь, палила их при моем личном участии. Ася ходила к шабрам, где, по протекции уважаемого Арсения Романовича, топила печку и двигала ухватом чугунок. У других шабров формы с отваром студились на погребке. В конце концов получилось то чудо, которое у вас разложено по тарелкам. Предлагаю первый тост за Асю.

Он поднес рюмку ко рту, но отшатнулся.

— Что такое?

Он осмотрел всех вокруг с предсмертным ужасом.

— Ага! — мстительно сказал Цветухин. — Ну теперь погоди ты! Я перед твоим студнем в грязь не ударю. Это изделие народнейшее! (Он щелкнул ногтем по бутылке). Есть, правда, возвышеннее его. Но то — авиаторское. Бензина сейчас мало, и Ньюпоры наши летают на чистом спирте, так что с авиаторами можно подняться на недосыгаемую высоту. А в штатском обществе выше этого не взлетишь. Это — лесная легенда. Она рождается на дне оврагов, в глубине рощ. Во чреве глиняного очажка, величиной в ту же русскую печь. Каждый очаг — вроде жертвенника тайному божеству. Закурится дымок, взвывается через кружево деревьев к небу, глядишь — и начнет, как в первую мартовскую роспель, капля за каплей, падать из змиевика в ведроко теплая влага, наговаривая с тихим звоном лесную легенду. Первая бутылочка этой леген-

ды и прозвана — первач. Если вино гонят не из хлеба, а из арбузов, то это — нардык. Если...

— Очень поэтично, — сказал Пастухов. — Но ты смерть как скучно рассказываешь.

Егор Павлович беспокойно покосился на Аночку. Она была грустна и слушала состязание тревоугодников без любопытства.

— Погоди, — сказал Цветухин, приободряваясь.

— Не старайся, — возразил Пастухов. — Никакой мейстерзингер не уговорит меня, что этот желтый яд, настоенный на животе гадюки, можно проглотить. Я уверен, он запрещен докторами.

— Доктора — чудак! — всплеснул руками Егор Павлович. — Их бы на площадях лаврами венчали, вокруг них детей, как вокруг елки, водили бы, им бы пенсию выплачивали, не успели они университетские штаны сносить... если бы они признали доказанную со времен праведного Ноя истину, что винный спирт благодетелен для человека! И поверь моему предчувствию: они к этому придут! Пропишут человечеству разумное употребление чарочки. И обогатятся! И возвеличатся! И закроют свою медицину навеки, за ненадобностью!

— Аминь, — сказал Пастухов.

Он привалился к плечу Егора Павловича, мигнул Асе, поднял рюмку, озорно добавил:

— За золотой башмачок!

С бесовской искоркой в глазу, он глянул на Аночку, зажал пальцами нос, выпил самогон, сморщился, прокряхтел:

— Чудесный ты проповедник, Егор.

— Тебя, кажется, не надо красноречиво уговаривать, — нежно сказала Анастасия Германовна.

— Ты меня глубоко распознала, Асенька, — ответил он и налил еще.

Темп нечаянной пирушки настолько же буйно возрастал, насколько задержался на подступах к первому глотку.

— Послушай, Егор, — сказал Александр Владимирович, когда бутылка опорожнилась наполовину, — где ты добываешь этот восхитительный шерибренди?

— Его не так просто раздобыть. Но есть два закалычных друга — они всегда выручат в нужде. Помнишь ли еще Мефодия Силыча — поклонника муз, моего однокашника? Нет? Эх, вы, петербуржцы! Коротка у вас память.

— Оставь, пожалуйста. Во-первых, я все досконально помню. Во-вторых, что ты возносишь себя перед петербуржцами? Подумаешь — глубь земли!

— Добавь: глубь русской земли. А ты — петербургский русский, о которых как будто Достоевский сказал, что они даже не завтракают, а фрыштыкуют...

— Чем это я фрыштыкую? — обиделся Александр Владимирович. — Паленым копытом студня? С твоим крешоном из жженой пробки, которую размочили в мазуте? Тебе бы этакий фрыштик!

— Спасибо. Я с удовольствием. Да и ты сердисься не на фрыштик, а на то, что забыл Мефодия. Наверно и аночкиного отца не припомнишь? Тихона Платоныча Парабукина, а? Уж этого человека забыть стыдно! Из-за него ты ведь и пострадал за революцию, а?

Пастухов поднялся, двинув стулом, грузновато дошел до окна, вернулся.

— Знаешь, Егор Павлович, мне твой тон не нравится. Что ты хочешь сказать? Что я сам подстроил эту глупую газетную заметку?

— Ты с ума сошел! — даже подпрыгнул Цветухин.

— Нет, стой. Я хочу говорить серьезно. Сейчас многие бегут, торопятся заявить, что они тоже чем-нибудь, когда-нибудь услужили революции. Может, это мелко, но понятно. Как ты выразился — своевременно. Но что прикажешь делать мне? Бежать заявлять, что я перед революцией никаких заслуг не имею? Да ведь это же просто идиотство! Ты представь себе: какой-то там Мерцалов приписал мне участие в пропаганде против царизма. Я являюсь в редакцию газеты и говорю... Что, что я говорю? Что меня оклеветали? Что заметка не соответствует действительности? Мне ответят — редакция сожалеет, что введена в заблуждение своим почтенным сотрудником. Но что, однако, ей предпринять? Поместить опровержение? В каком смысле? В том, что Александр Пастухов никогда не выступал против царизма? Но что это будет означать? Что этот самый Пастухов был против революции? Благодарю покорно! Это уж едва ли своевременно! И почему я должен считать Мерцалова клеветником? Он же хотел мне добра! Открыл, можно сказать, дорогу! Состряпал за меня то, ради чего сейчас тысячи людей и людишек унижаются до сделок с совестью, чтобы только оградить себя от немилосердного хода событий. Хотел облегчить мне карьеру в новых обстоятельствах. За что же его казнить? Наконец, этот великодушный добряк мог чистосердечно заблуждаться. Ведь перед царским прокурором он когда-то за меня хлопотал? Охранка мной интересовалась? Подписку о невыезде с меня брала? Значит, это все правда? Значит, Мерцалов если в чем и виноват, то в некотором преувеличении. Но за преувеличение не судят. А за такое преувеличение, какое он допустил, нынче даже и взятку дадут, если представится случай. Стало быть, мне нужно не с опровержением в газету бежать, а писать Мерцалову благодарственное письмо — с совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга, тьфу!

Александр Владимирович действительно плюнул, опять отошел к окну, отколупнул кусочек окаменелой замазки и бросил об пол.

— Значит, ничего этого не было, Саша, — никакого подполья, никаких листовок? — спросила Анастасия Германовна, как будто с разочарованием.

— Да это же чистый анекдот! — брезгливо махнул он рукой.

— Тогда и отнесись ко всему, как к анекдоту, — сказала она, светло и невинно оглядывая все общество.

— Да, но ведь только вы вот тут вчетвером знаете, что это анекдот! — крикнул Пастухов, круто отворачиваясь от окна. — Ведь в газете не напечатано, что это анекдот! Ведь кто прочитает, сочтет все за правду!

— А пусть сочтет за правду, — еще невиннее, на самой тихой нотке утешила Анастасия Германовна, — разве это тебе повредит?

— Ты не понимаешь. Если потом станет известно, что это вымысел, то все решат, что я забежал, что я заискиваю, подстраиваю, что просто вру! Посмотри, как на меня глядят мои же друзья. Ну, взгляни ты на Арсения Романыча! На Егора, который ведь тоже меня заподозрил черт знает в чем!

— Ни в чем не заподозрил. Ты, видно, и меня забыл, если допускаешь, что я о тебе плохо думаю, — вдруг горько сказал Цветухин.

От этой неожиданной перемены тона словно дохнуло отрезвлением. Пастухов сел за стол, воткнул в рот кончик вобловой ленточки и начал медленно вбирать ее губами, как сытый конь — клочок сена. Помолчав, он как-то неловко засмеялся.

— Что вы притихли, Арсений Романыч?

Дорогомиллов встрепенулся, нервно огладил бороду, будто готовясь к основательной речи, но ответил кратко и останавливаясь не там, где надо.

— Действительно, как-то сложилось... в смысле затруднительности... не совсем...

Он покашлял и, видимо, решил опять смолкнуть.

— Затруднительно меня понять? — спросил Пастухов.

— Нет, с этой газетной историей... В том смысле, что вам не совсем удобно, что публика будет заблуждаться... насчет особых заслуг. Которые, конечно, были... заслуги... однако...

Он конфузился, обходя мешавшую ему неприятную мысль. Анастасия Германовна поспешила на подмогу со своей примиряющей затруднения улыбкой:

— А зачем непременно нужно, чтобы у каждого были какие-то особые заслуги? Мы ведь не требуем от путейца, чтобы он имел дополнительные заслуги сверх путейских? Он может не иметь и путейских. Довольно, что он просто путеец.

— Я понял — Александра Владимировича беспокоит, что заслуги приписаны не по адресу,—почти сурово отозвался Дорогомиллов и, очень заметно бледнея, прямо поглядел в лицо Пастухова: — я даже понял так, что вам неприятно не столько фальшь газетной заметки, а то, что вы прослывете сторонником революции. Что ваше имя связывают с революцией.

Александр Владимирович длительно помигал, как бы налаживая встречный взгляд на Дорогомиллова, но отвел глаза и вопрошающе остановил их на жене. Потом произнес тихо:

— Видишь, Ася, я прав: мне угрожает общее презрение.

Аночка, все время сидевшая неподвижно, согнулась и, облокотившись на колено, заслонила лицо рукой.

— На такого субъекта, как я, даже неприятно смотреть, — чуть двигая губами, продолжал Пастухов. — Вон юная совесть меня уже не переносит.

— Нет, нет! — перебила Аночка, быстро распрямляясь. — Вы не обращайтесь внимания. Я просто своим мыслям...

— У Аночки дома... — начал было Цветухин, но она, с оттенком строгости, не дала ему договорить:

— Мне, впрочем, жалко, что Егор Павлович затеял странный разговор. Как будто он в чем-то особенно прав. А ведь Александр Владимирович, по-моему, вовсе не должен отвечать за недоразумение. Если это недоразумение. Это недоразумение, Александр Владимирович? — спросила она как-то вызывающе-серьезно.

Он секунду смотрел на нее молча, будто не веря, что эта девочка могла задать столь дерзкий вопрос.

— Да, — ответил он вразумительно-жестко.

Но тут же повеселев, он толкнул локтем Егора Павловича и сказал отчетливым шопотом, чтобы все слышали:

— Ага! Золотой башмачок притопнул!

— Вы меня не поймите, что я осуждаю, — опять на свой лад законфузился Арсений Романович.

— Я-то уж никак не хотел тебя обидеть, Александр, — сказал Цветухин.

— Слава богу! Вы всех растопили, Аночка, — с облегчением вздохнула Анастасия Германовна. — Вернитесь-ка, дорогие друзья, к воспетому вами первобытному пойлу.

И она взяла бутылку своим немного кокетливым и обаятельным жестом мягкой руки.

— Что ж, — сказал Пастухов, закусывая воблой, — обижаться было бы смешно. Этакое квипрокво могло ведь случиться и с тобой, Егор. Без меня меня женили. И тоже пришлось бы доказывать, что ты не революционер.

— И не подумал бы! — радостно воскликнул Цветухин.

— А что? Ты — большевик? — словно мимоходом спросил Пастухов.

— Нет. Но согласен большевичить.

— В своем театре?

— Театра у меня пока нет. Но будет. Я очень хочу говорить с тобой насчет своих планов. Именно с тобой. И чтобы ты обязательно принял участие.

— Это в чем же?

— У меня есть кружок. Ну, назови его студией. Два-три актера, но больше всего молодежь. Кое-кто играл в школьных спектаклях, а большинство еще не видело ramпы. Если б ты знал, что за прелесть! Какая жажда работать, а главное — какая вера! Мы много толкуем между собой о том, каким теперь будет театр. Революционный театр, и прежде всего, конечно, наш театр. Если бы ты, Александр, послушал!

— Слушаю, — мельком заметил Пастухов.

— Я — что! Ты должен послушать мою молодежь!

— Дети останутся детьми. Но ты-то не ребенок? Мне интересно, что, собственно, хочешь ты?

— Понимаешь, в широком смысле это пока еще искания, даже мечта. Но мы хотим сделать первый шаг к мечте. Мы думаем, это будет театр, который, прежде всего, может играть во всякой обстановке. Чтобы его можно было передвигать на руках, если нет лошади. Чтобы актеры чувствовали себя, как на сцене, в любой точке земли.

— Земли и неба, — добавил Пастухов.

— Да, это будет небом. Небом актера и зрителя. Да, и зрителя. Он будет встречать нас там, где никогда не думал встретить. У себя за работой. У себя дома. В деревне. На полях. На ярмарке. На городской площади. На войне, если идет война. За отдыхом, если воцарился мир. Словом...

«Словом», — произнес Егор Павлович и замолк. Растопыренными пальцами он прочесал свою темную шевелюру и так оставил на затылке согнутую в ладони вескую руку. Волосы его уже густо переплела седина, и Пастухов заметил, что голова стала лиловой.

С того момента, как Егор Павлович заговорил о театре, в тоне его без следа пропала колючая шершавость, явно стеснявшая его самого. Посадка его стала свободной, он весь облегчился и вырос. Аночка следовала за ним увлеченно, но требовательным и своевольным взглядом, который будто говорил: смелее, ну, еще смелее! Дорогомилов смотрел, как глядят из рядов на сцену, когда впереди сидит чересчур высокий человек: он вытянулся вбок и запрокинул голову, так что борода вздернулась каким-то оборонительным заслоном. Анастасия Германовна приоткрыла красочный свой рот. Все были заняты Цветухиным. Его голос, его речь словно отодвинули Пастухова в сторону. Пауза длилась что-то очень долго.

— Словом, — повторил Егор Павлович заворуженно и певуче, — наше искусство проникнет в самую жизнь зрителя, а зритель сольется с нашим искусством. Он будет вмешиваться в него и, в конце концов, его создавать.

Пастухов неслышно засмеялся.

— Побереги себя на будущее. За вход в твой театр пока никто не заплатит. Лучше скажи, что вы собираетесь играть?

— Мы начали с Шиллера. Ты увидишь, что это такое!

— «Коварство», разумеется?

— Да.

Пастухов быстро глянул на Аночку.

— И вы, конечно, Луиза?

Она вспыхнула и спросила по-детски изумленно:

— Как вы угадали?!

— Да, да, — с улыбкой покачал он головой, — это было очень, очень трудно.

Прихватив зубами кончик большого пальца, он покосился на Цветухина.

— Но еще труднее угадать, кто будет Фердинандом.

— Да, — вызывающе сказал Егор Павлович, — Фердинанда сыграю я.

— Тебе пятый десяток пошел, верно? Пора, брат, стариков играть.

— Что вы! Он такой необыкновенный Фердинанд! — почти негодуяше воскликнула Аночка. и еще больше покраснела.

Но Александр Владимирович точно не заметил ее пыла и спросил разочарованно:

— Ты, само собой, будешь устранять сцену?

— Да, если это будет диктоваться обстановкой. Но это — не главная задача. Пока у нас будут и занавес и декорации.

— Знаешь, друг мой. Я могу писать на бересте, могу на камне, или мелом в печном челе, но все это не будет книгой. Какую бы революцию театр не совершал, он не уйдет от сцены.

— А Греция? А миракли?

Но Пастухов обошел и это восклицание. Он говорил все задумчивее, и нельзя было разобрать, готовится ли он сосредоточенно, чтобы высказать нечто важное для себя, или ему становится скучно. Он вдруг небрежно пробормотал:

— Идеяка не свежа. Либеральные петербургские прожекты передвижных театров.

— Я хочу сделать театр передвижным не по названию.

— Хочешь сделать его бродячим?

— Если это нужно, чтобы он был народным. Как при Шекспире.

— Шекспир не играл Шиллера. Смутно, смутно, друг мой...

— Вначале всякая новая мысль кажется смутной. Но примись за работу, и произойдет кристаллизация идеи. Однажды ты вскакиваешь с постели с совершенно ясной готовой формой в голове.

— Ах, кристаллизация! Ну, тогда, конечно... Изобретатель! Раньше ты был, однако, трезвее.

— Связаннее, а не трезвее. Я теперь нашел крылья, которые искал всю жизнь.

— Я помню твои летающие бумажки. Что ж, авиатор. Если пролетишь себе голову, ты в ответе только перед собой. Но пока неизвестна грузоподъемность твоей козявки, зачем ты сажаешь с собой в полет вот эти невинные души?

Пастухов качнул головой на Аночку. Напряженная, но поборовшая свое волнение, она слушала, опустив тяжелые веки, и то притрагивалась к положенной ей, как младшей, алешиной костяной вилочке, то ровно вытягивала пальцы на скатерти.

— Нет ничего ответственного, чем соращение в искусство, — сказал Пастухов недовольно. — Ты увлекаешь за собой юношей и деву-

шек. Но ведь ты знаешь, что это за дорога? Ты рисуешь ее яркой и заманчивой. Но разве тебе известно, каким будет искусство? Во что оно превратится под давлением всех твоих и всяческих фантазмагорий? Может быть, оно будет великой печалью для каждого, кого тебе удастся соблазнить? Я распространил бы закон о совращении малолетних на всех, кто совращает молодежь в искусство, кто...

— Так нельзя строить будущее! — оборвал его Егор Павлович. — С такими мыслями нельзя стремиться к лучшему, понимаешь ты или нет?

— Никоим образом нельзя! — вдруг подтвердил Арсений Романович и с силой наклонился вперед, точно собираясь подняться, но тут же снова занял прежнее место и притих.

Тогда Аночка взглянула на Пастухова.

— Почему вы говорите о каком-то совращении? Я не знаю, чем будет со временем искусство. Но сейчас—это часть жизни. Я живу. Я свободно выбираю дело, которому хочу себя отдать. Если у меня найдутся силы, я буду на месте. Ошибиться можно всюду. В прошлом году моя подруга поступила на зубоврачебные курсы. Ее повели в анатомический театр смотреть, как у трупов вырывают зубы. Она упала в обморок и больше на курсы не пошла, а стала учиться пению. Если у меня будут обмороки на сцене, я уйду и попробую работать в анатомическом театре. Я хочу жить так, как хочу. Уверю вас, меня никто не совращает.

— Очень хорошо, — неожиданно ласково сказал Александр Владимирович. — К сожалению, так гладко получается только в формальной логике. Вы проходили? Искусство — часть жизни, я живу, я свободна, стало быть... и прочее. Но нигде с такой легкостью, как в искусстве, люди не делаются глубоко несчастными. Для этого надо немного: вы честолюбивы, честолюбие не удовлетворено — вот вы и несчастны. Со всем излишне падать в обмороки.

— А мое честолюбие будет удовлетворено, — убежденно и просто сказала Аночка и совсем по-ребячьи сначала вздернула голову, а потом, будто опомнившись, понурилась и скромненько пригладила свой вихор. Ее веселому движению все засмеялись, и она сама улыбнулась, уже смущенно.

— Конечно, будет удовлетворено, — в восторге поддакнул Егор Павлович. — И ты, Александр, пожалуйста, не запугивай Аночку.

— Я вижу, она не из пугливых. Но я слишком хорошо знаю театр, чтобы замалчивать правду. Возьми зависть, этот иссушающий, как чашотка, медленный огонь...

Он не досказал и подвинулся вплотную к Цветухину.

— Знаешь, чем отличается плохой актер от хорошего?

— Чем?

— Плохой завидует успеху, хороший — таланту.

— Как верно! — выкрикнул Цветухин. — Бедь это метод! Метод, по которому можно без ошибки распознавать и отбирать дарования! Правда, Аночка? Как ты умеешь сказать, чудный, чудесный ты человек!

Егор Павлович прижал к себе голову Пастухова и с неудержимым напором громко облобызал его в губы.

— Я уверен, мы сговоримся! Мы с тобой ищем, поэтому преувеличиваем. Где-то между преувеличений таится истина. Я тоже, наверно, преувеличиваю. Вот тебе моя рука — ты будешь с нами!

— В какой же роли? Панталоне в красных штанах?

— Не шути, не шути! Ты должен быть нашим первым драматургом.

— И какую из моих пьес ты поставишь?

— Ты напишешь для нас новую пьесу.

— Ах, вон что!

Александр Владимирович опять встал и прогулялся. Раскуривая гаснущую папиросу и снисходительно посмеиваясь, он начал расставлять будто заранее отобранные слова:

— Незадолго до нашего отъезда в Петербурге добивался меня увидеть неизвестный мне человек. В конце концов, он прорвал кордоны — Ася уступила его настойчивости. И вот вваливается этакий великаншище с кучерявистой и желтой, как мимоза, бородищей. Садится на диван и битых полчаса наводняет мой кабинет задачами исторического момента. Я чувствую, он меня завалит выше головы своей риторикой, и в стечении пишу ему, что для момента, он тратит чересчур много времени. Он не понимает и гремит дальше. Я взмолился: согласен, согласен, но что я должен делать? Он пришел в себя и вдруг требует, чтобы я немедленно написал пьесу о борьбе за чистоту дворов и особенно выгребных ям. Оказалось, он фармацевт и участвует в кампании Санпросвета по борьбе с угрозой эпидемий.

Александр Владимирович спокойно подождал, когда засмеются. Но никто не засмеялся.

Анастасия Германовна с каким-то вдумчивым восхищением сказала:

— Бородища, как мимоза, — очень хорошо!

— Но ты торопишься сравнить меня с этой мимозой, — возразил Егор Павлович. — Тебе ведь неизвестно, о чем я хочу просить написать.

— А ты меня спросил, о чем я хочу писать? — внезапно озлился Пастухов. — И возможно ли сейчас писать? Я как приехал сюда — строчку не могу выжать! Ты мне давеча Достоевского цитировал. Позволь процитировать Ломоносова: «музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно». Это он своему меценату написал.

— И ты можешь допустить, что я тебе советую насилловать твою музу?! — с обидой воскликнул Цветухин.

— Когда мы к вам шли, — быстро сказала Аночка, — Егор Павлович говорил, какие вы друзья. Отчего вы все время пререкаетесь?

Она опять глядела на Пастухова взыскательным и тяжеловатым взором.

— Позлятся, позлятся, да и поцелуются, — улыбнулась Анастасия Германовна и взяла в свою нежную горсть аночкины пальцы. — Вы еще, милая, не привыкли. У нас, когда говорят об искусстве, всегда бранятся.

Пастухов молчал. Последние годы его вообще утомляли рассуждения об искусстве. Ему казалось, он уже понял сущность искусства лучше, чем кто-либо другой. Споры о театре, разоженные революцией, напоминали ему сердитые дебаты дачных любителей об игре под открытым небом. Школы и течения искусства давно не возбуждали в нем ничего, кроме скуки. Он был убежден, что все хорошее в искусстве создается вопреки течений и что для декларированных течений важнее, что ты назовешь себя их сторонником, чем будешь им: они, как партии, собирали голоса. Он не хотел притворяться и, в сущности, презирал всех. Это и было его направлением. Если его втягивали в споры, он кончал обычно заявлением, что любит живое чувство, любит мысль, любит человека во плоти и потому считает себя одним из немногих настоящих реалистов. Так как его пьесы игрались, он был уверен, что не ошибается. В душе он раз навсегда решил, что наступила пора безрассудства, потому что делается попытка ввести рассудок в область, которая, как танец, рассудку подчинена меньше всего. Он думал о себе, что никогда

не сможет перемениться ни во вкусах, ни во взглядах, и это доставляю ему гордую, хотя немного грустную отраду.

То, что говорилось Цветухиным, он мог бы услышать в каком-нибудь петербургском кружке. Там тоже требовали, чтобы было создано нечто такое, чего никто не знал. Но Пастухова раздражала невинная вера в новизну чаяний. Он назвал это целомудрие провинциальным. К тому же он хорошо видел, что происходит с Цветухиным: когда влюбишься, даже и луна кажется вновинку.

Он сидел, откинувшись в скрипучем кресле, и ждал, куда повернется разговор. Ему самому повернуть его было лень.

Арсений Романович проговорил в раздумье:

— Это человек... с такой бородой (он застеснялся назвать — с какой и даже прикрыл ладонью свою бороду, правда, никак не похожую на мимозу), может, он был не совсем деликатен, но насчет задач исторического момента нельзя, конечно, не задуматься...

— Я именно хотел сказать, Александр, что если ты... если бы твоя будущая пьеса была проникнута духом истории, как он выражается в наши сказочные дни...

— Дух истории! Сказочные дни! — перебил Пастухов. — Ты полюбил громкие слова, Егор. Это же, наконец, просто не в русской традиции. Нас всегда отличала скромность. Откуда эта болезнь?.. История! Когда-то, где-то я прочитал о парижских событиях, кажется, начала вятнадцатого века. Там была фраза: «кабошены соединились с бургиньонами, но были побеждены арманьяками...» Эта фраза не выходит у меня из головы. Стоит ли всерьез брать события, если спустя два-три столетия кем-то и где-то о нас будет сказано, что кабошены соединились и так далее?

— Только что, вон на том диване, вы говорили об истории по-другому! — сказал Арсений Романович. — Разве за этими бог знает когда умершими словами вам не слышатся страдания и торжество живых людей? За Соловьевым-то вы сидели не ради смеха?

Вдруг снова вмешалась Аночка, но уже не с наивной и осуждающей строгостью, а в каком-то ликовании нечаянно сделанного открытия.

— А правда, Александр Владимирович, вы все это говорите не потому, что так думаете, а почему-то еще?

— То-есть, что — всё это? — переспросил он, сердито помигав на нее.

— Вы пожалуйста не сердитесь. Но вы смеялись над вашим фармацевтом. А вам ведь приятно, что он так верит в ваше искусство, такое придает значение вашему слову, что вот вы только напишете, и сразу будут дворы чистить и, может, во дворах совсем по-особенному жить начнут. И ведь, правда, сколько бы ваше слово жизнью сохранило бы... ну, сколько бы людей больше не заражалось и не умирало. Если бы вы взяли и написали. Правда ведь? Вы сами знаете, что правда.

У нее залучились глаза, словно от умиления, что она всё так просто и легко разобрала.

— Бедный Саша, тебя исклевали, — засмеялась Анастасия Германовна.

Он передернул плечами.

— Не считаете же вы серьезно, милая барышня, что с помощью стихов можно поднимать колокола на колокольню? Мы говорим об одном и том же, но думаем разное.

— Я и прошу вас сказать, что вы думаете об идее Егора Павловича.

— Прежде всего я думаю, не надо из меня делать подсудимого. Я возражаю не против слов, и даже не против мыслей. Но события слишком распалили вашу фантазию. И я против состояния, в котором вы находитесь.

— Потому что оно тебе чуждо, да? — сказал Цветухин. — Я считал тебя моложе.

— При чем здесь молодость?

— Революция — это молодость.

— Умри. Я выбью это слово на твоём надгробии. К сожалению, молодость невинна в делах искусства. Впрочем, не совсем невинна. Она мешает искусству.

— Мне непонятно, — призналась Аночка. — Если молодость и революция одно и то же (она немного запнулась)... Разве революция мешает вам писать?

— Она мешает писать против себя, — хмуро произнес Цветухин, но сейчас же встряхнулся: — Не знаю, не знаю! У меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, всё гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так волнительно, что...

— Ах, чёрт! Вот оно! — ожесточился Пастухов. — Выскочило! Волнительно! Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, не существующее, противное языку... какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!.. И твой наигрыш, Егор! Когда я слышу эти одушевленные восклицательные знаки, мне чудится — какой-то здоровячок вертится передо мной нагишом и все время показывает бицепсы!

Он остановился, набирая воздуха, чтобы говорить и говорить, словно наступила минута пробивать брешь в мешавшей ему стене. И неожиданно замолчал.

Аночка, медленно поднимаясь, в страхе глядела на приотворенную дверь.

Павлик, войдя, манил сестру пальцем. Видно было, что он примчался сюда не переводя дух.

Она, как школьница, перешагнула через стул и подбежала к нему. Он нагнул ее к себе, что-то коротко прошептал, изо всех сил удерживая дыхание.

Арсений Романович вскочил.

— Что такое с мамой, а? — спросил он, насторожившись.

Поднялся Егор Павлович. Бледный, он смотрел за Аночкой выросшими глазами. Она стала со всеми прощаться.

— Дорогая моя, позволь я тебя провожу, — попросил Цветухин, когда она подошла к нему.

— Умоляю вас, не надо.

Она схватила Павлика за плечо, и они выбежали из комнаты. Мальчик успел крикнуть.

— Арсений Романыч, я потом забегу!

Цветухин тотчас собрался уходить. У него тряслась рука, когда он подал ее Пастухову.

— Ну, куда же ты? Подожди. Неужели ни минуты не можешь без золотого башмачка?

— Оставь, оставь! — вырвалось у Егора Павловича. — Ты не представляешь, что значит для Аночки ее мать!

— Она присмерти, — сказал Арсений Романович.

— Откуда же мне знать... — замылся Пастухов.

Он проводил Цветухина по коридору и зашел в свою комнату.

Анастасия Германовна распахнула окно. Уже сильно адело на западе, но было еще душно. Они сели рядом. Всё чересчур быстро переменялось, и они должны были помолчать, чтобы собрать мысли. Немного погодя, Анастасия Германовна положила руку на колено мужа.

— Ты ведь знаешь легенду о Пилате? — спросила она тихо. — Понтий Пилат, дряхлый, толстый, закрыв глаза, лежит на морском пляже, греет свои подагрические кости и слушает другого старика-патриция. У обоих вся жизнь в прошлом. В далеком, славном, счастливом прошлом. А помнишь ли ты, — спрашивает Пилата старик — когда ты был еще прокуратором Иудеи, помнишь ли маленького рыжего пророка, который называл себя царем иудейским? Это было как будто до восстания. Книжники требовали его казни, и ты им выдал его, и они распяли его в Иерусалиме. Помнишь? Его звали Иисусом... Пилат поворачивается другим боком к солнцу и, не открывая глаз, лениво говорит: — Нет, не помню...

Пастухов спросил:

— Почему ты рассказываешь это богохульство?

— Мне это пришло на память, когда Цветухин укорял тебя, что ты перезабыл его приятелей, и ты стеснялся признаться, что действительно перезабыл. А почему ты их обязан помнить?

— Ты хочешь сделать из меня Пилата?

— Что ты, милый! Но, в самом деле: что они, в сущности, для тебя? Рядом с тобой? Разве ты не вправе забыть их?

Она прижала голову к его груди.

— Ты большой. Ты сильный. Ты должен больше всего думать о том, к чему призван.

Он подождал и ответил рассеянно:

— Нет, Ася. Я самый обыкновенный. Слабый. Слабее других.

Он сказал это, и ему стало хорошо, что он так откровенно сказал и что она назвала его сильным, и он знал, что сейчас она возразит — нет, нет! — и поцелует его.

И она возразила:

— Нет, ты сильный! — и открыла свои губы, чтобы он поцеловал.

Спустя минуту, он выговорил не совсем твердо:

— Я все-таки думаю, Ася, нам надо отсюда куда-нибудь подвинуться.

— Нам надо, милый, не подвинуться. Нам надо бежать, — сказала она едва слышно и заглянула в его глаза страстно и отчаянно.

13

Ольга Ивановна умирала.

Это длилось долго. Была глубокая ночь. Аночка лежала поперек своей кровати, спустив ноги на пол, заложив ладони под затылок и туго касаясь им стены, лицом кверху. Глаза она зажмурила. Отец и Павлик находились в соседней комнате, у постели умирающей.

Аночка слушала нечастые громкие хрипы матери, наплывавшие откуда-то изглубока, точно из подполья, непохожие на человеческое дыхание и совсем невозможные для Ольги Ивановны, для мамы. Часы-ходики в обычной своей спешке прозвонили три и неслись дальше, с хрустом, как разгрызаемые каленые подсолнушки, отщелкивая бег маятника. Слух ее как будто ничего больше не воспринимал. Она была уверена, что непрерывно бодрствует, что тело ее оковано не потребностью сна, не бессилием, а сознательным нежеланием глядеть на мучение матери. Но то, что ей виделось в это время, было подобно коротким снам,

обрываемым частыми пробуждениями. Она видела то отца, то неожиданно кого-нибудь из знакомых, то вдруг себя, но больше всего, даже почти непрерывно и будто сквозь других людей, как сквозь редкую листву, видела и ощущала мать.

Маленькая, шустрая, рано состарившаяся, Ольга Ивановна, легко приседая, бежала с узелком по улице, торопясь отнести заказчице платье. Или протискивалась через базарную толпу к возу, груженному капустой, и, выбрав качан, давила его в обхват, пробуя ядерность, чтобы не прогадать лишнего пятака. Или копошилась у себя в углу над столом, выкраивая шитье и потом тонкой кистью руки подталкивая материю под стрекочущую иглу машинки. Этим бегом, суетой, труженичеством безустальных рук неугомонная женщина сколько раз вытаскивала семью из ям, куда невзначай сталкивал ее глава дома — Тихон Парабукин — неизбывной своей приверженностью к вину. Не он, конечно, а Ольга Ивановна была настоящим водителем дома, считая себя одну в ответе и перед детьми, и перед мужем, нуждавшимся в ней иной раз пуще малого дитяти. Она вырастила Аночку, она растила Павлика наперекор всем бедам, с упрямством, которое питалось иступленной ее идеей — освободить их от недоли, какую до дна испила сама. В воспитании Аночки ей помогла Извекова Вера Никандровна положила начало аночкиной грамоте, устроила девочку в гимназию, хлопотала за нее перед обществом пособия нуждающимся ученицам, и вообще протягивала крепкую руку, лишь только являлась в этом необходимости, вплоть до того, что подарила швейную машину, за которую Ольга Ивановна благословляла ее, просыпаясь и засыпая. Но не сторонней добротелью держалось существование семьи, а натянутыми до предела жилами матери. Парабукин не раз порывался поддержать труды жены — отыскивал службу, с ликованием приносил домой первое жалованье, но вскоре пускал по свету больше, чем заработал. Он тоже любил детей, особенно Аночку, но любовью виноватой, а Ольга Ивановна любила самозабвенно, ни на минуту не усомнившись, что любовь ее восторжествует и даст плоды.

В сонной голове Аночки все это прошлое выражалось не мыслями, а перемежающимися видениями, и странно было, что уже все стало именно прошлым с того момента, как в круглых, выпяченных глазах матери она рассмотрела смерть. И она лежала на кровати, точно связанная, ощущая, как отекли руки и ноги, и за всем мельканием полуснов испуганно повторяла в уме, что уход матери будет не уменьшением семьи на одного человека, а концом семьи, концом дома.

Ей показалось, будто что-то переменялось в звуках комнаты. Ходики летели попрежнему. Но кроме их хруста, Аночка ничего не услышала. Она мгновенным движением повернула тело на локоть и похолодела от колючего притока крови к пальцам и коленям. Тяжелый долгий хрип словно наводнил собой весь мир. Потом надолго стихло. Потом опять прорвался, распространился и угас новый хрип.

Значит, все-таки — конец? Как это могло случиться и неужели так бывает всегда? Еще недавно, еще вчера, зная от доктора, что опасность велика, Аночка верила, что мама не умрет. Еще сегодня поутру Ольге Ивановне вдруг стало лучше, и можно было убеждать себя, что кризис означает конец болезни, а не смерть. Ведь вот прошла же первая болезнь — устрашающий всех сыпной тиф, когда Ольга Ивановна была так слаба и так легка, что Аночка переносила ее на руках, словно ребенка. И Ольга Ивановна начала поправляться, вставать и даже опять взялась было за иголку. Почему же теперь несчастная история с каким-

то отеком легкого должна кончиться смертью? Нет, это просто кризис, конец кризиса, его вершина. Ольга Ивановна перешагнет через вершину, вздохнет поглубже, вздохнет и...

Почему она не вздыхает? Нет, вот, вот опять! Опять этот хрип, еще ужаснее, еще неестественнее. Неужели возможно такое клокотание, такой рев в человеческой груди, в узенькой, жалкой маминой груди? И вот молчание. Нет. Вот еще. Нет, это послышалось. Неужели всё? Неужели это был последний вздох? Нет, не может быть! Если бы Аночка знала, что это — последний, она слушала бы совсем по-другому, совсем по-другому...

Но почему хрипа нет? Сейчас будет. Может, будет уже последний, потому что очень давно не было, очень долго стоит тишина, и комнаты ждут. Вот. Вот начался, начался. Но начался совсем неожиданно, совсем иначе, какими-то короткими толчками. Что это?

— Что это? — спросила Аночка дрожащим голосом и в тот же миг, как будто очнувшись, поняла, что вместо хрипа мамы вдруг вырвались через отворенную дверь все более учащающиеся и растущие, живые, отчаянные всхлипы. Это рыдал отец, чем-то глухо пристукивая о железную кровать.

— Что это? — вскрикнула Аночка.

Она хотела подняться, но ее держала тяжесть, какой никогда прежде не бывало в ее свободном и послушном теле. Она полежала неподвижно.

Из комнаты быстро вышел взъерошенный Павлик, пододвинул стул к ходикам, забрался на него и остановил маятник.

— Зачем? — спросила Аночка и села на постели.

Но Павлик не ответил, и она только увидела его позолоченные, тронутые жаром и как будто осуждающие глаза: наверно у него нехватило слов ей объяснить, что часы останавливают, когда в доме умирает человек, — он вычитал это в одной удивительной книге.

Уже рассвело, но предметы казались еще слитными, когда Аночка боязливо вошла в комнату матери. Отец — высокий, исхудалый, в короткой не по росту толстовке черного сатина — стоял у кровати, согнувшись глаголем, положив локти и голову на железный прут изножья. Вдрагивая, голова его билась об руки.

Мать была новой, — Аночка не узнала ее и со страхом отвернулась. Ища опоры, она подвинулась к стене, почти в угол комнаты, и, чувствуя, что сейчас заплачет, поднимая к глазам руки, задела настенную полку и свалила на пол пустую вазочку из папье-маше — единственное украшение дома, раскрашенное марками цветами.

Точно от этого звука, похожего на щелчок по картонке, отец распрямился, судорожно захватил в кулак простыню и сорвал ее с мертвой. Рухнув на колени, он начал со стонами, громко и часто целовать тоненькие ноги Ольги Ивановны.

Аночка подняла безделушку с пола, поставила аккуратно на место и вдруг выбежала из комнаты, бросилась к себе на постель и тяжело уткнула лицо в подушку.

Два дня затем протекли в странном перемещении лиц, — появлялись, исчезали и опять являлись соседи и знакомые с советами, утешениями. Ольга Ивановна раньше никого не стесняла, а теперь, когда ее уложили на стол, заняла очень много места, и квартирка сделалась еще меньше. Аночка говорила со всеми, кто приходил, а потом забывала, кто был, и спрашивала — почему не зашел тот, с кем она только что разговаривала.

Забегал чаще других Мефодий Силыч — побратан и собутыльник Парабукина. Он считал долгом поддерживать упавший дух вдовца, для чего оба удалялись в сени или на задворки, под старую, отцветающую акацию, и там наспех опоражнивали посуду, которую приносил в кармане утешитель.

Был Цветухин. Он положил в ноги Ольги Ивановны букет сирени. Цветы мгновенно залили квартиру удушающим ароматом, и этот аромат внес с собою безысходно-томительное ощущение покойника в доме. Егор Павлович заставил Аночку прогуляться с ним по улицам. Она согласилась, но, выйдя за ворота и вслушавшись в его отвлекающие речи, запротестовала, будто в раскаянии, и кинулась назад.

Была Вера Никандровна. Она принесла вышитый гладью шелковый платок — им повязали голову покойницы, накрыв краями с бахромой руки. Ольга Ивановна стала так белоснежна в сияющей нарядной этой раме, что Аночка не выдержала и, как ребенок, который прячется от какой-нибудь неожиданности, присела, крепко уткнулась лицом в колени Веры Никандровны, и та долго, убаюкивающе поглаживала ее стриженный затылок.

Павлик больше всех проявил деятельности. Пряткие ноги его как нельзя лучше помогали в эти часы печальных хлопот. Он разузнал нужные адреса, водил отца к гробовщику, ездил на кладбище. Он видел, как упрочилось значение его в доме, и гордость его особенно возросла после того, как он побывал у Мешковых, намереваясь поделиться горем с Витей. Большая Елизавета Меркурьевна страшно разволновалась, вздумала даже пойти проститься с Ольгой Ивановной. Но ее уговорили не вставать. Она подробно расспрашивала, как умирала Ольга Ивановна, и потребовала от Павлика, чтобы он немедленно бежал домой — узнать, не нужны ли деньги.

Состоялся семейный совет, в котором Павлик участвовал наравне с отцом и сестрой. Парабукин заявил, что подачек от Мешковых ему не нужно:

— Довольно покойница при жизни настрадалась от Меркула. Ты забыла, как он вас, маленьких, на мороз выгнал? Получим пособие на похороны — перебьемся. Возьми пока у Извековой.

— Вера Никандровна дала, но едва ли нам хватит, — сказала Аночка.

— Ну, попроси у своего актера. Не откажет. Ведь — займы, — сказал отец.

Аночка стала сумрачной и не ответила. Он грузно опустился на пустую кровать Ольги Ивановны, глаза его слезились, и уже какой раз за это время он начал всхлипывать. Глядя в землю, Аночка вымолвила горько:

— От водочки, отец...

— Ну ладно, от водочки, — покорно вздохнул он. — Ну, а неужто всё от водочки? Неужто так ничего во мне не осталось, кроме что от водочки? Осуждаешь меня. Хоть и умна, а не приметлива. Давно уж и водочки нет. Всё вроде смеси горючей из-под грузовика.

Павлик перебил отца:

— Если не хочешь занимать у витиной мамы, то давай я попрошу у Арсения Романыча? Он даст.

— Вот верно, сынок: он даст, он — блаженный.

— Попросим, если денег нехватит, только если нехватит, — решила Аночка.

Понемногу все устраивалось, как всегда, когда умрет человек. Сначала близким кажется, что они бессильны преодолеть навалившиеся

затруднения и горе отняло у них всякую волю. А потом всё делается само собой, и, как бы помимо желания оставшихся, человека отнесут туда, где беспрепятственно кончается путь каждого.

Только на третье угро доставили тяжелый гроб из сырого, пахнущего свежей смолой дерева. Витя Шубников смотрел из уголка, как мертвую сняли со стола, опустили в гроб и потом стали поднимать гроб на стол.

— Пособи, — позвал Павлик Витю, и Витя, заставив себя оторваться от своего укромного угла, подбежал к ногам Ольги Ивановны, сунул руки под днище гроба и натужился изо всей мочи. Он сейчас же почувствовал, что пальцы приклеились к невыструганной доске, и когда гроб установили, он испуганно и долго оттирал от пальцев смолу, и чем дальше тёр, тем сильнее слышал скипидарный запах гроба.

К выносу собралось неожиданно много людей, но почти все остались у ворот, и провожать пошел маленький кружок. Были поданы дроги.

— Все очень прилично, — бормотал сам себе Парабукин, когда тронулись в путь, — Ольга Ивановна была бы довольна. Спасибочка, скажала бы, тебе, Тиша.

В это время он вспомнил, что из экономии кладбищенские могильщики наняты только вырыть яму, а хоронить придется самим, и требуются заступ и молоток. Шествие остановилось на перекрестке улиц, и Павлик с Витей побежали назад — разыскивать по соседям нужные вещи.

Было безветрено, наступала духота, город словно примирился с знойными днями и каждым своим дюймом слышал, как раскаляется бело-голубое небо. Все стояли молча позади дрог. Катафальщик в запачканном кремовом балахоне сердито взмахивал рукой, отгоняя шершня от лошади, которая мученически мотала головой.

На поперечной улице показался автомобиль. Он со всей скоростью шел в гору и, долетев до перекрестка, остановился. Процессия должна была бы продвинуться, чтобы дать дорогу, либо автомобилю пришлось бы заехать на тротуар. Но тут в открытом кузове машины невысоко поднялся человек и, как будто в нерешительности, обнажил темноволосую голову. Потом он распахнул дверцу, выскочил на мостовую и поспешно зашагал к дорогам.

Аночка узнала Кирилла. Он подошел прямо к ней, сильно сжал протянутую ему руку и постоял, несколько мгновений ничего не говоря. Продолжая держать руку, он сказал очень быстро и негромко:

— Я хотел проводить вашу мать, но невозможно: у меня срочные дела. Вы извините.

Она высвободила руку из его горячих пальцев.

— Спасибо.

Она не глядела на него, но заметила, что он стал центром внимания. Взор Веры Никандровны выражал одобрение. Стоявший поодаль Дорогомиллов напряженно следил за Кириллом: он помнил его мальчиком и с тех пор не встречал. Парабукин как будто не понимал — что за человек приехал на автомобиле. Его беспокоило — почему долго не возвращаются Павлик с Витей. Цветухин поздоровался с Кириллом, как с хорошим знакомым. Ему хотелось попросить его о приеме по важному делу, однако Извеков ответил на приветствие слишком вскользь, и Егор Павлович немного растерялся. Потоптавшись, он отозвал в сторону Мефодия Силыча, чтобы узнать его мнение — удобно ли в такую минуту заговорить о делах?

— Почему нет? — пожал плечами Мефодий и продекламировал:— Мирно в гробе мертвый спи, жизнью пользуйся живущий.

Но Цветухин опоздал со своим намерением: мальчики прибежали с заступом и молотком, и дроги опять тронулись.

Кирилл простился с Аночкой:

— Нужна будет какая помощь — скажите маме, она мне передаст. Я вас очень прошу, — добавил он с неловким движением к ней, будто остерегаясь, что его услышат.

Она наклонила голову.

Кирилл сделал с ней рядом несколько тихих шагов и потом быстро вернулся к машине. Он велел выехать на самый перекресток и остановиться. Упираясь коленом в сиденье, он стоял все еще с открытой головой и глядел вслед удалявшейся процессии. Вдруг он заметил, как Аночка на один миг обернулась, и в солнечном блеске поймал ее далекий взгляд. Он посмотрел еще секунду, потом сел, приказал шоферу ехать:

— Скорее. Я опаздываю.

Он вынул часы и долго держал их перед глазами в качающейся от езды руке, не видя или не понимая — который час.

На кладбище у открытой могилы Парабукин засуетился. Он подходил ко всем по очереди, собираясь о чем-то спросить, но только заглядывал в лица и тотчас отшатывался. Мефодий придержал его за локоть.

— Ты что?

— Она ведь у меня верующая, — шепнул ему Парабукин.

— Отпеть, что ли, хочешь?—спросил Мефодий так, что кругом услышали.

— Суета, суета, — сказал Парабукин, точно без памяти,—а неудобно перед ней, а?

Он робко глянул на дочь. Аночка посоветовалась с Верой Никандровой. Они решили, что отцу не надо перечить.

Он скрылся между крестов и через минуту привел худощавого батюшку в скуфейке и эпитрахили. Сняли крышку с гроба и ближе обступили его. Помахивая пустым кадиллом, батюшка начал панихиду. Голос у него был высокий и будто доносился сверху. Сильнее стало слышно птичье верещанье в крупной листве калифорнийского клена, простертого за недалекой оградой, и бубенцы кадила в тон откликались птицам.

Дорогомиллов держался между Павликом и Витей. Косматая голова его была вздернута к небу, казавшемуся здесь вознесенным необычайно далеко. Мефодий растрогался и на катавасии «Молитву пролию кс господу» принялся подпевать обрывчивой октавой.

Когда с покойницей прощались, батюшка, глядя на ее расшитый гладью убор, спросил горестно и сожалительно:

— Платочек с ней пойдет?

— Да, — тотчас ответила Аночка и стала перед батюшкой, чтобы загородить от него гроб.

— Все с ней пойдет, все с ней, — опять забормотал Парабукин.

В какой-то ревнивой спешке, вдруг овладевшей им, он накрыл углом платка лицо жены.

Это был последний миг, когда Аночка видела мать. Необъяснимо счастливой и чистой показала она ей в этот миг и со страшной властью потянула к себе. Аночка неожиданно кинулась к ней, упала коленями наземь около гроба, откинула платок и припала к рукам матери. Руки эти были уже мягкими и не очень холодными, пригретые солнцем. Целуя ту, которая лежала верхней, Аночка приподняла пальцы и ощутила губами внутреннюю, исколотую и словно еще живую, по-

верхность их кончиков. Она так явно слышала недавнюю ласку этих шероховатых, натруженных пальцев на своем лице, что будто продолжала эту ласку, и не могла оторваться от пальцев, и все целовала, целовала их, заливая слезами.

Ее хотели поднять, Цветухин нагнулся к ней, но она так же неожиданно и с силой встала на ноги и отошла на шаг от гроба, и вытерла свое потрясенное болью и будто уменьшившееся лицо.

Какая-то кладбищенская старушка, юрко протискавшись вперед, спросила Аночку:

— Сестрица, что ли, она тебе? — И узнав, что не сестрица, а мать, запричитала: — Ахти! Ведь краше невесты под венцом, матушка! Голубица непорочная, царство ей небесное!..

Парабукин накрыл гроб крышкой и торопливо, на совесть, начал вгонять гвозди. Стук отзывался дробным, словно шаловливым, эхом между крестов. Потом единственный могильщик, скучавший поодаль, кинул на землю смотанное в кольца вервие. Его размотали, просунули концами под гроб и стали поднимать гроб на бугор рыхлой глины, вынутой из могилы.

Вдруг Мефодий Силыч по-рабочему громко приказал:

-- Повернуть! Повернуть!

-- Зачем повернуть? — бестолково спросил Парабукин.

-- Крест-то где будет? Повернуть ногами к кресту!

-- Чай, крест в головах!

-- Кого учишь? В день воскресения сущие во гробех восстанут из мертвых ликом ко кресту и к востоку. Понял? Заноси ногами к кресту.

Но Парабукин противился. Они пререкались шумно, потом Мефодий оглянулся: попа уже не было, и он метнул глазом на могильщика:

-- Что молчишь?

-- Поворачивай, — нехотя сказал могильщик, понимая, что его слово дорого, а ему ничего не приплатят.

Когда гроб опустили, Парабукин, не дожидаясь, пока провожавшие бросят прощальную горсть земли, выхватил у Павлика заступ и с таким усердием начал отваливать от бугра комья глины в могилу, что оттуда облаком поднялась рыжеватая пыль. Он работал ожесточенно. Обвислые щеки его быстро белели, грива поредевших кудрей переливалась и взблескивала сединами на солнце, пот закапал со лба наземь.

— Дай сюда, дай, — старался взять у него заступ Мефодий.

Но он не отдавал, у него будто свело судорогой руки, он кидал и кидал землю, все учащая движения, словно работал с кем-то наперегонки. Наконец он стал махать пустым заступом, почти не прихватывая земли, и качнулся от изнеможения.

Тогда Аночка подошла к нему, разжала ему пальцы, отвела его в отдаление, и он лег на землю, облокотившись на покатую могильную насыпь. Он коротко дышал, по прилипшей к груди толстовке было видно, как содрогалось его сердце, бессилие обозначилось в его свесившихся кистях рук и тяжело раскинутых громоздких ногах. Он выговаривал, прерывая слова свистом вздохов:

— Ольгу Ивановну... родимую нашу... своими руками...

Аночка не отходила от него. Глядя сквозь просветы неподвижного клена, она наблюдала за сменой работавших вокруг могилы, и почему-то ей чудилось, что она смотрит через уменьшительное стеклышко, и все происходит далеко-далеко. Вот из рук Павлика взял заступ Егор Павлович. Вот на его месте закачался Арсений Романович, и длинные рассыпчатые волосы занавесили его лицо. Вот взяли все вместе крест, опустили

ли концом в могилу, он стал коротенький. Опять принялись кидать глину. Голова Мефодия Силыча клонится, подымается, и продавленный его нос кажется еще некрасивее, чем всегда. Яма сравнялась с поверхностью, начали насыпать холм. Он рос исподволь и неровно с одного края к другому. Птицы подняли возню на дереве, листва задрожала, то укрывая от Аночки могилу, то показывая ее. Глину кидали и кидали, но снизу она была сыроватой и пыль рассеялась, все стало ярче.

Парабукин, отдышавшись, поднялся.

— Пойду.

Аночка вздумала удержать его, он сказал:

— Не хочу смотреть. После.

Она не заметила, как с ним исчез Мефодий Силыч.

Егор Павлович положил на холм вялую сирень. Поникшие султаны ее все еще распространяли запах, который шел от гроба.

Потом все молча двинулись к воротам.

На трамвайной остановке Павлик заявил сестре, что поедет с Витей на Волгу. Она ответила, что надо идти домой. Тогда он сказал, что пойдет к Арсению Романовичу. Нет, он должен домой. Кто же отвезет заступ и молоток? — настаивала Аночка. Тогда он пойдет к Вите. Нет, домой, — повторяла она. Он нахмурился. Ему трудно было не слушаться сестры. Она первая научила его читать, ее слово в доме иной раз решало какое-нибудь важное дело. Может быть она теперь вздумает взять свое дом в свои руки? Вряд ли. Она наверно примется устраивать театр со своим Егором Павловичем. Ей будет не до дома.

— Чего теперь дома делать? — спросил Павлик.

— То же, что делал раньше, только лучше, — ответила сестра.

— Ничего я не буду делать. Жизни не знаешь, — сердито сказал он.

Аночка чуть-чуть улыбнулась ему.

Трамвай тащился кое-как. Знакомые понемногу выходили на остановках, прощаясь с Павликом за руку, и кто похлопывал его, кто прижимал к себе и гладил. Егор Павлович подержал его за подбородок, Вера Никандровна поцеловала в щеку.

— Вот еще! — подумал Павлик.

Проходя своим двором, Аночка увидела за акациями Мефодия Силыча и отца. Они сидели нагнувшись, голова к голове, и, наверно, как всегда, философствовали. Она решила не мешать им.

Предстояло убрать комнаты. Стало очень просторно в этих крошечных комнатах, и впервые за всю жизнь появились словно бы излишние вещи. Им нужно было найти новое место. Но в то же время нельзя было допустить, что они переменят место. Невозможно было представить себе, что будет вынесена куда-нибудь кровать мамы. Или передвинут стул, на котором мама работала за швейной машинкой.

Самые ничтожные обстоятельства кажутся знаменательными, если они сопутствуют смерти. Аночка старалась занять себя работой, но все останавливалась. Припоминания обессиливали ее. Вдруг у ней в руках оказывался лоскут с красными горошинами, из тех бесчисленных обрезков, которые оставались после кройки, и она неподвижно глядела за окно, не выпуская тряпицы. Другой такой тряпицей с красными горошинами она как-то забинтовала маме большой палец, нарывавший от укула. С пальцем Ольга Ивановна долго мучилась. На какой руке болел палец? На правой? Нет, на левой. Маме было больно придерживать материю под иглой, когда она строчила. Аночка не могла выбросить лоскут в сор и заложила его себе в книгу. Потом она смотрела на фотографию, розовато-пепельную от старости, памятную по детству и всегда

удивлявшую. Мама сидела в кресле. На ней была широкая колоколом юбка до пола, на коленях она держала девочку с кривой голой ножкой. Это была умершая сестра Аночки. Рядом стоял отец в коротком сюртуке, в брюках раструбами. Он тогда служил ревизором поездов. Аночка не знала его таким, она всегда помнила отца грузчиком, в посконной рубахе, или в толстовке — уже позже, когда он начал искать легкую работу. И у него, и у мамы с девочкой вместо зрачков были точки, словно наколотые булавкой.

Она, наконец, заметила, что в доме нехватает привычного хрустящего звука, и подняла голову к часам. Ходики стояли. Стрелки почти сливались на трех часах семнадцати минутах. Она спросила неуверенно:

— Павлик, может, их уже пустить?

Он не ожидал вопроса и не нашелся, что ответить. Он читал только о том, что часы останавливают, если в доме умирает человек. Но когда затем снова пускают часы, в книге ничего не было сказано. Может быть их останавливают навсегда? Ведь человек умирает навсегда?

— Мы все равно никогда не забудем это время, — сказала Аночка, глядя на стрелки.

Но Павлик опять не ответил.

— Пойди узнай, который час, — велела она.

Он убежал к соседям. Без него она толкнула маятник.

Но все-таки она была не в силах решать все одна. Она пошла к отцу.

Парабукин сидел на дощечке, набитой на старый пень. Мефодий Силыч топтался возле него. Они, видимо, поспорили. У них было в обычае донимать друг друга каверзными рассуждениями, но они никогда не ссорились и, пожалуй, не могли друг без друга жить. Несколько лет назад они сошлись на одной ступени, Мефодий — опускаясь вниз, Парабукин — немного поднявшись: одного все чаще выгоняли из театра за пьянство, другой, после болезни, стал пить меньше и пробовал счастье на разных службах. С тех пор они так и застряли на своих неудачах. Впрочем, как раз последние месяцы Тихон Платонович имел службу и тем несколько отличал себя от друга.

Он подвинулся и показал дочери, чтобы она села.

Но Аночка отказалась.

— Я только спросить тебя: может, мы дадим мамину кровать Павлику? Он вырос из своей.

— Я уж тоже думал. Тебе помочь, что ли?

— Нет, мы с Павликом, — сказала она, уходя.

Он качнул ей вслед головой.

— В мамочку, в Ольгу Ивановну. Хрупка и трепет такой в ней. Хотя и от меня есть: все чтобы по её было. Опасная кровь.

— Плохо, коли в тебя, — сказал Мефодий. — Не дастся одно счастье — кинется, очертя голову, за другим. Только разве гордость не пустит. Она вон как мать-то свою от попа загородила! Смерть — это, брат, великая обида человеку. Обиде панихидой не поможешь.

— Ты меня панихидой коришь? А сам не подтягивал поповой погудке?

— Это воспоминания мои, а не я. Пережиток мой запел во мне, — слукавил Мефодий.

— Себе прощаешь, а мне нет? Я для чего попа звал? Перед покойницей надо было очиститься. Перед памятью ее.

— Бога забоялся?

— Что зря калякать! — печально сказал Парабукин. — Мало мы воду переливали? Мечтаний моих не знаешь?

— А это тот же бог, мечта-то! — обрадовался Мефодий и скорее-ко присел на край дощечки. — Ее ведь никогда не догонишь, мечту-то, а? А догонишь — она уж будет не мечта. Как с богом: пока его не видишь, он — бог. Увидал — он уж чурбан, идол.

— Сам говорил — без мечтаний человеку нельзя, — обиделся Парабукин.

— Говорил. Нельзя. Но и на землю мечту низвести невозможно. Как начнешь ее претворять в вещь, в осязательность, так, глядь, а из-под рук твоих выходит чурбан. Понял?

— Сам ты чурбан.

— Верно! Сиречь материальная, как философски говорят, материализованная мечта.

— Оставь свой сиречь! Всё хорошее в человеке есть мечтание. Твои же слова. Говорил? Говорил. Значит, если мечтание — бог, то, выходит, я — бог. И всё могу. Захотел устроить полезный мир и — пожалуйста, устраивай. Тоже твои слова. Говорил? Говорил. И не мучай меня. Философ! У меня дети, я перед ними виноват. У меня к ним жалость. Я не могу, чтобы не верить.

Парабукин поднялся, захватил в кулак ствол ик акации, качнул его, стряхивая с куста желтые коготки цветов. Мефодий снизу прищурился испытующе.

— Ежели уж ты такой бог, устрой поминовение Ольги Ивановны. Да по-русски. Материально.

Парабукина передернуло, как от холодка, он вдруг попросил с покорной мольбой:

— Ты друг? Тогда утешь. Плачет у меня всё внутри.

— Ладно, дожидайся.

Мефодий Силыч ушел решительно, а Парабукин, оставшись наедине, опять сел и закрыл лицо руками.

Мефодий был его учителем жизни, возвышаясь над ним семинарскими познаниями и той отравой сомнений, которая, как купоросная кислота, разъедает и камни. Парабукин же считал мир устроенным очень практично, настолько практично, что не у всякого доставало ловкости его уколупнуть. Людям, вроде него, — как он думал — отказано было судьбой в том, чтобы перемудрить хитрость житейского механизма. У них была короткая пружина. Люди с длинной пружинной никогда не отставали от бега дней. А у Парабукина нехватало завода: только он соберется с силами, чтобы потягаться за свое счастье, а завод и вышел. В наступивших после революции событиях он увидел тот смысл, что житейский механизм будет упрощен, и тогда короткого завода тоже хватит, чтобы и с таким заводом брать от мира себе на потребу. Он не заботился о своем личном переустройстве, он верил, что без всяких со своей стороны перемен подойдет для переустроенного мира. Ему представлялось, что именно ради таких, как он, всеобщие изменения и предприняты. Притом он не был человеком бессовестным. Наоборот, его часто мучила совесть.

Поэтому, едва Мефодий Силыч удалился, он бросил философствовать, а трезво задумался над своим положением. Со смертью Ольги Ивановны его завод еще больше укоротился. Окажись сейчас Тихон Платонович без службы, просто нечего будет положить на зуб. То он был на руках Ольги Ивановны, а то вдруг у него самого на руках осталось двое детей. Правда, Аночка кончила учиться и теперь должна уже

подумать о семье. А как с Павликом? Будь он хотя бы лет двенадцати, можно было бы сказать, что ему пятнадцатый, а в этом возрасте, с грехом пополам, Тихон Платонович пристроил бы мальчика хотя бы при себе, в Утиль-отделе. Там есть, к примеру, пакгауз с бесхозными и конфискованными библиотеками. Подростки сидят и рвут ненужные книги. Переплеты идут в сапожное производство, чистая бумага — в канцелярии, печатная — на пакеты. Труд пустяковый, а, глядишь, мальчик пришел бы домой с рабочим пайком. Ведь на одно-то свое жалованье Тихон Платонович его, поди, не прокормит?

Скорбно стало Парабукину от здорового хода мыслей, и тоска еще томительнее взялась точить его сердце.

Он насилу дождался Мефодия. Когда же тот пришел и Парабукин увидел его устало-виноватое лицо, он не мог удержать стога: верный друг явился ни с чем.

— Дождись теперь меня, — сказал Парабукин, опомнившись от удара, и живо, саженками огромных тонких своих ног, зашагал к дому.

Аночка к этому времени успела побороть себя, разработалась и уже много сделала. Невесомая золотистая пыль светилась в окнах, полных солнца. Павлик сцарапывал ножом наросты клякс с чернильницы. Визгу ножа отзывалось ширканье веника из другой комнаты. Сложенная кровать стояла прислоненной к косяку. Всюду лежали разобранные постели.

— Я помогу, дочка, — сказал Парабукин.

— Хорошо. Ты вынеси одеяла и развесь. Павлик знает, где веревка. Да недалеко от окон, чтобы видно.

Отец пошел натягивать веревку, привязал ее к резному оконному наличнику и к давно заброшенному дворовому фонарному столбушку, на совесть попробовал — крепко ли держит, и начал, вместе с сыном, выносить и развешивать одеяла. Он что-то все мешкал, задерживался в комнате, перебирал разное тряпье, стал мудрить, посылая Павлика, принести с веревки одно, вынести и повесить другое.

И вдруг Павлик, забарабанив в стекло, крикнул сестре со двора:

— Смотри, папа чего-то унес!

Аночка выбежала и еще из дверей увидела отца. Он резво шел напрямик к воротам, держа подмышкой прижатую к боку, накрытую клетчатой осенней маминной кофтой, неудобную кладь. Он был уже посередине двора, когда расслышал, что его нагоняют. Он побежал тяжело и широко.

Но Аночка перегнала его, домчавшись до ворот стремительным, почти беззвучным бегом, захлопнула смаху калитку и повернулась спиной к щеколде, закрыв собою ход.

Отец стоял с ней лицом к лицу.

Она рывком откинула край прикрывавшей его добычу кофты. Это была швейная машинка под деревянным колпаком. Аночка потянула за ручку колпака.

— Ну, довольно, довольно, — сказал отец негромко.

Но она упрямо тянула к себе. Отстраняясь от нее, он затрясшимися от неверной улыбки губами пробормотал:

— Чего ты испугалась? Что я — враг разве вам?

Павлик уже стоял рядом и глядел на отца светложелтыми от солнца глазами в слезах.

— Я ведь только на время, вместо залога. Не продам же... мамочкину память, — сказал Парабукин жалостно.

Аночка всё молчала, ухватив уже обеими руками колпак. Потом она развела закушенные губы.

— Павлик, возьми папину руку.

— Ну, давай я сам отнесу. Он маленький, уронит, — будто смирился Парабукин.

Но она ловким и быстрым усилием со злобой надавила на машинку книзу и вырвала ее, едва удержав в своих тонких руках.

— Отнеси домой, — сказала она брату, и он понес машинку, сильно накренившись набок и махая далеко откинутой свободной рукой в лад частым маленьким шажкам, как несут переполненное водой ведро.

Аночка подняла с земли кофту, отряхнула ее, не глядя на отца.

Парабукин сказал заносчивым и обиженным голосом:

— Ты что хочешь? А? Переделать меня хочешь? Меня мать не переделала! А?

Она ответила коротко:

— Я попробую.

Краска спала у нее с лица. Она пошла двором медленно и легко.

Из-за куста акации все время поглядывал за ней присевший на корточки и не шелохнувшийся Мефодий Силыч.

(Продолжение следует).



БУРЯ

Роман *

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

4

С ужасом вспоминала Мадо вечер возле Тура. Это был один из тех светлых вечеров раннего лета, когда цветет жасмин, и земля, еще не обожженная солнцем июля, доверчиво зелена. Кругом были виноградники, аспид крыш, петушок на колокольне. Лансье стоял у дороги, рядом с цветущим кустом черемухи. На притоптанной траве лежала Марселина; лицо ее было искажено болью, она чувствовала — кто-то придавил ей грудь камнем. Хоронят живой, — подумала она.

Горючего больше не было; они стояли уже три часа. Сержант, проехавший на мотоциклете, сказал, что немцы в двадцати километрах. Лансье повторял: «Они возле Тура! Ты слышишь, Мадо, возле Тура!..» По его лицу текли слезы. А Мадо глядела на мать и не знала, чем ей помочь.

Их спас Берти. Лансье счел его появление чудом; но Берти признался Мадо, что все время следовал за ними и, когда их машина застряла, раздобыл в Туре поместительный автомобиль; госпожа Лансье сможет совершить путешествие с наименьшими для нее трудностями; горючего хватит до Бордо. Все это Берти рассказал впоследствии. Тогда он только поспешил успокоить Лансье: передовые части немцев в полутораста километрах, и госпожа Лансье сможет переночевать спокойно в Туре; он добавил, что с трудом достал комнату, которую, разумеется, предоставит больной.

— Вы спасли Марселину, — сказал растроганный Лансье. — Вторым раз вы меня выручаете. Но деньги — это не то, а в такие минуты, действительно, распознаешь друзей...

Зачем виноградники? — думала Мадо. Здесь купались... Вот замок. Поэты писали стихи, сторож показывал туристам залы с резными потолками, в саду били фонтаны... Хрупкий, выдуманный мир, он распался! Отдают лимузин за бачок с горючим. Люди бросают всё — лавки, дома, картины. А поэт ругается из-за стакана воды. Все как будто разделись, Франция — голая. И неважно, что был Пуссэ, что в этом парке глухой Ронсар прислушивался к звучанию стихов. Все это побрякушки. Люди живы другим — хлебом, может быть еще кровью...

Благодаря Берти, они добрались благополучно до Бордо. Здесь Лансье несколько оживился: вдруг остановят немцев?.. Успокаивали его знакомые лица, — на каждом шагу он встречал парижских друзей; хотя все говорили «выхода нет», присутствие людей, связанных с годами благополучия, казалось Лансье порукой, что Франция не погибла.

* Продолжение. См. «Новый мир», № 4, 1947 г.

Он и сам говорил, что положение безнадежное, но эти горькие слова он произносил с едва различимой улыбкой, в душе надеясь, что он, как это часто бывало, горячится и преувеличивает. Марселина чувствовала себя лучше. Кто-то рассказал, будто Луи жив и здоров — его видели возле швейцарской границы. Лансье стал подумывать о Бидаре — туда немцы уж никак не доберутся. Леонтина, наверно, там, может быть, и Лео придет... А горячее достанет Берти

Бордо не походил на себя, его коренные жители терялись среди шумливых, растерянных и все же самонадеянных парижан; никто еще не чувствовал себя беженцем; люди жили, как на палубе парохода, спали в кафе, толпились возле редакций газет, разыскивая родных, ожидая сводку, передавая друг другу всевозможные слухи — о вмешательстве Америки, о правительственном кризисе, о мирных переговорах.

Лансье рассуждал:

— Придется пойти на мир вничью — положение, действительно, безвыходное...

Два дня спустя паника охватила и Бордо. Город бомбили; было много жертв. Люди увидели носилки, трупы, кровь на асфальте. Нахлынули толпы солдат, давно не бритых, грязных, голодных. Солдаты рассказывали, что немцы несутся, как наперегонки; нет противотанковых орудий; связь потеряна. Наиболее впечатлительные уезжали к испанской границе. Нехватало хлеба. Люди открыто слушали немецкие радиопередачи Штутгарт заверял, что Бордо доживает последние часы.

Лансье говорил:

— Я не могу понять, Мадо, что случилось?.. Я был у Вердена, пусть молодые говорят, что им вздумается, я-то знаю, что французы не трусы. А теперь немцы едут, как будто это пикник. Вчера они снова продвинулись на сто километров. Где наша противотанковая артиллерия? Нет, ты мне скажи, что происходит?

— Ты меня спрашиваешь? Но я ведь даже не знаю, как стреляют... Все было непрочным. Карточный домик. А мы были уверены, что мыльные пузыри навсегда... Уверены, верить не верили — ни во что...

Мадо подумала: я повторяю слова Сергея. Я так редко о нем вспоминаю, а он за меня говорит... Глупо — во что я могла верить, взбалмошная девчонка?.. Я только теперь вижу жизнь...

Лансье кричал:

— Нет, милая, Франция не мыльный пузырь. Осторожно! Дело в другом — слишком много политики. Говорят, что виноваты генералы — не знаю, а вот политики во всяком случае виноваты. Нужны были самолеты, а они устраивали прения, кризисы, забастовки... Если Петэн согласится стать во главе Франции, это будет спасением. Он остановит немцев — это не политик, а старый солдат.

Семья Лансье приютилась в маленькой гостинице возле порта; прежде здесь останавливались мелкие колониальные чиновники, матросы, солдаты, пропившие свои сбережения в окрестных кабаках и домах терпимости. Все говорило о попойках, драках — поломанное зеркало, замызганный столик, пятна на стенах. Обстановка вполне соответствовала душевному состоянию Мориса Лансье; он чувствовал себя одиноким и нищим — у него украли Францию... Еще недавно вся его жизнь казалась цельной, гармоничной: юность в Латинском квартале, Марселина, Верден, работа, семья, коллекции «Корбей»... Теперь, вспоминая прошлое, он понимал его ничтожность: сон, пусть приятный, но только сон... Столько было друзей, а теперь не с кем поговорить о самом главном. Все заняты поисками ночлега, еды, горячего, нервничают,

ругаются. Берти, тот спокоен; но с ним не поговоришь — он, как всегда, чертовски логичен, а бывают времена, когда логика нестерпима...

И вот в эту отвратительную комнату вошел Лео. Они молча обнялись — у обоих не было слов. Лео был в штатском, худой, измученный; но загар его молодил; Лансье подумал — удивительно, он неплохо выглядит...

— Лео, откуда ты?..

— Из Бидара. Где Леонтина?

— Она поехала с Соже.

— Я видел Соже, они ничего не знают...

— Я думаю, что она осталась в Париже, — сказала Мадо.

Лансье хотел утешить Лео:

— Если осталась, то хорошо сделала. Ты не можешь себе представить, что это была за дорога!..

— Я видел...

— Как ты нас нашел?

— Я был убежден, что ты в Бордо. Где же тебе еще быть, ведь здесь весь Париж. Вчера искал тебя целый день, все тебя видели — и никто не знает, где ты. Хорошо, что мне пришлось в голову спросить Берти. О Луи ты что-нибудь знаешь?

— Говорят, что она на швейцарской границе, это самое спокойное место, сможет перебраться в Женеву, там ведь наши друзья — старики Сержан. Скажи, Лео, ты понимаешь, что случилось?

— Нет, не понимаю. Или боюсь, что слишком хорошо понимаю. Это издевательство! Мы хотели драться. Даже самые трусливые... Это ведь сомнительное удовольствие — все время удирать, да еще под бомбежкой... Но я не знаю, что это за командование? Никто ничего не знает. Генералы сами лезут в плен. Офицеры переодеваются в штатское и говорят — все равно дело пропащее... Сколько раз мы задерживали немцев — и приказ «отходите». Ничего не было подготовлено — ни противотанковых орудий, ни авиации. Ты мне часто говорил, что я — настоящий француз. Должно быть это правда, потому что сейчас мне хочется повеситься. Эти господа играли и переиграли. Если устроят революцию, я первый пойду. Да лучше умереть, чем видеть такое!..

Лансье в душе соглашался с Лео, но громкий голос, резкость слов ему не нравились.

— Революция во всяком случае не выход, страна и так разорена, новых потрясений никто не выдержит. Ты, что же, кончил воевать?

— Ничего подобного. Генералы, те кончили... Я этот костюм надел, чтобы тебя не напугать — все изодралось... Части моей нет. Я сейчас был у коменданта, просил направить меня в другой полк. А там говорят, что пора закрывать лавочку... Негодяи! Где Леонтина? Сын? Ничего не осталось!.. Продулись впрах!

Вечером они вместе пообедали в ресторане. На минуту обоим показалось, что они в Париже, нет ни немцев, ни разгрома — белые скатерти, веселые лица девушек, услужливые официанты... Они молча курили. Вдруг все кругом затихло — выступал по радио Петэн. У него был надтреснутый старческий голос. Он сказал, что дальнейшее сопротивление бесполезно, он обратился к противнику с просьбой о перемирии.

В глазах Лансье показались слезы.

— Ты слышал, Лео?.. Это настоящий француз! И не политик — солдат!..

— Позор! — закричал Лео. — Отвратительно!.. Я тебе говорил, что мой брат — фанатик, я не понимал, как они могут так жить... А сейчас

я жалею, что я не фанатик, понимаешь? Я вышел бы на улицу, закричал бы товарищам... Мы с ними вместе шлялись по этим проклятым полям... Я закричал бы: огонь! Огонь по немцам, огонь по этому стари- кашке!..

Лансье вспылел: как смеет Лео оскорблять героя Вердена? Не помня себя, тонким голосом он завопил:

— Ты так говоришь, потому что ты не француз! Твой отец, твой дед не жили здесь. Они не строили этих городов, не работали на этих полях. Тебе все равно, что станет с Францией, тебе нужны идеи, политика. А маршалу нужна Франция. Он хочет спасти французские города, французских детей. Ты меня понимаешь или ты этого не можешь понять — французских!..

Лео швырнул салфетку и молча вышел.

Опомнившись, Лансье обругал себя: как мог он обидеть Лео? Конечно, Петэн — единственный выход. Но нельзя из-за политики ссориться с лучшим другом! А Лео, конечно, настоящий француз, просто он нервничает наверно, был с коммунистами, они его так настроили... Поздно вечером, с помощью все того же Берти, Лансье разыскал Лео.

— Я был неправ, погорячился. Мы все изнервничались, это вполне естественно. Ко всему Марселина... А дружба — это дружба. Обними меня, покажи, что ты не сердишься...

Лео улыбнулся. Но показалось это Лансье или Лео, вправду, не мог забыть обиду, только они чувствовали себя стесненными, подбирали слова, подолгу молчали.

Два дня спустя Лео сказал Лансье:

— Еду в Париж, наверно Леонтина там.

Лансье подумал: рискованно, ведь немцы сразу увидят, что Лео — еврей. Но как ему сказать? Он может снова разобидеться...

— Ты не считаешь, что это преждевременно?

— Сотни тысяч возвращаются. Конечно, я ни за что не поехал бы. Но Леонтина...

— Нужно все взвесить. Ты сам знаешь, какие у немцев пред- рассудки...

— Может быть, не только у немцев, — жестко ответил Лео. — Но в Париже Леонтина, сын. Это все, что у меня осталось...

После отъезда Лео Лансье снова почувствовал себя одиноким. Берти подыскал для Лансье две пристойных комнаты; он был заботлив, но молчалив и оживлялся только, когда видел Мадо.

На мутной заре дождливого дня скончалась Марселина. Умирала она мучительно, сознавала все. В какие часы она оставляет близких!.. Луи пропал, может быть убит; живая Мадо давно не живет; а Морис превратился в старика. Франция лежит и умирает, как она... И ни при- частие, ни глаза Мадо, полные любви, не могли смягчить ее страданий.

— Если Луи вернется, скажи ему...

Она не смогла договорить; это были ее последние слова.

Трудно представить более мрачные похороны, хотя Берти сделал все, что мог. Ветер подымал пыль, слепил. Впереди шел Лансье. Вдруг катафалк остановился — дорогу пересекали немецкие танки; и немцы не хотели пропустить процессию. Больше часа простоял катафалк у пере- крестка. Крутилась пыль. Немцы пели. А Лансье громко плакал — он походил на старую женщину.

Когда Мадо дали лопаточку, чтобы она кинула горсть земли на гроб, она почувствовала, что хоронит всё — рвалась последняя нить, которая привязывала ее к жизни.

Берти стоял в стороне; потом он отвез Лансье и Мадо. Лансье всхлипывал:

— Я был здесь с Марселиной во время свадебного путешествия и потом еще два раза. Она любила Бордо, говорила, что здесь все пахнет ванилью и бананами... Почему меня не убила немецкая бомба?..

5

В последние дни Марселина неустанно вспоминала сына; Луи был в Бордо, он не знал, что рядом умирает мать. Мадо он встретил случайно на почте, от нее услышал о смерти матери. Они сразу поехали на кладбище.

— Мама хотела что-то передать тебе, но не успела..

Луи обожал мать: шумливый, всегда чем-то поглощенный, честолюбивый, он любил в матери ее отрешенность, наивность, мягкость. Он долго стоял возле свежесыпанного холмика с венком из завядших роз, потом бережно завернул в платок горсть земли:

— Это не сентиментальность... Потом ты поймешь...

Лансье обиделся — почему его не взяли на кладбище, но быстро отошел, слишком велика была радость: Луи жив, даже не в плену. Он относился к сыну, как к ребенку, говорил «разве такие могут воевать?..» И теперь он слушал его со снисходительной улыбкой — что он понимает?.. Счастье, что мальчик выпутался!..

Вечером он сказал:

— Вот и Луи с нами. Только бедной мамы нет... Мне очень тяжело, но нужно подумать о будущем...

Он не искал у детей совета, просто вслух разговаривал сам с собой.

— Альпер наверно уже в Париже, но трудно рассчитывать, что ему удастся спасти «Рош-энэ», ведь для немцев он не француз... Конечно, мне лично Париж не улыбается, но нужно жить. Если я не вернусь, немцы могут отобрать и завод и «Корбей»...

Неожиданно Луи его прервал:

— Ты, что же, собираешься работать на немцев?

Лансье обиделся:

— Не понимаю, что за тон?.. Я слишком потрясен смертью мамы, чтобы заниматься делами. Я сейчас впервые об этом подумал... И, может быть, именно потому, что ты нашелся. Я не имею права бросить Мадо и тебя без средств.

— Мне ничего не нужно, — сказала Мадо. — И я не хочу в Париж...

А Луи повысил голос:

— Обо мне можешь не заботиться. Я на военной службе...

— Теперь демобилизация.

— Я не собираюсь подчиняться предателю.

— О ком ты так говоришь?

— О Петэне.

— Луи!

— Что?..

— Ты слишком молод, чтобы судить героя Вердена. И потом ты — младший лейтенант, как ты смеешь так отзываться о маршале? Где же дисциплина, о которой ты только что говорил?

— Я говорил о честных командирах. А Петэн — изменник. Я, маленький лейтенантик, вправе сорвать с него погоны! Я был на фронте. Мы могли бы еще продержаться... Да и потом... Можно было уйти в Алжир, в Конго, куда угодно! Все лучше, чем этот позор!

— Ты так рассуждаешь потому, что тебе двадцать лет. Счастье, что судьбы страны решают не молокососы! Разве ты можешь понять, что чувствует мать?..

— Зависит, какая.. У подлецов тоже матери.. А будь жива мама, она поняла бы, почему я так с тобой говорю..

— Ты хочешь сказать, что я думаю иначе, чем мама? Ты, может быть, считаешь меня бесчестным? — Лансье уже не помнил, что говорит. — Это легко бряцать оружием, когда подписано перемирие. Ты сам говорил, что не сделал ни одного боевого вылета. Кто тебе дал право судить маршала? Он был в Вердене. Я тоже был в Вердене, я знаю, что это значит... А ты, мальчишка, бросаешь камень...

Он замолк, вытер потное лицо. Луи долго молчал, потом ответил:

— Зачем нужен был Верден, если четверть века спустя тот же Петэн разбазаривает Францию? Я не хотел спорить, ты меня сам заставляешь... Ты заботишься о том, оставишь ли мне в наследство «Рош-энэ». А скажи, ты подумал: что вы нам оставите — Францию или немецкий шантан? Ни о чем ты не думал. И нас растили такими — недумающими... Теперь придется все начинать сначала...

Покойная Марселина часто вспоминала пословицу: беда приводит своего брата. Несколькo дней спустя Мадо сказала отцу:

— Вчера я проводила Луи.

— То-есть, как «проводила»? Куда он мог уехать?

— Не знаю. Наверно, воевать...

Лансье сел, закрыл руками лицо, так просидел он до ночи. Он проклинал сына и восхищался им; но больше, чем о сыне, он думал о себе, жалел себя — семья расплзлась, разлетелась, как Франция... Неизвестно, зачем теперь жить, заниматься скучными делами, пробираться в Париж, по которому ходят грубые, заносчивые чужестранцы...

Мадо вспоминала, как простилась с братом, он торопился, повторяя «уходи». Она его обняла.

— Мадо, ты меня не осуждаешь?

— Я тебе завидую.

— Почему? Ты тоже можешь...

— Нет, не могу. Я, Луи, ни во что не верю. Понимаешь? Пустая. Наверно, такой родилась. А тебя люблю. Хочу, чтобы ты был счастлив. Я знаю, нужно сказать иначе... Хочу, чтобы вы победили...

Было это вечером на темной улице, и Луи не видел, как Мадо плакала.

6

Все последние месяцы Сергей много разъезжал—был в Ярославле, в Ростове, в Горьком. Он погрузился в свою стихию; подтрунивал над собой, рассказывая Нине Георгиевне: «Когда я работаю, для меня ничего не существует, мне кажется, что от одного мостика зависит судьба человечества»...

Однако это было неправдой: угрюмо, тоскливо следил он за событиями на Западе. Каждое утро поспешно глядел газету—остановили ли немцев?.. И вот короткая телеграмма на четвертой странице: «Германские войска заняли Париж».

Мадо!... Его сердце сжалось. Он не часто вспоминал Мадо—дни были заполнены чертежами, планами, цифрами. Он знал теперь, что прошлое не повторится; упрекал себя—почему не подавил сердечного влечения? Он повинен в слезах Мадо. А может быть, она его забыла? Ведь говорила она «это—вне жизни»... И все-таки он виноват... Только

очень редко, среди ночи, перед ним вставала Мадо; тогда он признавался себе, что никогда больше не сможет так любить; ей он отдал самое большое—жар сердца, мечту. А утром он не помнил про те признания—жизнь брала свое.

Сейчас как будто опустился занавес. И от всех противоречивых чувств, от душевной сложности и разлада осталось одно: Мадо очень плохо. Ей—как Парижу...

Немцы в Париже!.. Он старался понять совершившееся и не мог. Сколько раз он говорил и Мадо и матери, что Франция, которой правят мелкие бесчестные люди, раздираемая внутренней борьбой, беспечная, беззащитная, рухнет, как только двинутся на нее хорошо вооруженные армии Гитлера. Все же не представлял он себе такой развязки. Он ждал борьбы, может быть, короткой, но отчаянной, героизма, подвигов. Его потрясло, что Париж пал без единого выстрела. Он ругался, как будто перед ним тот самый генерал, который посмел объявить город четырех революций «открытым». Негодяи, впустили, как в гостиницу!..

Он подумал о Лежане, о молодом рабочем, с которым говорил на заводе «Рош-энэ», о людях Бильянкура, Сюренн, Иври. Такие не сдались бы... Но их арестовывали, сажали в лагеря, травили. Низкие души!.. Они хотели Францию без коммунистов, Францию без народа. И получили — на площади Бастилии немцы.

Потом он задумался над тем, что было его жизнью: над Москвой, над проектами, над матерью, над туманной улыбкой Вали (он с ней часто встречался, видимо, чем-то она его привлекала, вот и сейчас вспомнил), над этой землей, деревьями, цветами. Еще все здесь спокойно, еще девушки гадают по ромашке, как гадала Мадо, еще он думает — позвонит ли ему сегодня Валя, еще матери тихо нянчат детей, дети учат спряжения, еще строят дома, обсуждают, где поставить перегородку, чем обить диван, еще мир, голубой, с легкими перистыми облаками, как июньский день, стоит над этой землей. А там... Как быстро они справились с Францией!.. Жгут, грабят, убивают... Сергей вспомнил рассказ Анны. Такие кинутся и на нас... Стоит им перевернуть Францию, и через два-три года обязательно кинутся...

За обедом Сергей поспорил с Бельчевым. Развернув газету, Бельчев удовлетворенно ухмыльнулся, дожевывая кусок жесткой говядины и сказал:

— Здорово они французов побили!..

Сергей рассердился. Бельчев может не любить Парижа, это его дело, он там не был, да и читает он мало. Работник хороший, но человек ограниченный. И все же!.. Париж, даже в прошлом, это — том истории, и той истории, которая нам дорога! Потом победа фашистов — угроза, да еще такая легкая победа. Вскружится голова... Это уж не спор о том, хорош Париж или нет, это — наше... Всякий понимает. Но Бельчев не хотел понять:

— Чего ты волнуешься? Побили их артистически...

Сергея возмутило благодушие, с которым были сказаны эти слова. А благодушие являлось отличительной чертой Бельчева, причем он считал необходимым ежедневно, даже ежечасно высказывать свое удовлетворение всем: если ему говорили «ну и холодище», он отвечал: «морозец, это полезно, сырости нет», но и в дождливый, гнилой день он радовался: «нехолодно»... При этом он ухмылялся и проводил ладонью по щекам или по крупному мясистому носу. Сегодня он был верен себе—так же ухмылялся, так же говорил: «Волноваться-то почему?..»

Сергей настаивал. Тогда Бельчев перешел в наступление: обвинил Сергея в «отсутствии диалектики» и в «нюнях». Утомившись и выпив мутный сироп компота, он сказал:

— А ну их!.. Не верю я, что там есть сознательные люди...

— Забыл про коммунистов? Про рабочих забыл, про народ?.. Какой же ты большевик?..

— У нас своих дел много...

В разговор неожиданно вмешался Павел Сергеевич Лукутин, никогда не принимавший участия в спорах. Его считали полезным работником, но человеком политически неразвитым. Он был застенчив, замкнут, так что люди, проработавшие с ним ряд лет, ничего не знали об его частной жизни. Было ему сорок лет, но все в нем казалось старомодным — и манеры, и выражения. Когда Бельчев заявил «у нас своих дел много», Павел Сергеевич, который, казалось, не слушал спора, сказал:

— Простите, что я вмешиваюсь, но должен вам возразить. Нашим делом мы все заняты, а рассуждения ваши мне кажутся ошибочными. Я не думал, что у нас могут быть... Я не нахожу иного слова, нежели изоляционисты. Возьмите этот ножик, обыкновенный ножик, наш, как теперь говорят, отечественного производства. Я осмелюсь сказать, что производство такого ножика—дело общечеловеческого значения. Одни восхищаются, потому что от нас ждут спасения, а другие нас ненавидят—за то, что мы изготавливаем столовые ножички, да не только ножички, за то, что мы существуем. Это потому, что невозможно отделить нашу судьбу от судьбы всего человечества. Если мы победим, все победят. Не знаю, сумел ли я вам высказать, что хотел? Но только, когда другой народ ранят, мы это чувствуем—вот здесь...

Он показал на сердце.

Бельчев встал:

— С вами я спорить не стану. Вы лучше почитайте литературу, прежде чем поучать других...

Вечером Сергей пошел к матери, зная, что она огорчена известиями. Нина Георгиевна встретила его словами:

— Сереженька, как же это?..

Она задала тот вопрос, который он утром ставил себе, вопрос, который ставили миллионы и миллионы.

— Сдать Париж!.. А народ, рабочие?..

— Рабочие слишком сильные, чтобы буржуазия решилась всерьез воевать против Гитлера, и рабочие слишком слабы, чтобы захватить власть. А обыватели, средние французы, те ровно ничего не понимают. Пять лет им доказывали, что лучше Гитлер, чем Народный фронт, говорили, что коммунисты отберут садик с душистым горошком, запретят пить аперо, может быть жен национализируют. Ты не можешь себе представить, как легко околпачить среднего француза. Они себя считают скептиками, стреляными воробьями, а на самом деле— дети, сушие дети.... Теперь-то они увидят, что такое фашизм. Последнее слово еще не сказано...

— Я знаю, что победит народ, мне только страшно, что он победит, когда там ничего не останется. Я говорю не о Нотрдаме или Лувре, я хочу, чтобы уцелели французы с их традициями, с их тонкостью, с их легкостью и с их сложностью. Это нужно всем... А если фашисты там продержатся двадцать лет... Погляди, что стало с Германией... Мне грустно, Сережа.

Сергей молчал, он снова вспомнил Мадо. И, кажется, Нина Георгиевна разгадала его мысли, горячо, неловко, она пожала его руку. Был

так необычен этот жест для матери, что Сергей, растроганный, от-
вернулся.

Они долго сидели молча. Потом Нина Георгиевна вспомнила:

— Сегодня в институте один студент сказал: «Париж они взяли, а знамя Коммуны у нас—в мавзолее»...

— Вот лучший ответ Бельчеву! Ты знаешь, мама, кто спасет Париж? Наши!.. Я в этом убежден. Сегодня я шел по Каляевской, навстречу—красноармейцы, в баню шли, пели.. Вот это — надежда!.. На них весь мир сейчас смотрит!.. — Он улыбнулся и другим голосом, задумчиво сказал: — Если бы существовал такой чудодейственный телеграф — прямо от сердца к сердцу, я послал бы телеграмму в Париж: как шли красноармейцы по Каляевской и пели...

Шутливо, нежно Нина Георгиевна спросила:

— Девушке?

Он покачал головой.

— Нет... Одному парнишке с «Рош-энэ».

Когда он возвращался ночью к себе, он подумал о Вале и прикрикнул на себя: будет война! Если не теперь, так через несколько лет... Сергей смутно помнил, как играл с мальчишками «в Перекоп»; дитя мирных лет, он не понимал, что люди между двумя бомбежками выдувают тончайшее стекло, строят дома, сажают розы. Если бы ему сказали в ту ночь, что можно поцеловать девушку за час до боя, он не поверил бы.

А наутро голубело небо мира с легкими перистыми облаками. Сергей думал о надвигающейся грозе чаще, чем многие его сверстники — он побывал в другом лагере, и фашисты для него были не только словами газет; но, думая о войне, он не мог ее почувствовать. Торжествуя, он говорил Григорьеву: «Видите — совсем не утопия. Наладим все раньше срока»... Вечером он позвонил Вале.

7

Сентябрь был дождливым, неприветливым; и вот выпал хороший день. Большое очарование в русской осени; кажется, что, предчувствуя долгую зиму, и деревья, еще сохранившие часть убора, и солнце, еще теплое, стараются утешить, приподнять человека — ведь весной снова зазеленеют сады, и солнце прорвется сквозь двойные рамы.

Павел Сергеевич Лукутин позвонил жене, что не придет к обеду. Выйдя на улицу и увидев Александровский сад, весь в золоте, розовые, теплые стены Кремля, он доверчиво улыбнулся.

Жизнь Лукутина осложняли не внешние события, а душевные наклонности. Отец его, профессор ботаники, впитал в себя идеи прошлого века, деля свои симпатии между проповедью Толстого о непротивлении злу и мечтами о либеральной конституции. Революции он обрадовался, но вскоре смутился: «Снова кровь!..» Он начал хворать, редко выходил из дому и читал Платона. Когда один приятель спросил его: «Саботируете?», профессор в ответ заревел: «Я, батенька, не саботирую, я возмущаюсь»... Вскоре он умер.

Павел Сергеевич как будто принял на себя продолжение того спора с историей, который затеял отец. «Против течения» написал он под-
ростком в тетрадке. Увлекался он литературой, романтиками, читал в подлиннике Байрона и Ленау, но изучать решил строительство, говоря себе, что народ всегда прав и служить нужно народу. Закончив институт, он работал в Казани, в Березняках, в Кузнецке, а последние годы в Москве. Работой он был удовлетворен, но часто его терзали

сомнения в правоте того дела, которому он отдавал и годы, и душу. Его возмущали грубость нравов, бездушие того или иного чиновника. Он возражал себе: это оттого, что мы — пионеры, через двадцать лет люди будут другими... Но бывало, он в отчаянии думал: таких не переделаешь... Как отец, он возмущался любой несправедливостью, только характер у него был не отцовский: профессор, хоть и увлекался толстовством, охотно лез в драку, а Павел Сергеевич был молчалив, никогда не выходил из себя. Он сам над собой издевался: хорош, протестую в четырех стенах. Это не было малодушием, связывала его внутренняя раздвоенность — может быть, последствия воспитания, может быть, удел некоторых чересчур замкнутых натур.

Кто знает, сколько он передумал за двадцать лет — в общежитиях, в бараках, в дальних российских поездах, как бы созданных для долгих раздумий! К своему веку он приближался медленно, мучительно, не доверяя ни окружавшим его людям, ни себе. Напрасно его считали человеком безразличным к общественной жизни, он не только много читал, но старался связать прочитанное с тем, что видел, своей работы не отделял от мыслей о развитии культуры. Фашизм его потряс: если он долго сомневался в природе добра, то зло распознал сразу, и ненависть к злу помогла ему освободиться от многих противоречий; он реже колебался, увереннее думал о будущем — знал, что предстоит поединок, который многое решит.

Несколько раз в жизни он влюблялся, но прирожденная застенчивость мешала ему признаться в своих чувствах. Женился он поздно; нельзя даже сказать, что он женился — решила все Катя. Это была девушка с небесными глазами (так по крайней мере казалось Лукутину), но на редкость практичная, называвшая чувства «пустяками». Ей не хотелось уезжать в провинцию. Лукутин был к тому времени обеспечен. Она родила дочку и придала более жилой вид его комнате. Лукутин принимал ее, как одно из неизбежных бедствий: она требовала, чтобы он больше зарабатывал, и докучала ему сплетнями или рассказами о комиссионных магазинах.

Он обрадовался, что не поедет домой; решил перекусить в кафе. Он выбрал столик возле окна и долго глядел на осенний закат; не заметил, как подошел высокий человек в клетчатом спортивном костюме. Лукутин удивленно поглядел — светлые, чуть растерянные глаза, редкие волнистые волосы... Кажется, знакомый, а кто — не помню... Подошедший обратился к нему по-немецки:

— Не узнаете? А я вас сразу узнал. Помните — Кузнецк, июль тридцать второго года...

Восемь лет тому назад в Кузнецк приехала группа немцев; среди них был и молодой берлинский архитектор Курт Рихтер. Он выделялся как поэтической внешностью, так и экспансивностью, восторгаясь решительно всем — и котлованами, и смелостью инженеров, и тайгой, и живописной одеждой казахов; то и дело восклицал: «Колоссально!» После чистой, аккуратной и скучной Германии все ему казалось сказочным. Я становлюсь коммунистом, говорил он себе.

Он провел в Кузнецке неделю и там познакомился с Лукутиным, который хорошо владел немецким языком. Павлу Сергеевичу поневоле пришлось быть проводником; это его тяготило. Когда Рихтер показал на землянки, Лукутин стал объяснять: «Здесь недавно живой души не было»... А немец, не слушая его, восклицал: «Колоссально! И сколько в этом живописности!..» Рихтер, решивший было примкнуть к коммуни-

стам, сказал Павлу Сергеевичу: «Вы ведь давно в партии?..» Лукутин покраснел, как будто его уличили в преступлении, и ответил: «Я беспартийный».

Это было так давно, и столько они с тех пор пережили, что удивительно, как Рихтер узнал Лукутина и как Павел Сергеевич вспомнил их встречу.

Рихтер мало изменился, стал, пожалуй, несколько сдержаннее. Глядя на русского, он вспоминал свою молодость, восторги, заблуждения. А Лукутин пытался разгадать, как Рихтер очутился в Москве: горемыка, из тех, что бродят по миру, или фашист с положением?..

В тридцать втором году Рихтер все же не стал коммунистом. Вернувшись на родину, он решил в политику не вмешиваться. Мало ли на свете других страстей? Он встретился с Гильдой. Это была маленькая девушка с головой в кудряшках, похожая на белую негритянку. Рихтер потерял голову; два года он добивался руки Гильды, ревновал ее ко всем, даже к старому учителю английского языка. Когда, наконец, он добился своего и женился, его муки возросли: ему казалось, что Гильда его не любит и если не на деле, то в мыслях ежечасно ему изменяет. Ночью он боялся уснуть, — несколько раз он слышал, как жена что-то говорила со сна; он ждал, что она назовет неведомого соперника. Гильда казалась тихоней; но, глядя в ее детские и вместе с тем загадочные, как у кошки, глаза, он знал, что сердце этой женщины — омут.

Зачем ему политика? Он хорошо зарабатывал, ходил с Гильдой в театр, увлекался психоанализом. А политика, непрощенная, сама начала навеваться. К власти пришли «наци». Рихтер полагал, что если «новый режим» и полезен для Германии — кто знает? — то для культурных немцев он стеснителен. Как многие слабовольные люди, он считал себя человеком с характером и, повторяя чужие слова, думал, что выражает свои сокровенные мысли. Друзья шёпотом рассказывали ему анекдоты, в которых высмеивались главари Третьего рейха. Гильда говорила: «Я боюсь выйти на улицу... Вчера штурмовики таскали по улицам какую-то молодую женщину. Говорили, что она жила с евреем... Ей плевали в лицо. Это отвратительно! Кому какое дело, с кем она жила?.. Государство не может залезать в постель!.. А дети?.. Ты видал, что они делают? Они заставляют маленьких детей маршировать, как солдат! Ничего хорошего из этого не выйдет!..» Рихтер думал: она сочувствует той женщине, потому что ей хочется изменить мне, с кем угодно, даже с евреем!.. Но все же он понимал, что Гильда права — как могут штурмовики управлять государством?..

Однако когда Гитлер присоединил Австрию, Рихтер сказал: «Можно говорить что угодно, но у этого человека гениальный нюх!.. Подумай, без капли крови осуществить старую немецкую мечту!..» Гильда не стала спорить. Несколько лет тому назад она была с отцом в Вене, и ее обольстила грация этого старого города, Ринг, изящество женщин. Без войны получить Вену! Может быть, правы мальчуганы, которые горланят под окнами?.. Только и Вена теперь станет грубой, как Берлин...

За Веной последовала Прага. Рихтер считал, что нужно остановиться, он вспоминал рассказы отца о восемнадцатом годе. Вдруг фюрер снервничает?.. Рихтер боялся войны — боялся и поражения, и того, что придется воевать. Это должно быть ужасно — сидеть в окопе и ждать, когда тебя разорвет снаряд!.. А Гильда?.. Как сможет он оставить Гильду?.. Шесть лет совместной жизни, мелочи быта, обеды, счета прислуги, лекарства, обжитая надышанная квартира — всё это не могло вылечить

Рихтера от жестокой ревности. Он боялся уехать на три дня в Бремен, возвращался со службы в неурочное время, заставлял себя слушать симфоническую музыку, чтобы Гильда не пошла без него на концерт. Он был убежден, что жена, которая из забавной девчонки превратилась в красивую женщину, только и ждет случая, чтобы наверстать потерянное.

Началась война. Рихтеру дали отсрочку. Всю зиму он томился: скоро дойдет черед и до меня... Отец ему когда-то рассказывал о меткости французской артиллерии, о штыковых атаках сенегальцев. Неужели придется это пережить?.. И вдруг пала Франция. Рихтер до хрипоты кричал с другими: «Зигхейль!» Но что-то внутри сосало... Вдруг все кончится катастрофой? Никто не знает, что задумала Америка. А Россия?.. Что скажет Россия? Главное, нельзя понять, когда остановится фюрер и останется ли он...

Повидавшись с приятелем-наци (все теперь перепуталось), Рихтер начинал верить, что на Германию возложена высокая миссия — организовать Европу. Он перечел Ницше — и ему показалось, что он может стать сильным, одиноким, гордым. Он вдруг стучал кулаком по столу, пугая Гильду, говорил: «Мы, немцы, должны жить беспокойно!..» Она глядела на него в изумлении своими круглыми кошачьими глазами и отвечала: «Я больше всего жажду покоя. Кому нужны эти завоевания?.. Тебя могут каждую минуту послать на фронт...» И Рихтер думал: она права. Нельзя превратить жизнь в азартную игру! Лучше всего жилось при кайзерах, можно было вольнодумствовать, строили удобные дома, да и сила была настоящая... Они стащили Париж, как яблоко с лотка, придется отвечать — через год или через десять лет...

Брат привез Гильде из Франции духи, чулки, шоколад; она радовалась, как девочка на елке; но, узнав, что брата посылают завоевывать Англию, расплакалась, кусок шоколада растаял у нее в руке. А брат сказал: «Чепуха! С ними мы покончим в три-четыре месяца. Нужно только переправиться, а там... Ничто не может выстоять перед нашими танками». Эти слова потрясли Рихтера. Может быть, у фюрера были ошибки, но он на голову выше всех. Конечно, жаль, что приходится калечить старинные города вроде Руана, но без жертв ничего не делается, а теперь рождается новая Европа.

Ночью Гильда ему говорила: «Тебя могут тоже послать в Англию».. Он отвечал: «Я знаю. Это ужасно, мы попали в шквал, с людьми не считаются... Ты только обещай мне, что будешь ждать...»

Когда фирма, где работал Рихтер, объявила ему, что он должен поехать на три недели в Москву, он обрадовался — с нежностью вспоминал он страну чудес. Но как оставить Гильду?.. Он потребовал от нее клятв, извел ее, она говорила: «Ты сумасшедший. В такое время!..» Он отвечал: «Именно в такое время».

Перед отъездом его вызвал к себе полковник Вильке, сказал, что Россия — сфинкс, и хорошо будет, если Рихтер постарается разгадать русскую загадку. Рихтер уже бывал в Москве, наверно, он найдет кого-либо из старых знакомых, интересно проверить, как относятся русские к большевикам, известны ли там преимущества немецкого режима, имеются ли перспективы «для мирного или полумирного проникновения» — так он выразился. Рихтер скрыл от Гильды этот разговор, он только сказал: «Прежде ездить было куда приятнее! Я больше не чувствую себя свободным...» Помолчав, он добавил: «Ты знаешь, что я никогда к ним не подлизывался. Может быть поэтому они мне доверяют»...

Подойдя в кафе к Лукутину, Рихтер не думал о наставлениях полковника; он растрогался, вспомнив давние времена, говорил непринужденно, шутил. Каким он был в молодости горячим и наивным! В Кузнецке он сказал этому русскому, что хочет стать коммунистом. А Лукутин тогда признался, что он — беспартийный... И вдруг Рихтера осенило: вот кто может помочь! Судьба пришла ему на выручку, он услышит мнение русской оппозиции, утрет нос и журналистам и наемным информаторам.

Желая расположить к себе собеседника, Рихтер стал рассказывать, как он сомневался в торжестве «наци». Он увлекся и на минуту позабыл о своем намерении что-то выведать.

— Человеку, привыкшему самостоятельно думать, у нас нелегко, все подается в готовом виде — истины, линия поведения, даже фантазии. Я долго не верил им, критиковал решительно все. А теперь... Нужно иметь мужество признать свои ошибки. Я не скажу, что я был всегда неправ, но я перегибал. У нас многие смеялись, когда Геринг сказал, что пушки лучше сливочного масла, а ведь если у нас теперь бутерброды с маслом, то помогли пушки. Германия была обижена в Версале, вы это сами знаете... Какая-то жалкая Голландия жила во сто раз лучше. Теперь происходит исправление исторической несправедливости. Но я не скрою, отдельные детали мне не по вкусу... Конечно, евреи это опухоль, но то, что делается в Польше... Может быть, я отстал, я этого не могу принять. И все-таки это — детали. Рождается новая Европа. Вы не можете себе представить, как я рад, что мы не воюем против вас. Есть отличия в идеологии, но враг у нас тот же. Вы тоже не цепляетесь за прошлое. А многое... Не обижайтесь, я говорю это, потому что уважаю вас... Я знаю, что вы думаете самостоятельно. Многое у вас устарело... Возьмите хотя бы интернационализм...

Он остановился: говорить только я, так я ничего не узнаю...

— Почему вы молчите, господин Лукутин?

— Слушал вас. Ведь это в первый раз я встречаю живого фашиста. Интересно...

— Какой же я фашист? Фашисты это итальянцы, у нас их, кстати, презирают. А если вы думаете, что я — наци, вы ошибаетесь. Я расхожусь с ними в ряде вопросов. Вы можете со мной говорить откровенно, я не тупица-штурмовик. Что вы думаете о нашем сближении?

— Внешняя политика это дело сложное. А лично я фашизм... Простите, я привык к этому термину... Лично я фашизм ненавижу. Это нужно выгнать, не то все погибнет... Простите, я тороплюсь.

Он расплатился и, не подав Рихтеру руки, вышел.

Может быть, я говорил слишком резко? Но ведь я не дипломат... Хорош! И еще пробует сохранять достоинство... Придется с ними воевать, и жестокая будет война — Гитлер их выдрессировал. Такой Рихтер прежде что-то думал, а теперь он от всего освободился — от мыслей, от совести, от простой порядочности. Ай-ай, а еще страна философов!..

Он шел по улице Горького. Высокие дома четко выделялись на небе вечера: эти дома ему не нравились, но сейчас он почувствовал к ним нежность, как будто и на них замахнулся убийца с глазами рассеянного мечтателя. Нужно жить, говорил себе Лукутин, хотя бы для того, чтобы не пустить сюда Рихтера...

Встретив на заседании Сергея, он вспомнил спор с Бельчевым. Ему захотелось рассказать про встречу в кафе, но он не рассказал, только,

прощаясь с Сергеем, крепко пожал его руку — и к нему он почувствовал нежность, как к домам, к городу, к проектам новых заводов, к этой суровой, ясной и все же горячей, путанной, страстной жизни.

8

Вскоре после разговора с Лукутиным Рихтер покинул Москву. Увидев Гильду, он растерялся: как эта женщина может хорошесть! Он впился в нее глазами и с деланной развязностью сказал:

— В Москве много красивых девушек.

Она равнодушно ответила:

— Да?..

Он подумал: увлечена другим... И никогда он не узнает, что в сердце этой женщины!

Гильда стала спрашивать, что он видел.

— Город очень изменился, они много настроили. Одеты плохо. Еды много, я съedal по пяти пирожных. Люди довольно веселые. Самое страшное — размеры, уж до Москвы далеко, а я вспоминаю, как ехал в Сибирь... И сколько народу! Кишит на улицах... Ты знаешь, Гильда, все-таки неуютно от мысли, что это существует.. Фюреру виднее, но, с человеческой точки зрения, лучше опереться на Запад. Ведь Париж или Лондон нельзя колонизировать, это понимают даже сопляки из гитлерюгенд. А Россия — пустое место. Я там встретил одного знакомого, не коммунист, образованный человек, хорошо говорит по-немецки. А рассуждает... Так говорили наши коммунисты до тридцать третьего. Русские — неплохие люди, но они нуждаются в руководстве, мы должны им дать не только фельдмаршалов мысли — правителей, ученых, но и духовных фельдфебелей — народного учителя, фельдшера, даже полицейского на перекрестке — они абсолютно не умеют переходить улицу... Это колоссальная задача, но без этого немислима новая Европа.

— Курт, я ничего не понимаю. Неужели мы будем воевать с русскими? Это безумие! Сколько же можно воевать?

— Войны в обычном смысле слова может не быть. Мне сказал один авторитетный человек, что будет мирное или полумирное проникновение. Я сам не понимаю, что он хотел этим сказать... Вероятно, русские сдадутся еще быстрее, чем французы. По-моему, трудности встанут потом — освоить такую страну... Я тебе рассказал про этого знакомого из Кузнецка. Может быть, он разыгрывал непримиримого, потому что боится гепеу, а когда сила окажется на нашей стороне, перекинется... Не знаю. Во всяком случае, предстоят исторические события, это в воздухе...

Он пошел прогуляться. Берлин восхитил его своей четкостью: длинные прямые улицы с одинаковыми домами. Он подумал: в этом отсутствии фантазии самая прекрасная фантастика.

В Тиргартене играли дети. Статуи нежились на солнце последних теплых дней. Старики медленно курили бледные сигары. Было много военных; в том, как властно они прижимали к себе девушек, чувствовалось — это победители.

Рихтер прислушался к разговорам.

— Франц пишет, что у них все готово для десанта...

— В Вильмерсдорфе, пять комнат и большая ванная...

— С понедельника выдают голландский сыр и, знаете, настоящий — оттуда...

— Шмидт говорит, что все кончится к первому мая...

Рихтер радовался: какое спокойствие! Сейчас лондонцы трясутся — куда запрятаться — в метро, в щель?.. А здесь — уверенность, сознание своей силы. Стоит привести Лукутина в этот сад, к этим статуям, к этим детям, и он поймет, что никогда его мужики не выстоят перед такой организацией. В Россию приятно съездить, жить там нельзя. Роберт хорошо сказал: это «полярная Африка»... Почему Роберт приходил два раза к Гильде?.. С чертежами он мог подождать... Может быть, он увлек Гильду? Сумасшедшая женщина... Рихтер вдруг поглядел на себя со стороны и усмехнулся: Отелло!.. Но что поделаешь, такая у него натура. На людях он себя сдерживает, а Гильда знает, какой он бешеный. Вот тайна немецкого характера — вечный динамизм. Французы рассуждают, англичане — дельцы, русские — фантазеры, а мы несем, мы — это движение. Фюрер понял немецкую сущность, он дал нам цель, теперь мы соединяем душевный динамит с замечательной организацией. Почему я так боялся бури? Даже Гильду пугал. Пусть боятся другие, нам нечего бояться, буря — это мы.

9

Когда в театре падает занавес, героиня уже отстрадала, герой победил, когда актеры перестают выходить на последние жидкие хлопки, а у вешалки люди толкаются и говорят о своих повседневных заботах, можно увидеть в почти опустевшем зале девушку с глазами еще невидящими, которая живет отшумевшими страстями трагедии. Не та ли самая девушка в картинной галлерее подолгу стоит у старого портрета, ничем непримечательного, пытаясь разгадать тайну былой жизни? И не она ли, когда подружки бойко судачат о Жене или о Маше, вдруг беззвучно шевелит губами и про себя повторяет:

«Любовь, любовь, — гласит преданье, —
Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой»..

Такой была Валя. Мечтала она стать актрисой, а таланта не оказалось, только та высокая настроенность, которая принуждает жить искусством. Однажды с ней разговорился старый режиссер; он почувствовал нежность к этой трогательной и, как ему казалось, глупой девушке: «Выберите другое занятие. Что вам кино?.. Это — искусство для тех, кто смотрит, еще для сотни-другой избранных. Для вас это будет просто тяжелой работой. Будете весь день мерзнуть или потеть, потом снимут в толпе и никто вас не заметит. А повезет — лет через десять дадут роль — вы покажете поросенка председателю райсовета и многозначительно произнесете: «В Москву пошлем. На выставку»... Вот и все... Зачем вам это? Глаза испортите, да и себя испортите»... Валя от этих слов загрустила, но с мечтой не рассталась: у муз она готова была служить и судомойкой.

Ей было двадцать шесть лет, а жизнь ее оставалась туманной, как рассвет. Готовая обежать весь город, чтобы помочь подруге, она была неспособна что-либо сделать для себя, недаром мать называла ее «сонной». Глядя на Валю, доктор Крылов удивлялся: эта девушка казалась то некрасивой, то очаровательной, то живой и веселой, то отсутствующей.

Летом Валя поехала в Киев; радовалась, что увидит друзей из «Пиквикского клуба» — ее измучило одиночество. Мать закармила Валу. Отец робко спрашивал: «Как они в Москве говорят — выйдет из тебя что-нибудь?..» Валя в ответ улыбалась.

Раю она не узнала — капризная, растерянная, недоверчивая. Осип все еще был на Печоре, и Рая сказала Вале: «Ясно, что забыл... Я больше его не жду». Зину Валя не разыскала: со старой квартиры она съехала, никто толком не знал, где она. Галочка почти каждый вечер прибегала к Вале, расспрашивала про Москву, про Красную площадь, про театры. Но Валя, как все, относилась к Галочке снисходительно: хохотуша...

В один из первых киевских дней Валя пошла к Боре. Открыла дверь Вера Платоновна:

— Нет его, милая, услали. Город Тарнополь...

Она вытерла фартуком глаза, потом засуетилась:

— Садись! Вот какая стала, московская... Хорошо тебе там?..

И Валя не выдержала — расплакалась. Вере Платоновне она доверила то, что не могла сказать матери:

— Бездарная я. Ничего из меня не выйдет...

— Зачем такое говоришь? «Не выйдет»... Человек из тебя выйдет.

А без муки ничего не дается. Погоди, чай поставлю, все расскажешь...

Перед отъездом в Москву Валя каталась на лодке. Что-то екнуло в груди — берег был белым, зеленым, золотым, встало отрочество с его мечтаниями. Может, остаться?.. Здесь Рая, Галочка, вернется Боря... Можно пожаловаться Вере Платоновне... А главное — Киев! Кто здесь вырос, не будет счастливым в другом городе... Но было это минутной слабостью: в Москве институт, искусство. И Валя вернулась в Москву.

К Сергею она привязалась страстно, самозабвенно; после второй или третьей встречи знала, что любит его. Прежде она отгоняла призрак любви, люди, которые пытались за ней ухаживать, казались ей мелкими, пошлыми. Она боялась беглой нежности, как иные боятся пригубить стакан с вином — вдруг потеряю голову? Лучше быть одинокой. И разве это — любовь?.. Такие люди не могут глубоко чувствовать, для них любовь — забава. Чем же обольстил ее Сергей? Ведь не был он ни актером, ни поэтом. Может быть, мягкими серыми глазами на смуглом лице, порывистостью движений? Или тем, как вдохновенно рассказывал о вещах, которые прежде казались Вале скучными? Или просто так случилось — пришла наконец любовь?.. Встречи с Сергеем заполнили ее жизнь; теперь, просыпаясь, она знала, зачем день, с нею разговаривали номера трамваев, ее сводила с ума часовая стрелка.

Настала весна: и в ветреный солнечный день Москва зашумела; отовсюду капало, в переулках бурлили потоки, с крыш скидывали снег; ожили шаги на высохших сразу тротуарах; люди громко смеялись. Продавали мимозы, они больше не зябли, не ежились, были счастливыми и пушистыми. Счастливыми и пушистыми были глаза Вали, когда она пришла к Сергею. Уже смеркалось, и в комнате жили сумерки, они все меняли, из шкапа делала дерево, из коврика — лужайку; студентку Валу они припудрили, растрепали, пустили беладонну в глаза, и она глядела на Сергея огромными зрачками судьбы.

Ей было тревожно и радостно.

— Ничего из меня не выйдет. Хотела быть актрисой... Да мало что хочется!.. Для этого нужно родиться другой.

— Нужно много жить — в одну жизнь прожить сто, больше...

— Лермонтов умер совсем молодым... Как он успел? Может быть, он не чувствовал, а предчувствовал?..

- Это странное состояние, когда предчувствуешь... Вы знаете, Валя...
- Нет, не знаю! Только не говорите!..
- Сегодня в Москве, как на море перед бурей.
- Я не видала моря... Но это правда... Сережа!..

Она ему дала себя, свои еще неопытные губы, скрытую страсть, что долго хоронится, молчит, а прорвется — и такая в ней сила, такая тяжесть, что глаза тускнеют, пропадает дыхание. Валя сразу, как в сказке, стала женщиной, мудрой каждым движением своего тела, капризной и послушной, нежной, сумасшедшей, уж не той Валею, которая в стеснении думала, может ли она пойти к Сергею, — искушенной, понимающей. Она чувствовала за спиной Сергея годы, его былые увлечения, мужское непостоянство, мысли о другом, — может быть, о Париже или о мостах, или о звездах, все равно, только не о ней. Он — рядом, он еще порывисто дышит, не попадая в привычный ритм, еще принадлежит ей, всклокоченный, горячий, слабый, — такой не выйдет на улицу, даже не заговорит; но стрелка, ведь есть часовая стрелка!.. Вот и я схожу с ума, как Рая!.. Нет, не нужно думать, строить планы, проверять!

И Валя снова обнимала Сергея, находила его губы. Когда он зажжет свет, он изумился — никогда прежде он не видел ее такую, лицо стало прекрасным от счастья. Иногда вода глубокой реки бывает особенно прозрачной, и человек на лодке, припав к глади, видит дно; так можно в минуты большого и полного счастья увидеть душу любимой. А Валя, очнувшись, закричала:

- Ты сошел с ума! Погаси свет!

Сложными путями движется жизнь в часы острых чувствований. Почему чужая тень прошла украдкой по этой темной комнате? Листва аллеи, серая рябь далекой реки, запах роз и бензина, мастерская, заваленная холстами... Сергей вспомнил все; еще горячий от объятий, усомнился, спрелкнул себя в легкомыслии. Он ничего не сказал, но настолько все было обнажено в Вале, что она почувствовала, как он отделяется от нее, не спросила, не стала укорять или упрашивать.

— Ты меня не любишь ни чуточки. Но это все равно... Я такая счастливая, такая счастливая...

И с поцелуями смешивалась соль слез.

Живая победила: теперь, когда Валя думала, что Сергей далеко, он был с нею, побежден, предан ей, целовал ее слабые руки, говорил:

— Неправда! Люблю! И сразу полюбил... Еще осенью, когда встретил у Наташи ..

— Мне тогда Дмитрий Алексеевич гадал. Нагадал про тебя... Сережа, я такая счастливая, что мне стыдно! Я тебя прошу, не гляди на меня, я тебя умо-ляю!..

И она смеялась. Она начала говорить о лете — они вдвоем у моря, конечно, у моря, ведь она никогда не видала моря!.. Она вспомнила, как Сергей сказал про бурю, и стало снова тревожно.

- Сережа, мы ведь не расстанемся?
- Нет.
- Это правда?
- Ну, конечно.
- А войны не будет?
- Нет.

Он ответил искренно. Почему? Ведь Мадо он говорил другое, знал, что войны не избежать. Но сейчас он верил, что все обойдется, — так хотелось ему счастья: не мечты, не Парижа, похожего на призрак, не

Мадо, которая бродила по аллее Булонского леса, среди золота и пепла, нет, обыкновенного счастья, теплого, своего, как сад утром, как детство. Глядя на помятое платье Вали, он смутно подумал — ситцевого счастья... Он не мог себе представить войну — бессмыслица, страшные слова, барахтающиеся в эфире... А щека Вали, ее грудь, руки — это и есть счастье.

Они вышли вместе. Вечер был холодным, ветер прорвался в Москву, он дул как-то внезапно, порывами, дул в ярости, будто хотел опрокинуть деревья, задуть фонари. Сергей вспомнил — буря... И новое чувство он испытал: жалость, жалость к мирным будням, к теплым пятнам еще светящихся окон, а больше всего к Вале, которая доверчиво держалась за его руку. Заслонить, не дать в обиду, спасти!..

10

Морис Лансье очень изменился, сгорбился, полысел. Когда его спрашивали, как здоровье, отвечал: «Спасибо, тяну»... Он долго колебался — возвращаться ли в Париж? Он не любил немцев, и было обидно на старости лет жить по указке чужих, к тому же грубых людей. Однако безделье, которое он так ценил в счастливые времена, теперь его тяготило — с утра до ночи он вспоминал Марселину.

Берти приехал из Парижа, рассказал, что немцы ведут себя корректно, жизнь мало-помалу входит в колею. Берти удалось спасти «Корбей» от реквизиции. С «Рош-энэ» — трудности, немцы придираются к происхождению господина Альпера. Но если Лансье приедет, он сможет рассеять все недоразумения.

Лансье обрадовался: судьба освобождала его от выбора. Он сказал Мадо:

— Делать нечего — Берти нас увозит в Париж.

Увидев в ста шагах от «Корбей» немецкую надпись «Казино для офицеров», Лансье горько вздохнул: «Мама умерла во-время»... Может быть, бросить все, уехать в Лион или в Марсель? Там, по крайней мере, нет немцев... Но он вспомнил города, переполненные беженцами, загаженные гостиницы, длинные дни без дела. Зачем бессмысленно фрондировать? Даже герой Вердена поехал в Монтуар, чтобы договориться с Гитлером. Ничего не поделаешь — мы проиграли войну. Теперь немцы воюют не с нами, а с англичанами. Мы не при чем... Чем англичане лучше немцев? Хотели потопить наш флот... Господа-эмигранты защищают не нас, а своих новых хозяев. Мой завод будет кормить французов. Да, судари, французские рабочие не понимают ваших призывов к саботажу! Для вас главное политика, опять политика, вечно политика. А у рабочего дети, они хотят есть... Произнося про себя эти филиппики, Лансье думал о Луи. Мальчишка, куда он уехал? Им руководили благородные побуждения — начитался стихов. Романтика... Таким сыном можно гордиться... Но что он понимает в политике? Другие произносят речи, получают ордена, зарабатывают деньги, а мальчика убьют... Глупая и преступная авантюра! Ясно, что победят немцы. Как же связать судьбу Франции с развалинами Лондона?..

Вернувшись из комендатуры, Лансье сказал дочери:

— Конечно, я предпочел бы, чтобы они убралась во-свояси, но нужно быть справедливым — они вежливы и превосходно разбираются в наших делах. Как только я назвал свое имя, они начали говорить о «Рош-энэ». Обещают содействие... Жаль, что у нас не было таких энергичных и живых людей.

Лансье начал работать. По вечерам он перебирал табакерки или книги, порой собирал друзей. Ему хотелось воскресить прежнюю жизнь, но во всем был горький привкус. Лансье казалось, что рабочие глядят на него неприязненно; один как-то сказал. «Значит, служим Гитлеру»... Лансье вспыхнул: «Начитались листовок. Мне наплевать на политику. Я служу Франции». Рабочий усмехнулся: «Да я пошутил»... И это показалось Лансье самым обидным: не доверяют... В «Корбей» любая мелочь напоминала о Марселине. Не радовали Лансье и друзья — разговаривали вяло, нехотя. Изредка кто-нибудь спрашивал, скоро ли немцы высадятся в Англии, и так как люди, даже в тесном кругу, соблюдали осторожность, нельзя было понять, мечтает ли задавший вопрос о победе Германии или хочет ее поражения. «Стихи Поля Валери прекрасны, но в них холодок», — говорил Лансье; никто не возражал; разговор быстро сползал на другие, более низменные темы — о родственниках, которые присылают из Нормандии восхитительное масло, о какой-то Тони, способной раздобыть кило натурального кофе. Ни миниатюры, ни выцветшие фотографии не могли оживить Лансье; он вдруг откладывал любимую безделку и протяжно зевал. До чего неинтересно!.. А ведь прежде он этим жил..

Гордость «Корбей», суданского козла, съели. Лансье хотел превратить это печальное событие в праздник, он собрал старых друзей и приготовил свехпикантный соус, способный придать старому козлу вкус нежнейшего барашка. Пришли Самба, Нивель, доктор Морило, Дюма. Увидев профессора, Лансье обрадовался—ведь Дюма стал отшельником, говорил: «Не выхожу — все улицы ими провоняли»... Лео не пришел, хотя Лансье его позвал. Когда при Лансье заговаривали об его бывшем компаньоне, он вспыхивал: «Это ужасно!..» За что страдает Лео? Немцы толковые люди, у них передовая наука, но в этом пункте они сумасшедшие... Почему они привязались именно к евреям? Нет, лучше об этом не думать. А Дюма, как нарочно, спросил:

— Альпер придет?

— Можете поверить — я его звал. Но он предпочитает одиночество.

— Хорошо делает, — прорычал Дюма. — Меньше подлецов видит.

Нивель, желая разрядить атмосферу, сказал что-то о величии анахоретов. Молча съели суданского козла. Лансье попытался заговорить о музыке. Нивель ответил: «Что касается Вагнера»... Дюма встал, выбил на ковер пепел из трубки и сказал:

— Покушали, потолковали, можно по домам... Знаешь, Морис, все это смахивает на пародию...

Такой пародийной жизнью жил город. Выходили газеты с прежними названиями — «Пари суар», «Пти паризьен», «Матэн», в них мелькали хорошо знакомые подписи. Еще недавно эти газеты обличали немцев, теперь они прославляли Гитлера. Никого это не удивляло. Перестали удивлять и элегантные парижанки, которые прогуливались по Елисейским полям с немецкими офицерами. Работали на немцев, продавали немцам, покупали у немцев. Актеры, выходя на аплодисменты, поворачивались к ложе, где сидел немецкий генерал. Ширке, вернувшись в Париж, как победитель, скромно заявил: «Мы ничего не хотим навязывать, мы будем вдохновлять»... И в светских салонах начали говорить о расовой чистоте, о возвращении к здоровым сельским нравам, осуждали свободомыслие, погубившее Францию, прославляли духовную иерархию и суровое воспитание. Были открыты и театры, и ателье мод, и банки, и дома терпимости; не было только той воли, которая придает разрозненным сокращениям мышц единство жизни. Подделка никого не обманывала. Замы-

словатые прически должны были заменить новые платья, но по-модному причесанные красотки выглядели печально — их лица выдавали госку, лишения, страх. Разговоры о театральной премьере или о вернисаже неожиданно прерывались восклицанием:

— Роже достал литр прованского масла!..

Немцы старались быть изысканными, уступали в метро место дамам, говорили «пожалуйста», «простите», «спасибо». Арестовывали гольку по ночам; и ночью люди прислушивались к гудкам машин, к шагам на лестнице.

Писатели, чьи книги красовались в витринах книжных лавок, возмущались француженками, которые стали любовницами немцев. А проститутки брезгливо отворачивались, проходя мимо книжных магазинов. Где-то в подполье смелые собирались, тискали на самодельных ротаторах крохотные листовки, звали к борьбе, к подвигам, к жертвам; но их было мало, и человеческие слова терялись среди шёпота, шушукания, гогота, топота. Люди презирали друг друга, и пуще голода презрение к себе сосало сердце Парижа.

Лансье наконец-то решил поговорить с Лео о ликвидации деловых взаимоотношений. Берти спас «Рош-энэ». Будь другое время, Лансье смог бы компенсировать совладельца. Сейчас это слишком трудно... Лансье говорил себе: конечно, это не очень красиво с моей стороны, но другого выхода нет... Почему я должен ради Лео ограбить Мадо?..

Лансье давно не был у своего друга. Наверно, Лео мрачнее ночи... Все будет, как на похоронах... А Лео встретил его веселым криком:

— Эге, полысел! Ты знаешь, на кого ты теперь похож? На римского сенатора.

Леонтина была бледная, худая, она никак не могла поправиться после смерти ребенка. А Лео не унывал — что-то выпиливал, поливал цветы, насвистывал. Лансье начал издавека — о безумии немецких постановлений. У дружбы свои права... Но приходится жить... Мадо... Лео его прервал:

— Морис, можешь не стараться, я не маленький. Я ни на что не рассчитывал и не в претензии...

Лансье обрадовался — тяжелое позади. Теперь перед ним старый друг, можно поговорить по душам. Интересно, что думает Лео о войне? Есть ли у англичан какие-нибудь шансы? Там как-никак Луи. И потом, даже если признать, что немцы лучше англичан, все-таки приятно — вдруг выгонят?.. Впрочем, хватит этой проклятой политики! За Мадо ухаживает Берти, у этого человека золотое сердце, но она как будто равнодушна — капризы балованной девочки... Дюма — непримирим, на все смотрит принципиально, с ним теперь скучно... Нивель все такой же, выпустил новую книгу. Смешно — где-то падают бомбы, тонут корабли, умирают греки, а в Париже все понемногу налаживается... Суданский козел оказался очень сочным, но мясо жесткое, его мочили в уксусе, потом долго тушили.

— Мы так жалели, что тебя не было. Даже Дюма выполз из своей норы... Обещай, что в следующий раз ты придешь.

— Нет, Морис, не приду. И ты меня не зови. Я знаю, что ты — верный друг. Но теперь мы — две касты... Зачем я буду тебя компрометировать? Ты — ариец, так они говорят. Ну и хорошо, я рад за тебя, по крайней мере, с тобой они немного церемонятся. Меня они решили уничтожить своим презрением. Не удастся — нервы у меня крепкие. Но пока что паршиво...

— Ты думаешь, мне весело?

— Нет, этого я не думаю. До немцев тебе было веселее. Только тебя они оставили без трюфелей, а меня топчут сапогами.

Лансье обиделся — Лео считает, что все дело в трюфелях, в былых удобствах. Как никак я француз!

— Может быть, они тебя оскорбляют больше, это их конек... Но дело не в частных обидах. Я — француз! Понимаешь? Если Франция исчезнет с лица земли, ты сможешь уехать в Киев, в Америку, не знаю куда. А что я буду делать? Я, Морис Лансье из Ниора?..

Лео громко зевнул:

— Брось! Все это я знаю из немецких газет. Ты, кстати, оказался восприимчивым, подаешь надежды... Лучше расскажи, как вы сожрали этого африканского буйвола?

Лансье кипел. Он еле сдержал себя, чтобы любезно проститься с Леонтиной. Уходя, он думал: ноги моей здесь больше не будет! А спустившись вниз, поднялся назад — все в нем мешалось: раскаянье, злоба, обида, жалость. Он сказал Лео:

— Мне показалось, что я забыл перчатки, а они в кармане. Я стал ужасно рассеянным... Слушай, Лео, мы не должны ссориться. Можешь не приходить, это твое дело. Но если тебе понадобится моя помощь, помни — я не остановлюсь ни перед чем...

Лео был растроган. Когда Лансье ушел, он сказал Леонтине:

— Если что-нибудь случится, Лансье выручит. Не нужно падать духом! Есть много хороших возможностей...

— Я их не вижу, Лео.

— Пожалуйста! Англичане могут разозлиться и высадиться где-нибудь в Гамбурге. Или американцы объявят войну. А русские? Ты забыла? Это особая статья, я их видел — фанатики! Они не будут сдаваться в плен и делать гамбургские бифштексы из суданского козла. Или вдруг Гитлер умрет. Или его убьют. Почему среди немцев не найдется человек с башкой? Или...

Он замолк. Печально улыбаясь, Леонтина спросила:

— Или?..

— Мы можем вечером уснуть и проснуться в раю. Вдвоем. Море, оливы, чайки. И ни одного человека.. Любовь моя, жизнь, мой рай!..

И Леонтина все с той же улыбкой уснула, положив голову на руку Лео.

Лансье не мог успокоиться, сильнее всего его взволновала деловая часть разговора, к которой Лео огнесся равнодушно. Лансье было стыдно, поэтому он обвинял Лео. Ночью ему показалось, что у него сердечный припадок, как у покойной Марселины. Он едва дождался утра, чтобы позвонить Морилу.

Доктор его выслушал и улыбнулся.

— Продовольственные затруднения хорошо отразились на вашей печени. А сердце, как у юноши...

— Но что со мной было ночью? Я задыхался, не мог уснуть...

— Нервы. Мировая тоска. Должно быть вас что-нибудь взводило.

— Это правда, у меня был неприятный разговор с Альпером. Я, кажется, погорячился... Вы знаете, как я за него страдаю... Но приходится считаться с их постановлениями, в этом пункте они непримиримы. Я ему выложил всё. А он начал доказывать, что я ничего не чувствую. Согласитесь, что это обидно. Я, кажется, был у Вердена... И кто мне даст уро-

ки патриотизма? Он может завтра куда-нибудь уехать... Слов нет, это талантливые люди, но они устраиваются повсюду. И если хорошенько задуматься...

Морило захохотал — он нестерпимо громко смеялся.

— Видите, как быстро ваш организм справляется с любой угрозой. Только-только вы собирались заболеть меланхолией, и уже найден выход — «если хорошенько задуматься»... Ну, я спешу, меня ждет один пациент, к сожалению, у него не мировая тоска, а вульгарный рак.

11

Мадо внешне жила, как все. На ее руках оказался привередливый отец, который хотел, чтобы она была образцовой хозяйкой дома. Она ходила на рынки, разговаривала с женщинами о мелких невзгодах; старалась помочь другим; часто бывала у Альперов, развлекала Леонтину.

Когда Мадо задумывалась над встречами, разговорами, ей казалось, что все вокруг умерли и, мертвые, зачем-то разыгрывают комедию прошлой жизни. Лучше бы сожгли Париж!.. Да, во сто крат лучше смерть, чем эта подделка под человеческое существование. Но люди с такой настойчивостью цеплялись за видимость жизни, за плитку шоколада, за пару чулок, что Мадо спрашивала себя: может быть, они правы?..

Она спросила Самба.

— Что теперь делать?

Самба смутился. Как все, он пошумел, поругался и вернулся к своей работе. Вопрос Мадо его взволновал.

— Не меня спрашивать, Мадо. Я не герой... До войны меня упрекал Лежан, что я отгораживаюсь от жизни. Я ему ответил: будет драка — поеду... Не знаю, может быть, если бы на улице стреляли, я пошел бы... Но где эта драка?.. В искусстве я не поступлюсь ничем. А лезть на рожон?.. Не умею.

Мадо подумала: и он, как все... Пишет картины, другой дорожит службой, третий получил еврейский магазин и радуется. Самба сказал о Лежане. Не раз Мадо думала о нем, о Жозет, о молодом рабочем на черной улице. Что они делают? Наверно, не сдались, верят, борются... Жозет не найти — уехала, может быть скрывается под другим именем...

Однажды Мадо была у доктора Морило. Он нервничал, то и дело глядел на часы. Она думала, что ему нужно к больному. Но он вдруг бросился к приемнику, зашипел «тсс». Раздался стук, как будто кто-то стучал в дверь. Потом диктор начал рассказывать, что взята Асмара. Морило шепнул «здорово!» Мадо не знала, где Асмара. Диктор говорил, что настоящие французы продолжают бороться вместе с Англией. Это о Луи, — подумала Мадо... Но и Луи далеко, как Асмара, как Жозет... Когда радио смолкло, Мадо спросила Морило:

— Вы верите, что немцев прогонят?

— Не знаю... Во всяком случае, их прогонят не французы. Мы были большим государством, теперь мы немецкая база и возможный театр военных действий...

И Морило ни во что не верит!..

Вечером Лансье сказал Мадо:

— Я себе представляю, как радуются русские нашему унижению...

— Откуда ты знаешь?

Отец работает на немцев, ему противно, он хочет, чтобы весь мир был низким — тогда ему легче... Что сейчас думает Сергей? Она не знает, не узнает никогда.

Вокруг Мадо была пустота. Только один человек не сводил с нее глаз, следовал за нею, ею жил — это был Берти, которого считали сухим и бесчувственным.

Был один из первых вечеров весны. Каштаны — что им немцы? — уже протягивали к небу свои белые свечи. Мадо и Берти шли по аллее. Мадо смутно подумала: и это подделка... Берти говорил:

— Можете ли вы представить себе сердце сорокалетнего мужчины, который занят рудой, цехами, поставками, акциями? Пустыня, и та зеленее. Я хочу вам сказать, что чудеса бывают. Я пробовал бороться. Два года я проверял себя. Теперь я твердо знаю — я не могу жить без вас. Вы недавно сказали, что цените мою дружбу. Мадо, это не дружба, это бешенство... Зачем мне скрывать? Я не школьник и не боюсь показаться смешным. Вы должны стать моей женой.

Она растерялась — так это было неожиданно и столько воли было в голосе Берти.

— Но это невозможно... — Она подыскивала слова. — Вы не должны меня осуждать, но это невозможно... Я очень ценю ваше отношение ко мне. Вы столько сделали для отца, для покойной матери... Я никогда не думала... Нет, это невозможно...

— Почему?

— Вы не знаете, что со мной...

— Вы изранены...

— Нет, убита.

— Я верну вам жизнь. Вы должны стать моей женой.

— Но это невозможно... Я вас не люблю.

— Я это знаю, и я знаю, что вы меня полюбите. Вы должны стать моей женой.

Она не выдержала, убежала. А на следующий день он оказался снова рядом и тем же сдержанным, но властным голосом повторял: «Вы должны стать...» И через день снова. И так каждый день. Он писал ей длинные письма, полные жестокой логики, и короткие записки со словами, недописанными в ярости. Он умолял, настаивал, требовал. Он звонил по телефону, ждал у дверей, заполнял ее комнату душистыми цветами, письмами, шепотом. Днем и ночью она слышала «Вы должны...» Он был безрассуден в своей страсти. А она?.. Что могла она противопоставить его чувству, воле, упорству? Только тихое отчаяние, притупившуюся боль, безразличие.

И вот расстроганный Лансье закричал:

— Для такого события найдется хорошее шампанское, я сам от себя спрятал целый ящик. Как будто предчувствовал...

Мадо решила покориться. Ее поздравляли; одни, восхищенные, говорили об уме, о красоте, о талантах господина Берти; другие, завидуя, подчеркивали, что в наш век купидон обзавелся золотыми стрелами. Она всем улыбалась, благодарила. Лансье был в упоении:

— Ужасно, что мама не дожила... Теперь я тебе могу сказать: когда у меня было критическое положение, он нас спас. Он столько сделал для нашей семьи! И потом это — настоящий француз. Я слышал, как он разговаривал с немцами — если бы все сохраняли такое достоинство...

Нивель поднес Мадо книгу своих стихов с надписью:

«Если можешь умереть, умри,
Не гляди, не плачь, не говори».

Мадо подумала: он издевается и прав. Впрочем, и он такой — пишет стихи о Персефоне и остался в префектуре, служит немцам. Не ему меня судить...

Только Самба вывел ее из спокойствия:

— Всего от вас ожидал. Могли отравиться, или выйти замуж за сиамериканского короля, или погибнуть где-нибудь в Мадриде. Но стать госпожой Берти... Право, не стоило огород городить...

Она закрыла лицо руками, как будто ее ударили. Нужно стерпеть и это... Я знала, на что иду. Послушно она надела подвенечное платье, послушно ответила «да». А когда они оказались вдвоем в огромном пустом доме Берти, она погрузилась в небытие. Все, что в ней оставалось живого, была воля — не вскрикнуть, не выдать себя.

Рассвело. Она поглядела на Берти, он спал; его длинное лицо на подушке напоминало старинный рисунок — восковые щеки, черные волосы, нос с горбинкой, тонкие бесцветные губы. Она не чувствовала ни возмущения, ни обиды, ее мучила тошнота, как будто вся грязь Парижа, ночи с немцами, блудливые улыбки, расточаемые победителям, доносы, гестаповцы, надушенные духами «Шанель», очереди в венерических диспансерах, спекулянты, отрыгивающие в дорогих ресторанах, рагу из кошатины в котелке бедняка, пот ганцулек, где эсэсовцы танцуют с дочками поставщиков, чужие обсосанные окурки, зловоние толкучек, все нечистоты, весь смрад города заполнили эту чересчур чистую, пустую комнату. Теперь и я такая... Какое сегодня число? Двенадцатое... Год назад пал Париж. Чего мне кривляться — с этим или с другим — все равно... Еще хорошо, что не с немцем...

Она стояла у окна, оно выходило на бульвар. Было раннее утро, и присутствие людей не оскверняло торжественности часа. На деревьях пели птицы. Окна чердаков розовели, как горные ледники. Почему именно в эту минуту Мадо вспомнила Сергея, о котором давно не думала, вспомнила их последнюю встречу, слова о спасительной силе любви? Ощущение было настолько сильным, что, молча перенесшая жестокую ночь, она вскрикнула. Берти не проснулся, а если бы и проснулся, он не добился бы от нее ни слова. Дыша свежестью утра, она говорила с Сергеем, обещала ему очиститься от этого ужаса, звала на помощь любовь, может быть и поздно, но страстно, сурово звала, готовая на подвиг, на жертву.

В те часы она чувствовала себя сильной, полной решимости; а на следующий день вернулись растерянность, ощущение обреченности. Она сказала Берти:

— Вы видите, что мы не можем жить вместе...

Ее голос выдавал слабость. Берти спокойно ответил:

— Я от вас ничего не требую. Вы можете жить здесь своей жизнью. Неужели вас тянет в «Корбей»?..

И как будто нарочно вбежал в комнату сияющий Лансье.

— Я так счастлив за тебя, Мадо!.. Я решил устроить небольшой вечер в честь Нивеля по поводу его новой книги. Вы, конечно, будете у меня. Я постараюсь приготовить настоящий довоенный ужин...

И Мадо подумала: чем вправду «Корбей» лучше?..

Молодые супруги жили рядом как чужие. Мадо казалась спокойной, даже равнодушной. Берти едва сдерживал себя. Он готов был на все, чтобы выклянчить ласку. Прежде он надеялся, что время сгладит все, теперь он понимал, что никогда не завладеет сердцем Мадо, и терял голову от неразделенного чувства.

Мадо часто уходила куда-то. Берти ревновал, терялся в догадках. А она бродила по серым окраинам города. От ветра, который дул с Ламанша, ей становилось легче, как будто до нее доходила чужая жизнь. Этот ветер был слабым замирающим голосом океанских штормов. Мадо шла ему навстречу, и легкая улыбка освещала ее измученное, но все еще прекрасное лицо. Она сама не знала, что это — начало выздоровления или агония?

12

В трактирах Дижона хорошо знали ефрейтора Келлера, который, изъясняясь по-французски, не путал звуков «б» и «п», как другие немцы, и даже умел отличить старое бургундское от скверного алжирского вина, вполне удовлетворявшего его сотоварищей. Келлер был известен также тем, что похитил сердце трактирной служанки Мими, которая открыто говорила, что ни на кого не променяет своего немца. Полк стоял в городе с прошлого лета, и Келлер чувствовал себя старожилом.

Если бы три года тому назад скромному гейдельбергскому доценту сказали, что он станет бравым солдатом, навсегда кабаков, любовником распутной француженки, он не поверил бы. Прежде, когда он думал о войне, она представлялась ему жестоким и бессмысленным делом. Прочитав в студенческие годы роман Ремарка, он понял, что человек не может существовать среди рвущихся снарядов; он считал, что это поняли все, и когда при нем заговаривали о возможности близкой войны, он усмехался — глупости, дипломатические маневры...

Он не успел опомниться, как очутился в Бельгии. Он очень боялся предстоящих боев, стыдился своего малодушия и в разговорах с товарищами бравировал: «Какая же это война!...» А его подташнивало от далекого грохота корпусной артиллерии. Его полк не принял участия в первых сражениях, их двинули, когда фронт был прорван. Офицеры говорили, что предстоит приятная экскурсия по винным погребам Шампани. Однако возле Эперне они неожиданно натолкнулись на сопротивление — полсотни французов засели в рошице. Грузовик, на котором ехал Келлер, обстреляли, убили двух его товарищей, четырех ранили. Келлер от ужаса окаменел, вместо того, чтобы лечь, он выпрямился и стал зачем-то протирать стекла очков. Его привела в себя команда офицера; он лег и стрелял, как другие. Час спустя они очистили рошу от неприятеля. Когда Келлер увидел десяток французов с поднятыми руками, им овладело веселье, он понял, что жив, и возвращенная жизнь была слаще прежней. В тот вечер, отступив от своих привычек, он напился в прохладном погребе, который пахнул вином, потом спал с какой-то девушкой. Подумав утром о Герте, он не испытал угрызений: на то война, днем рискуешь жизнью, ночью развлекаешься...

Война вскоре закончилась, а развлечения остались, осталась и вновь обретенная уверенность в себе. Когда Келлер зимою приехал в отпуск, Герта его не узнала: смешно сказать, но Иоганн в тридцать два года стал мужчиной! Он очень громко разговаривал, пил кириш, а когда она сказала, что нужно сделать первый визит декану, прикрикнул: «Не твое дело!» Она обиделась и обрадовалась: таким Иоганн ей нравился больше прежнего. Вечером он ее целовал и дразнил; она вспоминала изящных француженок из «Фоли-бержер» и растерянно вздыхала, как в годы девичества. Конечно, Иоганн изменяет ей, глупо его упрекать — война...

Когда она спросила мужа, страшно ли на войне, он ответил:

— Страшно. И захватывает... Вероятно, в человеке остается что-то детское, а это — игра, жестокая, но увлекательная.

Он понимал, что судил о многом только по книгам. Конечно, он не участвовал в настоящей битве, но все же он повоевал, его рота потеряла шесть человек. Он вправе говорить о войне, как фронтовик. Страшно, пожалуй, всем, но страх это как аппетитные капли перед обедом, он разжигает вкус к жизни. Когда Келлер сидел у себя дома в ночных туфлях и ждал гестаповцев, было страшнее... Есть в войне нечто отвечающее человеческой природе. Писатели этого не поняли, отделивались гуманными рассуждениями и слезами. А вот Гитлер понял. Не здесь ли причина его успеха? Он нас объединил, разбудил воинственные инстинкты, повел в драку, теперь мы связаны общей порукой. Разве я наци?.. Я вижу, как они исказили антропологию... Но сейчас я за Гитлера — нужно взять Лондон, не то всем нам придется расплачиваться за Париж...

Когда он вернулся в Дижон, Мими показалась ему еще более обволаживающей. Она говорила:

— Ты знаешь, почему я тебя люблю? Ты — животное, да, да, не спорь, именно животное! Хотя ты — профессор, но я тебя уверяю, ты настоящее животное. Французы много говорят про любовь, а они никогда не теряют голову. Они все время смеются... А тебе стоит снять очки, как ты превращаешься в быка...

Он не понимал этой девушки, она вдруг начинала плакать, ругала себя, говорила ему, что очень счастлива, и в самые нежные минуты шептала: «Бык! Проклятый бык!..» Глядя в ее глаза, нежные и порочные, он думал: какая в ней грация и бесстыдство!..

Он не забывал семьи, посылал шоколад, колбасу, мыло; аккуратно через день писал Герте и в конце каждого письма ставил: «Тысяча поцелуев».

Ему нравилась Франция, ее холмы с виноградниками, готика церквей, узкие крутые улицы со ступенями, наглухо закрытые ставни домов, женщины в черном, звонкая речь, меткость выражений, живость глаз. Он чувствовал себя туристом, освобожденным от скучной обязанности на каждом шагу вытаскивать бумажник. Знание языка облегчало ему жизнь; он подчеркивал, что понимает и любит эту страну. Когда он замечал в глазах или в голосе недоброжелательство, он дружелюбно говорил: «Вы не должны на меня сердиться, я здесь не по своей воле. Война ужасная вещь!..» Бывало это не часто, и Келлер считал, что французы, хотя и стеснены присутствием иностранных гарнизонов, не питают к немцам никакой вражды.

Две недели он не видел Мими, скучал и злился. Наконец она пришла. Он заметил на ее теле синяки.

— Что это?

— Упала.

— Ты врешь и притом глупо...

— А ты не приставай, тебя это не касается...

Он понял, что глупо устраивать сцену ревности; да и был он в благодушном настроении. Насытившись поцелуями, он хотел поговорить, подумать вслух. Конечно, Мими плохой собеседник... Но она рядом, а приятелей у него нет, товарищи спят, пьянствуют или, как он, пропадают у девушек.

— Я к тебе привязался, Мими, а ведь ты — настоящая французенка. Удивительно, как эта война сблизила всех! В моей роте славные ре-

бята, они не имели никакого представления о Франции, а теперь говорят: «Хорошие люди и живут хорошо»... Конечно, бывают трения, мы ведь непрошенные гости... Но, по-моему, и французы нас поняли, даже полюбили. Ты встречаешься с разными людьми, интересно, что говорят в городе?

Мими громко засмеялась.

— Меня так излупили, что еле домой добралась.

— Кто?

— Не знаю кто... Французы.

— Я ничего не понимаю... За что?

— А я понимаю... Я тебя люблю, но я знаю, что это — огромное свинство. Когда вы отсюда уберетесь, меня прирежут, можешь быть уверен...

Келлер подумал: все-таки в них много коварства. Улыбаются, а за спиной... Герта права — я чересчур наивен.

Он зашел в незнакомое кафе, у стойки выпил большой стакан коньяку. Ему было очень тоскливо, а, будучи человеком уравновешенным, он плохо переносил редкие приступы душевного смятения. Ему хотелось поговорить, объяснить, что он любит Францию, обличить скрытых врагов. На беду в кафе никого не было, кроме старичка, бедно, но опрятно одетого, с ленточкой в петлице — отставной профессор лица или общипанный войною рантьер?.. Келлер попробовал заговорить с толстой, сонной хозяйкой:

— Хороший вечер, сударыня, настоящая весна.

— Неудивительно, сударь, ведь конец мая...

— Может быть, вы закрываете и я вас задерживаю?

— Нет, сударь, у вас еще час времени.

Она вышла в заднюю комнату. Старичок приветливо улыбался. Келлер подошел к нему, вежливо спросил:

— Разрешите подсесть?

Старичок не ответил: это вывело Келлера из себя; в его дальнейшем поведении сказались и разговор с Мими, и коньяк. Он сел верхом на стул, широко расставил ноги.

— Вы, что, разговаривать не хотите?

Старичок попрежнему молча улыбался.

— Пора бросить эти повадки! Я вас заставляю разговаривать... И напрасно вы улыбаетесь. Верден, это древняя история, а я видел, как ваши генералы сдавались. Вы, что же, думаете сразить меня молчанием? Это хамство!..

— Сударь, вы напрасно сердитесь, господин Шампильо глухонемой, его все знают, у него живет ваш офицер...

Келлер выругался и в злобе хлопнул дверью. Чёрт бы их побрал, все они прикидываются глухонемыми!.. Ночью он не спал, болела голова, лез в голову розовый старичок с отвратительной улыбкой, синяки на спине Мими... Гадость! Все гадость — и французы, и война, и я — хо-рош ученый, устраиваю скандалы...

Неделю спустя Келлер узнал, что его полк направляют в Германию. Он обрадовался встрече с Гертой, с детьми. А потом огорчился: значит, война для него закончена. Впереди — пресная жизнь, разговоры Герты о карточках, о талонах, интриги Клитча. Через год все забудут, что он — фронтовик, будут смеяться над его рассказами. Ничего не поделаешь, это жизнь...

Грустно было расставаться с Мими, для него она олицетворяла Францию, грешную и милую. Он думал, что она будет плакать, попро-

сит взять ее с собой. Но, узнав, что Келлер уезжает, Мими спокойно сказала:

— Наверно, тебя пошлют в Египет или еще куда-нибудь. Я убеждена, что вас всех перебьют. Мне тебя жалко, это потому что я — дура. А других мне не жалко и себя не жалко. Меня-то обязательно прирежут, и за дело...

13

Берти находил в работе некоторое успокоение. Кроме Мадо, у него была другая страсть — честолюбие. Прежде он называл себя сверстником двадцатого века; теперь, усмехаясь, он говорил: «победил мой век». В его представлении победили не чужеземцы, а новые идеи, нормы, навыки. Разговаривая с немцами, он видел, что они повторяют его мысли; соглашаясь с ними в душе, он умно и язвительно спорил — хотел подчеркнуть свою независимость. Пусть немцы видят, что меня не возьмешь комплиментами. Кто к ним пошел? Отбросы, десять глупых фанатиков и десять тысяч мошенников. Я им нужен, это бесспорно. А я не выживший из ума Петэн. У меня есть идеи, амбиция, воля. Никогда я не стану прислужником немцев. Но если они окажутся достаточно умными и гибкими, я могу стать их союзником. Это будет настоящим патриотизмом — дело не только в том, чтобы отстоять свое место во Франции, но и в том, чтобы отстоять место Франции в новой Европе.

Заводы Берти работали на полном ходу — изготавливали грузовики для немецкой армии; и Берти чувствовал себя причастным к грандиозной эпопее — его машины проходят по всем дорогам Европы — от норвежских фиордов до Фермопил. Они и в Африке... Они будут в Англии. Берти был уверен в победе Германии и, когда Мадо однажды спросила его, что будет с Францией, он ответил: «Лучше быть простым солдатом в армии победителей, чем маршалом армии побежденных»... Как-то пришел проведать Мадо доктор Морило, он выслушал Берти, который говорил о победе новых принципов, а потом с грубоватой вежливостью спросил:

— Вы не боитесь, что англичане раздолбают ваши заводы?

Берти усмехнулся:

— Это исключено...

Морило был настолько изумлен его ответом, что потом сказал своей жене: «Вероятно, Берти связан с англичанами, слишком он уверен»...

А Берти был уверен в близком разгроме Англии.

Он добился того, что немцы с ним держались почтительно. «Ни один немец без моего разрешения не войдет ко мне», заявил он еще в начале оккупации, и, действительно, немцы относились к его заводам, как к небольшому государству.

Среди влиятельных немцев, с которыми ему приходилось встречаться, был Рудольф Ширке. Бывший владелец бюро «Европа» занимался самыми различными делами — и прессой, и культурной жизнью Франции, и беседами с крупными фигурами парижского общества (Ширке называл такие беседы «несентиментальным воспитанием»). Берти ценил в Ширке знание Франции, разносторонность, а главное смелость — другие немцы сплошь да рядом отмалчивались, оттягивали решение, запрашивали Берлин, а Ширке сразу отвечал «да» или «нет».

Был один из первых знойных дней, когда Берти сказал Мадо:

— Сегодня у нас обедает господин Ширке. Я понимаю, что это вам неприятно. Это неприятно и мне. Но приходится со многим считаться...

Я не связан делами с этим немцем и пригласил его для того, чтобы указать ему на недопустимость ряда мер оккупационных властей...

Ширке был чрезвычайно любезен, отпустил несколько комплиментов хозяйке дома, восторженно отозвался об обстановке — «у вас северный вкус». Берти говорил о тупости и бесцеремонности немцев. Ширке внимательно слушал, иногда что-то записывал в книжечку, говорил мягко, даже виновато: «увы, у нас много солдафонов»...

Потом разговор перешел на общие темы. Всех в те дни занимал один вопрос: куда двинется германская армия после блистательного завершения операций на Балканах? Берти заметил, что Ширке возбужден, и приписал это старому «шатонеф-дю-пап» — он ведь следил за бокалом гостя. Ширке сказал:

— Я не выдам военной тайны, если скажу, что мы на пороге последней кампании. Судьба Британской империи решится на Востоке...

— Я с первого дня был уверен, что вы повернетесь, рано или поздно, против коммунизма. Но борьба будет трудной, очень трудной. От вас зависит, будем ли мы в этой борьбе с вами. Прошел год, а вы ничего не сделали, чтобы сблизить наши народы. Если вы хотите запугать или одурачить французов, вы ошибаетесь. Вопрос поставлен прямо — какое место должна занять Франция в новой Европе?

Может быть, действительно потому, что вино было отменным и Ширке не рассчитал своих сил, может быть потому, что за час до обеда он узнал о решении фюрера, но на одну минуту он потерял душевное равновесие, вытер лоб салфеткой и сказал:

— Место Франции в новой Европе? У вас есть хорошая пословица — коза щиплет траву там, где ее привязали.

Мадо встала и, не говоря ни слова, ушла. Ширке сразу понял, что он совершил бестактность. С подчеркнутой любезностью он возвратился к претензиям Берти, обещал принять меры, говорил о том, что в предстоящей войне Германия и Франция будут союзниками, несколько раз повторил: «нас свяжет солдатская дружба».

Все же у Берти остался после этого разговора отвратительный привкус. Вечер был душным, болела голова. Берти долго ходил по большиим и пустым комнатам своего дома. Наконец он робко постучался в комнату Мадо. Она не ответила. Он приоткрыл дверь. Мадо сидела в кресле возле окна. Он ее окликнул, она не отозвалась. Он осторожно подошел к ней, сказал «вы должны меня простить», хотел поцеловать ее руку. Она отняла руку и тихо, почти шепотом сказала:

— Не нужно меня трогать... Я боюсь, что я могу вас убить.

14

Перед отъездом из Франции Келлеру удалось побывать в Париже. Он давно мечтал снова увидеть город, который перед войной показался ему сказочным. Тогда он чувствовал себя связанным и заботливостью Герты, и наставлениями доктора Кенига, и недружелюбием французов. Теперь он проходил по улицам Парижа одинокий, свободный, гордый — не было в нем ни страха, ни былой приниженности, и хотя город потускнел, полинял, он пленял Келлера.

В первый же день он решил навестить профессора Дюма. Правда, за год я сильно отстал от науки, но профессор понимает, что война не рабочий кабинет. Приятно встретить знакомого француза. Да и Дюма обрадуется, что немецкий ученый пришел засвидетельствовать ему свое уважение... Келлер не договаривал себе главного: после посеще-

ния Дюма у него остался неприятный привкус — он вел себя тогда, как мальчишка, и хотел предстать перед французским ученым в более выгодном свете.

Когда он подымался по крутой лестнице, ему пришло в голову: вдруг Дюма не захочет со мной разговаривать? Ведь есть среди них непримиримые... Нет, не может быть — он и Дюма прежде всего люди науки, между ними не может быть рва.

Дверь открыла Мари; она не признала в немецком солдате гостя, который отнесся равнодушно к ее кулинарным талантам, прибежала к профессору с криком:

— Немцы!..

Дюма спокойно сказал:

— Пускай обыскивают. А может быть, они за мной?..

Он застегнул пиджак и, выйдя в переднюю, прорычал:

— Если за мной, не буду вас задерживать.

— Вы меня не узнаете, господин профессор? Иоганн Келлер. Перед войной вы оказали мне высокую честь...

— Ах, это вы!.. Индеец... Хорошо, заходите. Теперь ведь такой маскарад, что не разберешь... Садитесь, не стесняйтесь, здесь и так все перепачкано... Угостить, к сожалению, нечем, всё ваши соотечественники вылакали. Погодите, есть — на донышке, зато нечто замечательное! Старый кальвадос. Над чем изволите работать?

— Я уж больше года, как оторван от работы.

— Города берете? Паршивое занятие! Сначала вы берете, потом у вас будут отбирать, мало что останется от городов. Да и от вас... Помню, один ваш профессор жаловался на переизбыток населения. Как бы вас не сократили... Вы меня простите, что я на вас налетел. Живу в одиночестве... Я ведь понимаю, что вы к этой пакости непричастны.

— Я, господин профессор, как прежде, избегаю политики...

— Я ее тоже избегал. А она, знаете, сама явилась... Пейте кальвадос, это теперь редкость. Жалко, что вы в этакое одеянии, ведь порядочный человек, ученый, подающий надежды, и в таком поганом виде, глядеть противно!.. Вам что — нельзя ходить по городу в цивильном?..

— Но, господин профессор, почему вы все так заостряете? Я думаю, что за это трудное время наши народы сблизилась, научились понимать друг друга...

— Как вы сказали? «Сблизилась»? — Дюма вскочил и захохотал. — Мари, иди сюда! Погляди на этого господина — он говорит, что мы теперь «сблизилась» с немцами!.. Значит, если бандит повалит человека и заткнет ему тряпкой рот, выходит, что он «сближается»?..

Келлер все время сдерживал себя, помнил, что перед ним знаменитый ученый; но сейчас он больше не владел собой:

— Я думал, что события чему-то научили французов, хотя бы скромности...

Дюма покраснел и крикнул:

— А ну-ка, убирайтесь! Приведите сюда ваших гестаповцев. А гестем нечего прикидываться! Мари, проводи. Да вы поживее!..

Келлер молча вышел. Мари плакала:

— Что вы наделали, господин Дюма!.. Теперь они придут за вами... Он взял ее шершавую руку.

— Эх, Мари!.. Нужно уметь жить, по-настоящему — весело, петь, танцевать, пить, если есть что... А умереть нужно тоже умеючи, по-человечески. Если зайца подстрелить, он плачет, как малый ребенок. А

подруби дерево, оно молча падает... Смерти нечего бояться, это тоже благородное дело, если только ты — человек, а не тряпка... Откройте окно, чтобы его духа здесь не осталось...

Так были испорчены последние дни пребывания Келлера во Франции. В Аахене он нагнал свою часть. Их повезли в Польшу. Солдаты гадали, где начнется новая война.

— Говорят, что в России, — сказал фельдфебель. — Русские нас не любят...

Келлер уныло усмехнулся:

— Теперь война повсюду. Вы думаете, нас любят во Франции? Они только и ждут удобного случая, чтобы на нас накинуться... Мне жалко, что я не отвел в комендатуру одного негодяя, не хотелось марать рук... Мы, немцы, чересчур доверчивы, да и чересчур благородны.

15

Рая танцевала с Полонским. Перед этим она выпила стакан муската, ей хотелось быть веселой, когда она пошла танцевать, она улыбнулась; сейчас ей было страшно, но она продолжала улыбаться — лицо застыло. А тело подчинялось ритму танца. Была в этом ритме настойчивость судьбы. Саксофон выл, как брошенная собака; барабан считал, подсчитывал; и среди свиста, воя, грохота по-детски всхлипывала скрипка. Вдруг все оборвалось: пустота, яма, тишина, от которой голова кружится. Что мне делать? — подумала Рая. И сразу ожил саксофон, завыл: нужно нестись, качаться, кружиться!..

В «Континентале» былолюдно, несмотря на жаркую погоду. Ведь завтра воскресенье, не лучше ли было поехать в Святошин, в Дарницу, в Пушу-Водицу, где пахучая смола или свеженакошенное сено?

— Завтра по календарю начинается лето...

На дворе давно лето. Жарко. Почему не катаются на лодках, почему пришли сюда?.. Ведь от музыки, от вина, от слов еще жарче...

— Петя, как ты думаешь, будет война?

Кто это спросил? Кажется, молоденький лейтенант. А может быть, тот, в сером клетчатом костюме? Или Ященко?

На базарах говорили, что немцы скоро нападут. Старая Хана вчера пришла перепуганная:

— Раечка, говорят, будет война...

Каждый в глубине души думал: не может быть!.. Молоденький лейтенант вчера только женился, танцевал со своей Варенькой. Как мог он поверить в войну? Как мог поверить в войну тот — в сером клетчатом костюме? Он пришел сюда, чтобы отпраздновать победу — перевыполнили, скоро завалим все магазины чашками с розанами, с васильками, с золотым ободком. Девушка, с которой он танцевал, должна была через три дня защищать диссертацию об азотном питании растений. Война?.. Нет, этого не может быть! А Петя, которого спросили, будет ли война?.. Он изобрел новый способ цветной штукатурки, говорят, что его выдвинут на премию. Сегодня он справляет день рождения. И вдруг война?.. Нет!

— Нет, — сказала утром Хана, — этого не может быть! Ведь люди только-только вздохнули...

Хане казалось, что война началась очень давно, вскоре после отъезда ее мужа. Наума убили. Убили брата Ханы — у Перемышля. Другой брат погиб четыре года спустя на Кавказе. Говорили, что будет

мир, а стреляли на улицах... Какие-то петлюровцы, поляки, бог знает кто... Потом начались карточки, хвосты... Хана успела состариться. Вдруг белофинны... Теперь, слава богу, жизнь налаживается, строят дома, зайдешь в магазин — можно всё купить... И вот говорят — война... Но ведь война только кончилась. Нет, этого не может быть!

Этого не может быть, бормотал учитель географии Стешенко, мечтая в душной комнате о даче, о садике с петуньями, о гамаке.

Этого не может быть, говорила Зина. В ее голове жили подвиги юнаков, но то — литература... А в соседней комнате спит сын дворничихи, годовалый Шурик, он должен расти, играть, учиться...

Не верили в войну, и все-таки было тревожно. Кто знает, что выкинут немцы?.. Но завтра — воскресенье, молодые могут вволю потанцовать.

Среди тревоги мира какой маленькой была драма Раи! Она сама это понимала; но сердце не хотело считаться с событиями. Полонский не просто «увлечение», каких у нее было много — пококотничала, потанцовала и забыла. Нет, Полонский это — счастье. Счастье или гибель...

Осип пробыл на севере больше года. Он радовался, как ребенок, когда увидел белые пески у Днепра, а потом крутую улицу и длинные ресницы Раи; ему хотелось бить в ладоши, кружиться по комнате. Но он только сказал: «Раечка, я очень рад, что приехал»... И в тот же вечер убежал: «Нужно поговорить с Яценко». Ночью Рая шептала: «Я так тебя ждала! Ты знаешь — я верная»... Он не удивился. Рая возмутилась: я для него, как ящик — уехал, запер, теперь вернулся — все на месте... А молодость проходит, последние ее дни...

Ей было еще труднее с мужем, чем до его отъезда. Он говорил только о своей работе или о том, что греки взяли какую-то Корчу. Не спрашивал, о чем она думает, чем живет. Она ему сказала: «Музыку я теперь совсем забросила». Он ответил: «Жалко» и взял газету. Иногда он начинал жарко, почти богомольно целовать ее маленькие руки, приговаривая: «Рая! Раечка!..» И уходил. Службой она тяготилась. Начальник был раздражителен, глядел на нее стеклянными глазами и говорил: «Разве вы не видите, что я занят?» Аленька все время была с бабушкой; так уж вышло — раньше Рая мало занималась дочкой, хотелось пойти в театр, потанцовать, а теперь Аля любила бабушку больше, чем мать. Рая никому не нужна, она может хоть сейчас умереть, никто не огорчится...

Неправда, Осип ее любит. Но странная это любовь! Может быть, так любят на другой планете... В мае его снова послали на Печору. Он обрадовался: «Интересно, как у них там двигается... Ты, Рая, не огорчайся, теперь это твердо на один месяц». Может быть, он скоро вернется, как обещал, может быть, застрянет на год, он ведь сам не знает... Что он за человек! И все-таки он ее любит, незадолго до отъезда признался: «Знаешь Рая, я как-то там вышел... Зима, темно. И вдруг подумал, что тебя нет — забыла, ушла... Мне показалось, что я ослеп, никогда не увижу ни Киева, ни жизни. Прямо как в романах, глупо звучит, но не могу себе представить жизнь без тебя»...

А я?.. Кажется, я тоже люблю, думаю, страдаю из-за него. Может быть, это только привычка?.. Не знаю. А с Полонским совсем другое — когда он смотрит, мне хорошо и так страшно, что, кажется, сейчас умру... Пойду с ним снова танцовать, только нужно все время улыбаться, тогда он не видит, что со мной...

Полонский был выше Раи и, танцуя, глядел на нее сверху; он не улыбался; лицо у него всегда было печальным, слегка обиженным — от формы рта, может быть, от глаз. А он не был ни грустным, ни обиженным, радовался, что весь вечер с Раей. Влюбился он не на шутку, пропала путевка в Сочи: не мог расстаться. Встречи были несчастными и всегда на людях. Он видел, что Рая к нему тянется и боится... Он не гадал, что будет дальше, жил от встречи до встречи. Разговаривали они как-то случайно, часто о пустяках, но пустяки казались им значительными, они переспрашивали друг друга, радовались, обижались; это была сеть недомолвок, смутных намеков; они переходили от стихов к названиям улиц, от улиц к дождю, от дождя к Шопену.

Они вышли из «Континенталья». Рая знала — нужно идти домой, говорить о чем-нибудь безразличном; а она пошла медленно в другую сторону, шла, как будто не замечала, что рядом Полонский.

— Почему вы не едете в Сочи?

— Не знаю.

— Вы думаете, что будет война?

— Нет.

— Вы были в Сочи?

— Нет, в Сухуми был.

— Хорошо?

— Мне больше всего понравилась дорога — из Одессы.

— Солнце и голубое море, правда?

— Нет, был сильный шторм. Многих укачало... Я простоял всю ночь на палубе. Страшно, но очень хорошо. Есть стихи:

«Ревет ураган,

Поет океан...

Мчится мгновенный век...»

— А, по-моему, это страшно, когда шторм... Я никогда не видела. Когда же вы поедете? В августе?

— Не знаю... Вдруг война будет...

— Вы только что сказали — не будет...

— Разве? Не знаю... Я сейчас подумал — увидимся ли мы еще?..

Они шли по пустой темной улице. Кругом были сады. Над ними звезды. Он взял ее под руку, почувствовал, что она прижалась к нему. Ни о чем не думая, он поцеловал ее, она ответила; потом отобрала руку:

— Нет.

— Почему?

— Не знаю...

Он взял ее руку, она отдернула.

— Почему вы не хотите?..

Она молчала. Ускорила шаг; теперь они шли вниз к Крещатику. Он увидел, что у нее в глазах слезы. Они не разговаривали; только, когда они подошли к дому, где жила Рая, она сказала:

— Вы не должны сердиться... Я не могу иначе, я это чувствую, а объяснить не умею ни вам, ни себе. Нет, не потому, что не хочу... Когда-то говорили «не так живи, как хочется»... Вот и бога нет, а все-таки, как хочется — нельзя...

Она была настолько взволнована происшедшим, что не подумала привести себя в порядок, так и пришла домой заплаканная. А Хана на беду не спала, увидев Раю, вскрикнула:

— Случилось что-нибудь?..

— Нет, ничего...

— Тут приходила Антонина Петровна, говорила, что немцы обязательно нападут, я уж не знаю, кто ей сказал... А ты, Раечка, что слышала?

— Я? Ничего...

Рая разделась, хотела лечь, вдруг услышала, что Хана плачет.

— Что ты?..

— Леву, наверно, убили... Чем мы прогневили бога?..

— А ты веришь в бога?

— Не знаю... Когда все хорошо, я об этом не думаю. А когда что-нибудь случается... Ты, Раечка, не сердись, у тебя книги, ты в театр ходишь... А у меня только это — вспомню, как когда-то молилась, и полегчает. Мне за Леву страшно...

— Если будет война, Осип пойдет...

— Ося крепкий. А Лева, как покойный Наум... Ося не растеряется. Я тебе скажу по правде — я Осю боюсь. Смешно — я его нянчила, а боюсь.

— Почему боишься?..

— Он молчит.

— Он, как ребенок, не умеет ничего сказать о себе. Я, кажется, сейчас его понимаю... С ним и счастья не нужно. Трудно только, ох, как трудно! Я не о нем говорю. Жить трудно. А ведь я и не жила еще, баловалась. И все-таки трудно...

Хана прижала ее к себе, как Алю:

— Знаю, все знаю... Только бы войны не было! А это уладится... Ну, вот и уладилось, вот и спишь...

Рая, измученная, уснула рядом с Ханой; во сне она чуть улыбалась; не так, как когда танцевала с Полонским; теперь ее улыбка была легкой, спокойной. Заснула и Хана. Дыхание, как часы, отмеряло время. А июньская ночь была короткой.

16

— Нужно хоть часок поспать, — сказал фельдфебель Грюн, которого звали «Тараканом», потому что он забавно топорщил свои жидкие длинные усы.

Он вскоре встал, ругаясь и позевывая:

— Не спится...

В ту ночь никому не спалось. Десять дней они стояли в этой деревне, изнывая от жары, от комаров, от неизвестности; и вот томлению пришел конец.

Молоденький солдат, с лицом по-детски припухлым, с очень светлыми изумленными глазами, сквернословил и плевался, вернее, делал вид, что плюется — во рту у него все пересохло. Это был Клеппер, сын домовладелицы в Гамбурге. Он трусил, но хотел быть храбрым: пусть Лотта знает, что он мужчина, а не школьник!.. Страх торчал где-то в нижней части живота. Клеппер размышлял вслух:

— Пауль говорил, что когда в Нидерштейне они покончили со всеми, там оставался один коммунист, он был левшой, и Пауль говорил, что его можно было раздавить одним пальцем, но они не могли его словить, и они попали к чёрту в штаны, потому что он бритвой зарезал Штрамера. Когда они окружили дом, где он спрятался, он убил двух штурмовиков, этот проклятый левша, он заставил их пропотеть всю

ночь. Если в России много коммунистов, мы попадем в чёртовы штаны...

— Ну, ну, мальчик, полегче, — сказал Таракан. — Твой левша был немцем, а здесь русские. Я видел одного русского, он не знал даже, как высморкаться. Они могли воевать, когда воевали с косами или вилами, а перед нашими игрушками они не успеют икнуть.

Таракан побывал в Польше, во Франции, он снисходительно разговаривал с необстрелянными сопляками.

— Это тебе, мальчик, не выборы, коммунист или нет, он не успеет опомниться. Я об одном жалею — почему мы не танкисты? Мы всегда опаздываем. У меня младший брат танкист, эти паршивцы снимают все пенки. Когда мы приезжаем, старые бутылки выпиты, а молоденькие девушки перепорчены.

Клеппер сделал над собой усилие и громко расхохотался. Он подумал, что хорошо бы сняться с какой-нибудь девчонкой и послать фотографию Лотте. Пусть знает, что он — настоящий мужчина... Но страх не проходил, теперь он ворочался подложечкой. Клеппер небрежно спросил Таракана:

— А вы попадали в поганую историю?

— Я не вылезал из поганных историй. Когда мы пришли к Сомюру, ваши танки были уже в Ля Рошели. Откуда ни возьмись — они... Ты думаешь, это были французы? Чёрта с два, это были черные, и они на нас лезли, как будто мы африканские козы. Пришлось поработать до вечера... Это, конечно, пакость — сенегальцы, но это умирает, как все прочее. Русские могут, если им вздумается, вымазать рожу ваксой, все равно перед нашими игрушками они не успеют побледнеть...

Ефрейтор с «железным крестом» поддержал Таракана:

— Когда у них были цари и немецкие генералы, они еще могли зашишаться. Теперь они могут только агитировать. Это — колосс на глиняных ногах.

— Говорят, что там паршивые дороги.

— Ну, если мы проехали через Польшу, мы проедем и через таратары.

Клеппер не мог успокоиться. Он снова сплюнул и сказал:

— Но фюрер объявил, что они собирались напасть на нас. Значит, у них большая армия...

— А ты, мальчик, думал, что это — Люксембург? Конечно, у них большая армия. Значит, нам придется построить большие лагеря для военнопленных.

Сорокалетний унтер Бауер, в прошлом учитель рисования, морщился: какая пакость!.. Зачем мы суемся в Россию? Неужели и русские должны стать наци?.. Хватит того, что они заставили нас маршировать по указке этих сморкачей. Во что я превратился? Таскаю у полячек кур... Ровно десять лет тому назад, нет, не в июне, в августе, я должен был поехать в Москву, я записался в «Интуристе» на Унтер ден Линден... Мы пошли туда с Фрицем. А потом Краузе пригласил меня в Герингсдорф, и я не поехал... Почему я здесь? Что мне сделали русские? Ровно ничего. А наци сделали из меня подлеца. Я, наверно, заразил ту девчонку, в Кельцах... Ее звали Янина... Противно! А эти идиоты радуются...

Клеппер решил написать Лотте; писал он витиевато, стараясь не выдать своих чувств: девушки любят презрительных сердцеедов. «Ужасная ночь последнего ожидания»... Он тщательно зачеркнул слово «ужасная» и поставил «роковая». «В Польше много красивых девушек, товарищи на них заглядывались. А мои мысли далеки. Туда, на Восток, где

восходит солнце и где, может быть, зайдет моя жизнь!.. Через час — бой. Ты помнишь нашу прогулку в Обервальде? Я выполню все, что я сказал. Я тебе улыбаюсь с переднего края»... Кончив письмо, он вынул записную книжку, которую Лотта подарила ему, и записал: «21 июня. Ночь. Приказ. Никто не спит — готовимся. Ужас». Он попробовал утешить себя шоколадом, но, откусив кусок, выплюнул — тошнота подступала к горлу.

Рихтер не разговаривал, не слушал, он думал о Гильде. Сейчас она спит. А если нет... Вдруг у нее Роберт?.. На вокзале он стоял рядом с нею... Он остался в Берлине. Может быть, он у Гильды? Он приехал в девять, она заставила его прождать полчаса в гостининой. Он смотрел книгу «Готика Германии» и нервно зевал. А она переодевалась, надела киноно, голубое с цаплями, потерла пробочкой от духов шею, грудь, вышла, поглядела на Роберта круглыми печальными глазами: «Мой друг, вы здесь?..» Как будто она не знала, кто ее ждет! Потом вскрикнула: «О, Роберт!.. Что вы делаете?..» Сейчас она говорит: «Вдруг Курт узнает? Я не хочу его огорчать...» И Роберт жалеет: «Бедный Курт...» Нет, этого не может быть! Почему я терзаю себя дурацкими историями? Да еще в такую ночь... Нужно об этом забыть. И Рихтер заставил себя прислушаться к беседе.

— Они справились с Наполеоном, — говорил ефрейтор, — это сущая правда. Но тогда ездили на перекладных, а теперь всё решают моторы, теперь расстояние не может никого испугать...

Рихтер в тоске подумал: они не знают, что такое Россия... Это не страна, это мир, Едешь, едешь — и не видно края... Человек все время ощущает свое ничтожество. Там можно и без войны потерять — умрешь, никто не узнает... Конечно, у русских нет нашей организации. Это странные люди, на них нельзя положиться. Ты говоришь и не знаешь, что он через минуту выкинет... Они могут нас встретить с цветами, я не удивлюсь. А могут драться как сумасшедшие. Я был там, но разве я их знаю? И полковник Вильке не знает, поэтому он говорил «полумирное проникновение». Можно понять француза, англичанина, голландца, а здесь — азиаты. Даже фюрер, наверно, не подозревает, что это за орешек...

— Конечно, их много, — говорил Таракан, — но китайцев еще больше. Война не арифметика... Я видел, как французский генерал сдался в плен, у него было на груди восемнадцать ленточек, — кажется, не сопляк, но он ревел, как теленок, потому что он видел, что перед немцами он — сопляк. Русских может быть больше, чем муравьев, это не имеет никакого значения. Я тебе говорю, мальчик, против наших игрушек нельзя пойти с вилами. Говорят, что у казаков хорошие кони, я хотел бы поглядеть на этих лошадок, когда покажутся наши танки.

Дурак, подумал Рихтер, он считает, что у русских нет танков. А для чего Кузнецк?.. Мы, кажется, недооцениваем противника. Что значит «полумирное проникновение»?.. А сказать нельзя — решат, что я сею панику. Да и незачем залугивать, раз война — нужно **победить, тогда** все кончится. Господи, хоть бы скорее это кончилось!.. Гильда сказала: «Я буду ждать год, два года»... Но разве поймешь, что у женщины в сердце?.. Мы должны победить — у нас организация и динамизм. Такой Таракан не остановится, он лезет вперед, потому что не думает; его можно убить, переубедить его нельзя, в этом наша сила. Бесспорно, мы победим. Только далеко не все вернутся из России... Конечно, фюрер все учел. Польша, Франция, Норвегия, Фермопилы — этот человек умеет воевать... Плохо будет, если мы с ними не справимся до зимы. Русская

зима — настоящее свинство. Я не был там зимой, но меня брала дрожь, когда они начинали рассказывать про свои морозы...

— Рихтер, хочешь рома? Это ямайский — из Бордо.

Рихтер выпил залпом полкружки.

— Он хорошо пахнет, но от него болит голова. Другое дело русская водка, она воняет, но это — замечательная микстура, ты можешь выпить две таких кружки, и на утро ты проснешься свеженький, как младенец.

— Я пил как-то водку в русском ресторане на Мотцштрассе.

Рихтер усмехнулся:

— Все хорошо на своем месте, я пил водку в Сибири.

Он сразу вырос — все глядели на него с уважением, даже ветераны, участники похода на Францию. Кто не знает Франции?.. А Рихтер своими глазами видел эту таинственную Россию...

Клеппер спросил:

— Ты думаешь, они будут защищаться?

— Этого я не знаю. Чем дольше их наблюдаешь, тем труднее их понять. Это люди без душевной организации. Когда они пьют водку, они морщатся, кричат, ругаются, можно подумать, что их заставляют глотать хинин. А я видел, как русские девушки клали кирпичи, дикое зрелище, у них были пальцы в крови, содраны ногти, и эти девчонки улыбались, как на свадьбе. Можешь ломать голову, в русских ты все равно ничего не поймешь. Но у них нет нашей организации, и мы их расколотим, это ясно каждому. Зачем гадать — будут они защищаться или нет, это их дело, в обоих случаях мы будем в Москве, и я тебе даю слово, что я с большим удовольствием скушаю целый фунт икры.

— Это мажут на хлеб? — спросил Таракан.

-- В Берлине это мажут на хлеб, а в Москве это едят ложкой.

-- Ты что-то путаешь, я знаю, что это мажут на хлеб, как масло.

— Скоро увидите — я буду есть икру ложкой.

— А какие там женщины? Хуже полек?

-- Разные. Ассортимент неплохой.

Таракан зашевелил усами:

— Я обниму первую москвичку в день моего рождения!

— Когда вы родились? — поспешно спросил Клеппер.

— Восьмого августа.

Клеппер подсчитал — сорок семь дней... Порядочное безобразие!

Ефрейтор сказал:

— Ты убежден, что эта музыка кончится до восьмого августа?

— Абсолютно убежден. Что икру едят ложкой, в это я не верю. А восьмого августа мы будем в Москве, если хочешь, держу пари — на первую московскую красотку. Считай сам — по тридцать километров, это немного, дней десять на перегруппировку, подтянуть тылы... Я-то изучил расписание...

— Я им покажу, что значит готовить удар в спину! — Клеппер выругался, а в его наивных глазах был ужас. — Они узнают, что такое чёртовы штаны! Когда я буду в Москве, посмотрим, что станет с их девушками...

В стороне сидел Кliche, долговязый юноша в очках, студент философского факультета. Его сторонились; он стеснял и своим молчанием, и непонятными репликами. Пока другие пили, забавлялись с девушками, рассказывали непотребные анекдоты, он что-то записывал в большую тетрадь или сидел с книгой. Никогда этот человек не улыбался. Он презирал Таракана, товарищей по роте; только с Рихтером он ино-

гда заговаривал о военных перспективах, о Ницше, об египетской архитектуре. Его прозвали «Марабу», он, действительно, походил на птицу — гэрбоносый, с непомерно длинными руками, с голосом резким, как клёкот. Отложив тетрадь, он сказал:

— Мы идем в Москву не за девушками. Вы поняли слова фюрера? У каждого из нас теперь одна невеста... — Он запнулся, потом выкрикнул: — Смерть!

Клеппер тоскливо зевнул, как будто собака завывала. Таракан проворчал:

— Я предпочитаю, чтобы она целовалась с русскими, твоя невеста...

Короткая ночь умирала. Небо, которое и до того не спало, а только подремывало, начало розоветь, оживать. Вот там, за этой речкой — война, подумал Рихтер. Сколько о войне написано книг, а все-таки непонятно. Так и про любовь — пишут, пишут, а потом приходит какая-нибудь Гильда, дочь почтенного коммерсанта — знает английский язык, играет на рояли, самая что ни на есть порядочная девушка, и все оказывается ужасной игрой, будто ты едешь в горящем танке. За речкой такие же тусклые поля, так же квохчут курицы, женщины тащат ведра, белобрысые дети толпятся возле орудий... Через сорок минут все начнется... Рихтер хотел почувствовать, что это — исторические часы. Я — участник великого события, про меня будут читать правнуки. Но мысли разбегались, он видел то неубранную спальню Гильды, то огромное зеленое пространство; кружилась голова.

— Этот ром настоящая отравка.

Клеппер ответил:

— А я выхлестал целую кружку и хоть бы что... Правильное солдатское пойло. В Москве я попробую твою хваленую водку. Но эти русские узнают, что такое чёртовы штаны!...

— Тише, мальчик, это тебе не кегли, это война! — Таракан вспомнил, как возле Бовэ убили такого же сопляка.

Другие весело кричали, кто о девушках, кто о Москве, кто просто горланил — светает, конец тоске, в поход. Марабу снова ушел в сторону и раскрыл тетрадь. В посветлевшем небе зеленая ракета показалась бледной, даже печальной. Рихтер вспомнил глаза Гильды и зажмурился. Перекликались деревенские петухи. Таракан зычно крикнул:

— Раз-два!

17

Вася с зимы работал в Минске. Кто же мог поверить Наташе, когда она вдруг заявила, что ее посылают на лето в Минск? «Так вышло, чистая случайность»... Чем больше она объясняла, тем становилось яснее, что она придумывает. Какие-то самолеты, которые должны опрыскивать плодовые сады от вредителей... Хорошо, но почему в Минске?.. Дмитрий Алексеевич сначала заинтересовался опрыскиванием, а потом загрохотал:

— Наташка, что ты меня за нос водишь? Я-то, дурак, слушаю... Я тебе давно сказал — он мне нравится. И тебе он нравится, нечего хвостом вертеть. Двадцать один год девке, кажется, совершеннолетняя...

Наташа рассмеялась. Вася тоже не поверит, решит — не вытерпела. Немного обидно. А может и не вытерпела бы... Зачем разыгрывать бесчувственную? Пусть думает, что хочет. Зато увидит ее и скажет... Из него слова не вытянешь, а нужно объясниться — да или нет. Самое смешное, что это правда, ее действительно посылают в Минск. Неслыханная

удача, как в сказке... Ей предложили три места на выбор, но ведь Минска могло не быть.

Дмитрий Алексеевич говорил:

— Сияет, будто в Неаполь едет. У тебя мордочка без ставен — все видно. Ты хоть бы иногда сдерживалась, ну, скажем, когда отца разыгрываешь.

Июнь был зеленым и горячим. Вася сам понимал, что пора объясниться, ведь неспроста приехала Наташа... Здесь легче — нет ни матери, ни Дмитрия Алексеевича, никто не станет спрашивать. Напишем и всё... Но как сказать Наташе? Вася с завистью подумал: Сергей сумел бы, он оратор...

Два дня Вася раздумывал и решил, что нужно обойтись без громких слов. Если начать про любовь, Наташа может рассмеяться — что за опера! О любви нельзя говорить, это только в книгах. Вот Дмитрию Алексеевичу понравилось «слышу трепет крыл». А если сказать, получится глупо... Наверно, Маяковский говорил с девушкой иначе, может быть, совсем не говорил про чувства. Лучше всего сказать: «Давай жить вместе»... Нет, это грубо. Спросить: «Хочешь со мной навсегда?» Помпезно — почему «навсегда»? Снова опера...

Так он ничего и не придумал. Вышло все без слов. Лукавые глаза Наташи посмеивались, и Вася сказал: «Ты — чертенок»... Она застеснялась, ушла в угол, он ее вытащил и вдруг обнял. Они смеялись, как сумасшедшие, целовались, взяв друг друга за руки, кружились по комнате. Потом он ее подхватил: «Легкая ты! Как перышко»... Она сказала: «Посмотрим. А вдруг у меня окажется тяжелый характер?» И прыснула: ей стало смешно, что у нее может оказаться «тяжелый характер». Они замолкли, перепуганные полнотою счастья. Так вот это что, подумала Наташа, совсем не так, как говорили... Можно сойти с ума... Вася вспомнил появление сконфуженной Наташи и снова засмеялся: «Помнишь, ты говорила — «честное слово, опрыскивание с воздуха»... Она не дала ему договорить, поцеловала.

Они должны были провести выходной вместе, и день, который уж занимался, представлялся им продолжением этой удивительной ночи. Они друг друга стыдились; то она, то он говорили «зачем смотришь?», «отвернись»; а через минуту, забыв все, целовались. Наташа вскипятила чай, изображала из себя хозяйку: «Я тебе варенья куплю. Ты думаешь, я не видела, как ты у нас по три раза накладывал»...

Он хотел показать ей «свои» дома. День был солнечным и ветреным. Галстух Васи смешно развеивался; Наташа с трудом удерживала юбку.

— Ветер...

— Зато не жарко. Потом в лес поедem — хорошо?

Он говорил ей о новых домах:

— Мне эти украшения не нравятся, ничего не поделаешь — материал плохой, приходится прикрывать... Через два-три года будет хороший материал, тогда и формы будут строже...

Наташа нахмурилась, потом улыбнулась:

— Я, Вася, в этом ничего не понимаю. Но ты увидишь — через два-три года я буду все понимать. Как раз к сроку — у тебя будет солидный материал и солидная жена.

Они шли молча — переживали свое счастье. Вдруг кто-то схватил Васю за руку. Он обернулся — его сослуживец Липецкий.

— Сейчас будет выступать! Немцы уже сообщили...

Из раскрытого окна раздался голос Молотова. Потом слова сменила музыка. А Наташа и Вася все еще стояли, не могли опомниться.

Мир гудел, как огромный встревоженный улей. Дмитрий Алексеевич, красный от гнева, повторял: «Варвары! Что за варвары!» Уже шли бои в Польше, в Литве. Рихтер прикрыл орудие ветками березы, и ветки горько пахли. В Гейдельберге толстая Герта задыхалась от волнения: ее Иоганн не сегодня-завтра возьмет Москву. В Берлине люди пели, кричали, ждали победных сводок. Далеко на севере Осип произносил речь: «Коварные фашисты вероломным образом»... Уткнувшись в подушку, плакала Валя. А в Париже Миле говорил Мари: «Теперь фашистам крышка. Русские придут сюда, понимаешь?..» Нивель писал: «Жребий брошен — мы или они»... Среди литовских лесов трещали мотоциклы. Горели белорусские села. Раненая девочка звала: «мама!» В Москве на радиоузле кто-то кричал: «Что будет с передачами? Пускайте песни!..» И песни растекались по потрясенным городам, песни глубокого мира — о садах, о соловье, о счастье. Надрывались пушки, грохот рос, крепчал.

И маленькая Наташа, у которой все было написано на лице, только-только узнавшая, зачем живут люди, стояла, не могла двинуться: судьба свалилась и на неё, судьба людей, России, мира.

Кругом шумели.

— Негодяи!

— Я так и знал...

— Ты всегда говоришь, что знал раньше...

— Без всякого предупреждения... Гады!

— А что же немецкие коммунисты?..

— Теперь они выступят...

— Замечательно он сказал — «победа будет за нами»...

— Это им не Франция!..

— Я боюсь, что они налетят...

— Ты думаешь, война будет долго?..

— При современной технике...

— Наверно, наши уже перешли границу...

— Возьмут тебя, Мишенька...

— Мама, на тебя все смотрят...

— Я боюсь, что они налетят на Минск...

— Вы не волнуйтесь, их не пустят...

— Как они не понимают, что у нас неистощимые ресурсы?..

— Мы живем в самом ужасном месте — возле электростанции...

— Иду в военкомат!..

— Ох, горе!..

Вася пошел к себе на стройку, Наташа в Университетский городок.

Расставаясь, она сказала:

— Как это странно... Именно сегодня...

— Наташа, что бы ни было, мы теперь связаны... Навсегда.

Он больше не боялся произнести это слово.

(Продолжение в следующем номере.)



ГОРОД В СТЕПИ

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

★

1

Стенным ветрам не писаны законы,
Пирамидальный склон воспламеня,
Всю ночь над нами тлеют терриконы -
Живые горы дыма и огня.
Куда ни глянь — от края и до края
На пьедесталах каменных пород
Стальные краны, в воздухе ныряя,
Свой медленный свершают оборот.
И жизнь кипит в искусственном ущелье,
И за составом движется состав,
И свищет ветер в бешеном веселье,
Над Казахстаном крылья распластав.

2

Какой простор для мысли и труда!
Какая сила дерзости и воли!
Кто, чародей, в необозримом поле
Воздвиг потомству эти города?
Кто выстроил пролеты колоннад,
Кто водрузил сверкающие фронтоны,
Кто среди степей разбил испепеленных
Фонтанами взрывающийся сад?
А ветер стонет, рвется и гудит,
Рвет вымпела, над башнями играя,
И изваянье Ленина стоит,
В седые стены руку простирая.
И степь пылает на исходе дня,
И тень руки ложится на равнины,
И в честь вождя заводят песнь акыны,
Над инструментом голову склоня.

И затихают шорохи и вздохи,
 И замолкают птичьи голоса,
 И вопль певца из струнной суматохи,
 Как вольный беркут, мчится в небеса.
 Летит, летит, летит... остановился...
 И замер где-то в солнце... А внизу
 Переполох восторга прокатился,
 С туманных струн рассыпав бирюзу.
 Но странный голос, полный ликования,
 Уже вступил в особый мир чудес,
 И целый город, затаив дыханье,
 Следит за ним под куполом небес.
 И Ленин смотрит в глубь седых степей,
 И дуמוю чело его объято,
 И песнь летит, привольна и крылата,
 И кажется, конца не будет ей.
 И далеко, в сиянии зари,
 В своих тяжелых шляпах из брезента
 Шахтеры вторят звону инструмента
 И поднимают к звездам фонарь.

3

Гомер степей на пегой лошаденке
 Несется вдаль, стремительно красив,
 Вослед ему летят сизоворонки,
 Головки на закат поворотив.
 И вот, ступив ногой на солончак,
 Стоит верблюд — Ассаргадон пустыни -
 Дитя печали, гнева и гордыни,
 С тысячелетней тяжестью в очах.
 Косматый лебедь каменного века,
 В сухих волнах тяжелого песка
 Преодолевший, рядом с человеком,
 Пустыни дикие и грузные века.

4

Надев остроконечные папахи
 И наклонясь на гриву скакуна,
 Вокруг отар во весь опор казахи
 Несутся, выются, стиснув стремяна.
 И стрепет, вылетев из-под копыт,
 Шарахается в поле, как лазутчик,
 И солнце жжет верхи сухих колючек,
 И на сто верст простор вокруг открыт,

И Ленин на холме Караганды
Глядит в необозримые просторы,
И вокруг него ликуют птичьи хоры,
Звенит домбра и плещет ток воды.
И за составом движется состав,
И льется уголь из подземной клетки,
И ветер гонит мглу тысячелетий,
Над Казахстаном крылья распластав.



ТАНЯ

Рассказ

ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ

★

I

Вспоминаю детство... Оно прошло на тесном московском дворе, зажатом высоченными домами со всех четырех сторон. Двор был похож на гигантский каменный колодец, в котором перестал бить ключ, и он высох. Когда, преодолевая страх, я однажды полез по пожарной лестнице к голубому квадрату неба, мне думалось, что там, вылезши из колодца, я увижу зеленые поля. Но я увидел хаотическое нагромождение крыш и направо, внизу, нашу улицу, которую узнал не сразу... Было очень страшно возвращаться вниз. Если бы вместе со мной не поднималась девчонка, я не уверен, что смог бы спуститься. Эта девчонка была очень храброй, но она не была романтиком и не ждала сверху увидеть зеленые поля. На всём пути до крыши ее волновал только один вопрос — не заметит ли нас зычная дворничиха?.. Она даже обрадовалась, что я не увидел своих зеленых полей, стала меня торопить и первая ловко и быстро стала спускаться вниз. Я полез вслед за ней, готовый зубами вцепиться в железные ступени лестницы. Когда я ступил, наконец, на надежный асфальт двора, у меня так противно дрожали ноги, что я ушел домой. Но она все заметила и раструбила по двору, что у меня болезнь—боязнь высоты. Ее отец был врачом, и она любила всем приписывать разные болезни, о которых слышала дома. Но, между прочим, она была права: теперь, почти через двадцать лет, я могу сознаться, что боюсь высоты и не люблю смотреть вниз, когда стою даже на балконе. А тогда я очень обиделся: какая бы то ни было болезнь подрывала мой авторитет вожака мальчишек нашего двора.

Во дворе было двенадцать мальчишек моего возраста. Мы именовали себя чапаевской дивизией, а все соседские мальчишки были для нас каппелевцами, и нетрудно догадаться, что гражданская война на нашей улице сильно затянулась... В нашу дивизию входила еще и та девчонка, что лазила со мной на крышу. Если бы у Чапаева не было его пулеметчицы Анки, возможно, мы не приняли бы девчонку в нашу дивизию, но я не очень в этом уверен — девчонка эта была отчаянная. У нее было прозвище «Танька-встанька». В драках ее часто сбивали с ног, но она так стремительно вскакивала и с новой яростью кидалась в битву, что иной раз именно это повергало каппелевцев в растерянность. С другими девчонками двора она не дружила, а ребята ее уважали, некоторые и побаивались...

Распад нашей дивизии произошел довольно трагически. Началось с предательства. Володька Рубцов в школе влюбился в одну девчонку, а она оказалась из «каппелевского» двора, ее брат был там первый заводила. Володька стал хаживать во двор к врагам и в один прекрасный

день заявил, что драться он больше не будет и что вообще все эти драки — чистое хулиганство... С этого и началось. Следующий удар нанесла «Танька-встанька». Собственно, еще раньше мы как-то вдруг заметили, что она красивая девчонка и даже похожа на одну артистку кино. Первым наше внимание обратил на это мой ближайший помощник по командованию дивизией Валька Архипов. Но он этим не ограничился и, попросту говоря, влюбился в Таньку. И она, в свою очередь, тоже стала поглядывать на Вальку какими-то сонными глазами. Они стали стесняться друг друга, а одновременно у них появилась необходимость встречаться вдвоем и разговаривать на какие-то секретные темы. Попытка провести среди них массово-воспитательную работу окончилась провалом. Валька стал отлынивать от дел дивизии и в конце концов, сославшись на то, что у него плохи дела в школе, совсем вышел из дивизии. Вслед за ним дезертировала и Танька. В течение весны дивизия развалилась, и гражданская война на нашей улице прекратилась.

У меня появилась масса свободного времени, и наверное именно из-за этого я тоже влюбился в Таньку. Другого объяснения этому факту я найти не могу. А когда это случилось, я Вальку Архипова возненавидел вдвойне. Я тогда еще не знал, что это — ревность, но я твердо знал, что Валька стоит на моем пути.

Несколько слов о Вальке. Чтобы не быть клеветником, я обязан сказать, что он был очень хороший парень. Главное, он был очень начитанный. Собственно, от него мы впервые узнали о Чапаеве и каппелевцах, в кино мы увидели это позже. Да и многое другое узнали мы от него... Помню, однажды он вышел во двор и сказал нам: «Все мы ничего не стоим, а вот Павка Корчагин — это настоящий человек» и начал рассказывать про этого Павку. Я потом сам прочитал эту книжку, действительно, Павка оказался настоящим героем. Я только подумал, что ему повезло, что он оказался там, где война, и что, появившись белые на нашей улице, мы бы тоже не дремали. В общем, в тот день, когда я окончил читать книгу про Павку Корчагина, нашим каппелевцам мы всыпали как никогда. Итак, не случайно, что Валька в моей дивизии был фактически комиссаром: он вполне подходил к этой почетной должности. Кроме того, он был по-настоящему храбр: каппелевцы боялись его не меньше, чем меня, а может быть и больше.

И вот этот самый Валька стал на моем пути. Я долго мучился, изобретая тысячи способов устранения соперника, но избрал я способ такой: я решил поговорить с Таней... Объяснение состоялось на углу Спиридоновки и Садовой. Был тихий весенний вечер. Легкий морозец прихватил землю, и новый ледок аппетитно хрустел под ногами. Галки тучами металась в розовом небе, оглашая Москву сумасшедшим граем. Мы с Таней шли из школы и были очень взволнованы: в этот день нас обоих приняли в комсомол, и мы обсуждали это событие — такое большое для всей нашей жизни, что о нем радостно было думать. Валька тогда болел и в школу не ходил. Лучших обстоятельств для объяснения нельзя было и ожидать... Итак, мы остановились на углу Спиридоновки и Садовой посмотреть, как летает галочья стая и где она сядет. Таня стояла, запрокинув голову к розовому небу, и ее лицо тоже стало розовым, она была очень красивая в эту минуту.

— У Вальки опять грипп, — сказала она, — какой-то он слабый, расположен к разным инфекциям.

Мне почудилась в ее фразе нотка разочарования, и я сказал:

— И что он вообще дался тебе, этот Валька?

Таня удивленно посмотрела на меня и, видимо, все поняла. Она взяла меня за дрожащую руку и сказала:

— Пойдем...

Мы шли по Спиридоновке и оба молчали. Она все держала меня за руку и шла немного впереди. Мы остановились у ворот нашего дома. Таня отпустила мою руку и, не глядя на меня, сказала:

— Ты тоже хороший, но не такой, как Валька.

— А что Валька, — сказал я запальчиво, — ты же сама сказала, что он слабый и расположен к этим, как их...

— Валька совсем другой, — перебила меня Таня, — совсем другой. Ну вот скажи — ты бы мог пронести меня на руках через всю жизнь? Мог бы?

Я, вероятно, слишком буквально понял эту задачу и задумался: я с детства не любил обещать того, что не мог сделать.

— Ну, вот видишь, — насмешливо сказала Таня, — ты думаешь, а Валька сам говорит мне это каждый день. Каждый день!.. — Последнее два слова она крикнула, уже вбегая в каменный тоннель ворот — и крикнула так громко, что прохожие обернулись.

Я пошел на Патриаршие пруды и просидел там на лавочке до поздней ночи. На другой день в школе Таня, пробегая мимо меня, сунула мне в руку книжку и сказала:

— Прочитай там, где бумажка...

Это была книга рассказов Максима Горького. Я вышел на школьный двор и, спрятавшись за угольную кучу, открыл заветную страницу. Я прочитал подчеркнутое: «Если уж я люблю, так на всю жизнь».

Это была фраза героини одного из рассказов, фраза была подчеркнута, и около нее был поставлен восклицательный знак гигантских размеров. Я ушел из школы и прочитал всю книгу, я искал в ней фразу, которая должна была стать моим ответом. Такой фразы я не нашел, и тогда сам на той же странице написал: «Когда передумаешь, будет поздно» и тоже поставил такой восклицательный знак, который должен был говорить не меньше слов. На другой день я в школе передал книгу Тане...

Как сейчас помню, это было в субботу, а в воскресенье у меня поднялась температура: тридцать девять и пять. Я заболел воспалением легких и — как потом говорила моя мама — не умер только случайно. После болезни меня увезли на юг к тетке, где я прожил все лето, а осенью туда переехали жить мои родители, и, таким образом, оборвалась история моей первой любви, оборвалась, чтобы никогда не возобновиться, но и никогда не быть забытой...

II

Совсем недавно, снова в Москве, я стоял в очереди на троллейбус. Был свирепый зимний день. Солнце оранжевым кругом висело над крышей высокого дома, и трудно было поверить, что это то самое солнце, которое может греть. Морозная дымка стелилась вдоль широкой улицы, за хвостами автомобилей мгновенно таяли клубы белого пара. Мороз был такой сильный, что трудно было дышать. А троллейбуса, как назло, не было.

— Вы последний? — услышал я позади себя.

— По всей вероятности, — буркнул я и принялся перчаткой оттирать замерзшее ухо.

— А Чапаев был, между прочим, более вежливым человеком, — услышал я все тот же голос позади. Я не сразу понял, что это отно-

силось ко мне. Но все-таки обернулся — позади меня стояла высокая девушка. Она смотрела на меня в упор и улыбалась.

— Танька-встанька, — воскликнул я не очень уверенно.

— Легендарный комдив, — в тон мне ответила девушка.

Я уж не помню точно, что мы говорили в эти первые минуты встречи; наверное мы говорили обычные, глупые фразы, которые произносят все в таких обстоятельствах.

Мы вместе протиснулись в переполненный троллейбус и, стоя вплотную, лицом к лицу, бесцеремонно разглядывали друг друга. В ее глазах я прочитал свои мысли... Каждый день видя себя в зеркале, мы незаметно привыкаем ко всем следам времени: и к появившейся на висках седине, и к морщинам, и к подозрительному блеску вставных зубов. Но если мы встречаем хорошо знакомого человека, которого не видели 10—15 лет, мы вдруг остро ощущаем совершившийся пролет времени. И тот человек в эту минуту думает о том же, о чем и вы...

Мы смотрели друг на друга и молчали.

— Ну, как же вы живете? — спросил я и устыдился, что не мог придумать вопроса не столь стандартного.

— Живу ничего... Смешно как бывает... Ну, буквально сегодня мы с Валентином вспоминали о вас.

— С каким Валентином?

— Как не стыдно забывать! Валька Архипов!

— А?! Он что же?.. — неловко замялся я.

— Он мой муж. Я так и не передумала... — Татьяна засмеялась.

— А что вы должны были передумать?

— Боже мой! Как не стыдно все так забывать! Помните, вы написали мне в книге: «Когда передумаешь, будет поздно»... У меня эта книжка цела, и, если вы зайдете к нам, я предъявлю вам это вещественное доказательство.. Правда, заходите к нам, Валентин будет очень рад, он ведь так любил вас... — она начала пробираться к выходу и уже от дверей, махнув мне рукой, крикнула: — Обязательно приходите. Мы живем там же, у меня!..

III

В воскресенье я решил зайти к ним. Днем я подходил к дому моего детства. Раньше я не раз в деловой московской спешке проходил мимо этого дома, но никогда не испытывал такого волнения, как в этот раз... Как только я вошел в каменный тоннель ворот, увесистый снежок ударил мне в грудь и тотчас с диким криком «бей фрицев!» в тоннель во рвалась дерущаяся орава ребят. Новое поколение, как некогда и мы, занималось воинственным делом. Я прижался к стене, и сражение пронеслось мимо меня. — Покрышкин, заходи в лоб! — крикнул вихрастый паренек, и мгновенно ребята исчезли... Это была уже не та игра, в которую некогда мы играли. Время пролетело и под детскими играми. А вот и пожарная лестница, на которую я лазил в надежде увидеть зеленые поля...

Дверь открыла сама Таня, и мне показалось, что, увидев меня, она растерялась. Я подумал, что ее приглашение было обычной формой вежливости, и она не думала, что я приду. Она молча ждала, пока я снимал пальто, и потом довольно сухо сказала:

— Проходите сюда...

Из темной передней я вошел в очень светлую комнату и не сразу все увидел. Таня стояла в стороне и напряженно наблюдала за мной. Я повернулся вправо и увидел черные глаза, блестящие на белом

квадрате подушки. Я увидел сначала эти глаза, а уж потом длинное тело человека, полулежавшего на постели. Не зная, что отец Тани давно умер, я подумал, что это — он, но в это время с постели послышался голос:

— Ну, Чапаев, подойди сюда! Покажись своему комиссару...

Сомнений быть не могло — это лежал Валька Архипов. Я медленно пошел к постели, и мне почему-то стало страшно. Теперь я уже видел узкое лицо и острые плечи, прикрытые простыней. Мне навстречу из-под одеяла выскользнула белая рука. Пожимая эту слабую руку, я, словно ища поддержки, оглянулся на Таню, и она, наверное поняв мое состояние, подошла, подвинула мне стул и сама села в ногах Валентина. Я сел, не зная, что же теперь говорить: я почему-то всегда боюсь разговаривать с больными и испытываю стыд за то, что я здоров...

— Ну, братец, — сказал я неестественно весело, — узнать тебя совершенно невозможно. Встреть я тебя на улице, ни за что не узнал бы!..

— Возможность такого конфуза предусмотрена, — спокойно, с улыбкой сказал Валентин, — по улицам я никогда не хожу...

Я уставился на него с выражением явного испуга.

— Не пугайся, старина, — сказал он и положил свою легкую руку на мое колено. — Я сейчас тебе все объясню... Ты слышал о том, что недавно была война? Слышал? Ну вот... На этой войне я командовал батальоном. А когда мы наступали в Белоруссии, в трех шагах от меня разорвался снаряд, который нашел возможным не разнести меня на клочки, а ограничился тем, что всадил мне три осколка в позвоночник. А, по выражению одного госпитального доктора, позвоночник — это стержень, на котором держится вся человечья конструкция. И вот у меня стержень этот перестал держать конструкцию, и я лежу. Лежу и всё... Всё ли тебе понятно?

Прошло может быть несколько минут, прежде чем до моего сознания дошло, что мне задан вопрос и что я должен на него отвечать. Я прошелестел что-то пересохшими губами, но мысли мои в этот момент унеслись в далекое далеко... «Ну вот скажи — ты бы мог пронести меня на руках через всю жизнь? Мог бы?.. А Валька сам мне говорит это каждый день. Каждый день!..» Мне показалось, что я снова слышу, как она кричит два последних слова, и крик этот, усиленный резонансом каменного тоннеля ворот, хлещет мне в уши... Я посмотрел на Таню. Она в это время смотрела на Валентина и улыбалась, не просто улыбалась: не как тогда — в детстве — сейчас ее лицо было озарено доброй улыбкой.

— Так вот мы и живем, — сказала она, продолжая смотреть на Валентина.

Всё в этой комнате напоминало мне обстановку квартиры Николая Островского, в которой мне приходилось бывать еще при жизни писателя. Около постели было много книг, к стене был придвинут пюпитр, который, вероятно, устанавливался на постели, когда Валентину нужно было писать. А главное — эта поза человека, полулежавшего на подушках, и эти легкие, почти прозрачные руки. Где-то зазвонил телефон, в дверях показалась танина мама.

— Валя, — сказала она, — включите вашу трубку!

Рука Валентина соскользнула под кровать и извлекла оттуда телефонную трубку. Я так напряженно слушал его разговор по телефону, что сейчас могу совершенно точно воспроизвести все его слова:

— Да, я. Спасибо. Я чувствую себя прекрасно... Слушаю... Так... так... Подождите-ка, я что-то не понял последнего... Нет, вы повторите,

пожалуйста... Так... так... Ну так что же, именно здесь вами и допущена ошибка... Эта формула к данной задаче никак не относится... Ну конечно же!.. Пожалуйста, благодарить меня не за что, просто надо быть внимательней... Хорошо... Вы весь комплекс пересмотрите заново и затем позвоните мне... Ничего... Я буду ждать вашего звонка... До свидания...

Валентин положил трубку около себя и, добродушно улыбаясь, сказал:

— Способный паренек, но как иной поэт, увлеченный музой, забывает вдруг грамматику, так и он... Да, я же не сказал тебе, что теперь моя стихия — математика...

— Почему теперь, — поправила его Таня. — Валентин окончил математический факультет еще перед войной...

— Ну, положим, я его не окончил, государственный экзамен-то я не сдал?

— Как же ты попал на фронт? — вырвалось у меня. Валентин глянул на меня жестким взглядом и тихо, отдельно произнося слова, спросил:

— Как это «попал»? Я ушел добровольцем. Разве ты не был на фронте?

— Был, — ответил я смущенно, — я был корреспондентом...

— А! — Валентин засмеялся. — Меткий залп, и фашистский стервятник камнем рухнул вниз! Так?..

— Было и так...

— Ну-ну, не обижайся... У нас в математике тоже есть свои специалисты по стервятникам... И вообще мы не о том говорим... Танюша, придвинь-ка нам столик, поставь графинчик, встреча так встреча...

Три поднятые над столом рюмки как-то уравнили нас, я почувствовал себя несколько свободнее и предложил выпить за здоровье славного бойца чапаевской дивизии Таньку-встаньку. Как только мы выпили, Таня со словами «ему больше нельзя» убрала графин и, извиняясь, что ей надо готовиться к зачету, взяла с полу какую-то книжку и вышла.

Валентин снова положил свою легкую руку мне на колено.

— Спасибо тебе большое, — сказал он тихо. — Спасибо за тост в честь Татьяны... — Он помолчал немного. — Если бы ты знал, какое счастье для меня, что она есть на земле в мою эру. Не она, так я не знаю, что со мной было бы... Она отыскала меня в госпитале на Урале, привезла сюда и с тех пор, ну буквально, несет меня на своих слабых руках... Я сдал кандидатский минимум. Буду защищать докторскую диссертацию. Работаю при университете... И все это — она, она, она... Сама мечтала стать актрисой, а из-за меня поступила на математический... Вот говорят: жена — моя половина. Таня — все три четверти, если не больше... Это такое счастье, что она есть...

Он сказал все это тихо, медленно выговаривая слова и глядя куда-то мимо меня. Помолчал и спросил:

— У тебя есть жена?

— Была... Разошлись...

— Не понимаю я этого... Не понимаю... Ты меня извини... Это у вас так получается оттого, что без любви... А мне вот повезло, что ли? Или я в нашем районе всю любовь себе захватил?..

Он тихо засмеялся. В это время зарокотала телефонная трубка, и он снова разговаривал по телефону и страшно смеялся над растерянностью своего собеседника... Потом мы вспоминали детство, друг у друга узнавали судьбы своих сверстников...

Я ушел, когда начинались ранние зимние сумерки. На углу, на том самом углу Спиридоновки и Садовой, я совершенно машинально остановился. В небе металась галочья стаи, но небо не было розовым. На противоположном углу у большого нового дома стояли юный парнишка и девушка, которая всё порывалась уйти, но парень удерживал ее за руку, и они опять стояли и смотрели на галочьи стаи и говорили о чем-то... И хотя я не слышал их слов, мне хотелось верить, что они говорили о настоящей любви, любви, которая красива, как подвиг, и вечна, как жизнь...



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ



БАЛЛАДА ПРО ОКО

По народным мотивам

Задумались нелюди — нет им покоя, —
Как взвесить им, нелюдям, око людское.

К весам они камни и скалы носили,
Да око ничем перевесить не в силе.

Пусть с виду совсем оно малое было,
Но скалы большие в зрачке отразило.

Не только одни отразились в нём скалы,
Ещё, кроме скал, в нём и море сверкало.

Открытое море, без края-предела,
Как в блюдечке, в ясном зрачке голубело.

Не просто оно отражалось во взоре
На чаше весов колыхалось море.

Решили тут нелюди между собою,
Чтоб око им всей перевесить землёю.

И вот на весы чуть вскатали руками
Её с океанами, с материками.

Пусть малое око, пусть веса в нём мало,
Но чашу с землёю легко подымало.

Не только земля и орбита земная,
Ещё отразились в нём звёзды, сверкая.

Добавили звёзды — и звёзд было мало:
Ещё в нём мечта, кроме звёзд, просияла.

На сердце у нелюдей стало тревожно:
Мечту перевесить никак невозможно.

И солнце и тучи всего поднебесья
Они бы могли без труда перевесить,

Но чем перевесить мечту им людскую?..
На око надвинули тьму грозовую,

Мечту они молнией в нём ослепляли,
Гасили дождями, огнём выжигали,

Кровавой её выедали слезою,
Пока не засыпали око землёю.

Померкло в нём солнце и высь потемнела,
И звёздами ночь в нём уже не блестела.

В нём дали
Одна за другой потухали,

Поля за полями,
Леса за лесами,

Весы, покачнувшись в глубокой печали,
Его осторожно, как гроб, подымали.

...Засыпали око...

А что же с мечтою?
Мечту не засыпать сырою землёю

КОЛОС

Звенит овес, шумит ячмень,
И веришь ты охотно,
Что в поле колос весь свой день
Проводит беззаботно.

Ты здесь и утром, и в обед, —
Работаешь все лето,
А колосу — и дела нет..
Едва ль... Неверно это!

Заметь: под вечер он стоит —
Усталый от работы,
Едва усами шевелит
И мокрый весь от пота.

Нет, он не просто смотрит ввысь,
Но твердо помня сроки,
То снизу вверх, то сверху вниз
Весь день гоняет соки.

Он в почве влагу до темна
Корнями собирает.
По крайней мере, горсть зерна
Он вырастить желает.

Он дождевую воду пьет,
От солнышка желтеет.
И так он за день устает,
Что к ночи — аж вспотеет.

Ни от забот, ни от хлопот
Покоя он не знает.
А по утрам обильный пот
Он солнцем вытирает.

ПОДСОЛНУХ

Дышал нам в лица и пылал подсолнух,
И видели мы летнею порой,
Что он с утра поводит вслед за солнцем
Своей огнистой жаркой головой;

Что солнце утром первый он встречает,
А в полдень с ним стоит лицо к лицу.
Он первый голову свою склоняет,
Когда подходит летний день к концу.

И так он смотрит тихо, утомленно,
И так ему в прохладе хорошо, —
Как будто два крутые небосклона
Он вместе с солнцем за день обошел.

Подсолнухи! Их тянется немало
В просторы неба. И сдается мне,
Что это солнце всюду разбросало
Своих сынов по нашей стороне.

Перевел с белорусского М. Исаковский



КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(Краткий обзор документов)

★

Высокая оценка художественной литературы как могучего средства просвещения и воспитания народных масс отличает все посвященные ей высказывания основоположников большевизма. Ленин и Сталин, их ученики и соратники — виднейшие руководители созданной и выпестованной ими партии большевиков — неизменно подчеркивают действенную роль художественного слова, проникнутого передовыми идеями эпохи, разоблачают вредность, разъясняют опасность реакционных литературных течений.

Уже на заре большевизма в пламенных листовках и прокламациях ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и сталинского революционного меньшинства «Месаме-даси» яркие и выразительные образы, созданные русской художественной литературой, помогали Ленину и Сталину разъяснять народу их великие освободительные идеи. На страницах ленинской «Искры» и сталинской «Брэдзолы», ленинских газет «Вперед» и «Пролетарий» и сталинской «Борьбы Пролетариата» опубликовано немало литературно-критических статей, корреспонденций, характеризующих политические настроения писателей и разоблачающих преследования их царизмом. Осенью 1905 года в первой легальной большевистской газете «Новая Жизнь» Ленин выступает с исторической статьей «Партийная организация и партийная литература». Товарищ Сталин в «Кавказском Рабочем Листке» поддерживает ленинскую газету, пропагандирует и развивает провозглашенный на ее страницах великий ленинский принцип, принцип большевистской партийности литературы.

Статьи Ленина о Толстом и Герцене — этот непревзойденный образец марксистского литературоведения; ленинские высказывания о Белинском и Чернышевском, Добролюбове, Некрасове, Щедрина, Успенском, Короленко, Тургеневе, Чехове; многолетняя дружба Ленина и Сталина с Горьким; сокрушительный отпор, который дали Ленин и Сталин богостроительству, декадентшине, санинщине и другим реакционным литературным течениям периода реакции; необозримое множество литературных образов, глубоко истолкованных и блистательно примененных в ленинско-сталинской публицистике, — таковы лишь немногие из основных фактов, характеризующих отношение основоположников большевизма к художественной литературе.

Под их идейным руководством еще в до-революционные годы выступили блестящие литературные критики-большевики. Ряд выдающихся по своему идейному значению литературно-критических статей принадлежит В. М. Молотову в «Правде», С. М. Кирову в «Терек», Е. М. Ярославскому, С. С. Спандаряну, А. Г. Цулукидзе. О прекрасном знании художественной литературы и тонком понимании ее творений свидетельствуют тюремные дневники и письма Ф. Э. Дзержинского, Г. К. Орджоникидзе, Я. М. Свердлова, В. В. Куйбышева. К большевистской партии неизменно тянулось все лучшее, что приходило в литературу. Большевистские «Звезда» и «Правда» воспитали Демьяна Бедного, сплотили вокруг себя десятки рабочих-поэтов. С большевистской партией, с ее идеями неразрывно связано

вступление на общественно-политическую арену В. В. Маяковского.

Партия, воплотившая в себе, по крылатому ленинскому выражению, ум, честь и совесть своей эпохи, была маяком, светочем для всех ищущих правильные пути служения народу. С особой силой эти нерушимые связи большевистской партии с передовой прогрессивной литературой проявились после победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда победивший народ вручил в надежные руки большевиков кормило государственного корабля. Сквозь бури и штормы истории шел этот корабль по проложенному его великими кормчими курсу. Немало невзгод выдержала его мужественная команда. Сквозь множество рифов провели его мудрые капитаны, и всегда на его палубах гремела боевая, победная песня лучших поэтов, все его страстия запечатлевали из века, словом историографы похода, лучшие писатели.

Большевистская политика в области советской художественной литературы была и остается претворением в жизнь и творческим развитием ленинских идей, получивших наиболее яркое, полное и цельное выражение в программной статье «Партийная организация и партийная литература».

Идея партийности, то-есть открытого, честного, прямого, последовательного служения партии, как авангарду и руководителю народа; идея народности, то-есть служения, как писал еще в 1905 году Ленин, «не пресыщенной героине», не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность»¹, идея социализма, то-есть победоносной борьбы за освобождение трудящихся от всех и всяческих видов эксплуатации и порабощения, борьбы за расцвет экономики, техники, культуры, науки, искусства, за расцвет человеческой личности — таковы основные положения ленинской статьи, ставшие основными принципами большевистского руководства советской литературой.

Это мудрое и дальновидное руководство приобретало за три десятилетия существования советского государства разнообраз-

ные формы. Книги, статьи, доклады и речи Ленина и Сталина, их письма и директивы, их беседы с советскими писателями, резолюции партийных съездов и конференций, постановления Центрального Комитета партии, выступления его руководителей, партийной печати — все средства идейного руководства применяла большевистская партия для того, чтобы правильно воспитать, вооружить и нацелить советские литературные кадры.

В данном кратком обзоре мы остановимся лишь на некоторых наиболее значительных примерах этого большевистского руководства — лишь на немногих из посвященных литературе решений партии и высказываний ее руководителей.

I

«Временное правительство низложено Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция солдат, рабочих и крестьян!»¹

Этими написанными в 10 часов утра 7 ноября 1917 года историческими словами Ленин возвестил человечеству начало новой эры — эры социализма.

Великая Октябрьская социалистическая революция победила. Началось строительство нового — невиданного в мире — советского государства, новой — еще неизведанной человечеством — советской культуры. Написанной в первые часы после победы советской революции ленинской рукописью как бы зачиналась советская литература, литература народа-победителя.

Уже в ноябре 1917 года, в самые первые дни после победы Великой Октябрьской социалистической революции Ленин обдумывает лучшие, наиболее действенные пути приближения книги к народу.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. VIII, стр. 390.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXII, стр. 3.

«Чтобы разумно, осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться, — пишет Ленин в наброске своих предложений Петроградской публичной библиотеке. — Библиотечное дело в Петрограде поставлено, в силу многолетней порчи народно-просвещения царизмом, из рук вон плохо. И Ленин объявляет немедленно и безусловно необходимыми «следующие основные преобразования»:

«1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти к обмену книгами...

2) Пересылка книг из библиотек и библиотечная работа должна быть, по закону, объявлена даровой...»¹

«Использовать те книги, которые у нас есть, и приняться за создание организованной сети библиотек, которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку», — вот чего неустанно добивался Ленин от деятелей советской культуры.²

Работа советских библиотек, доведение книги до народа стало предметом заботы Ленина, начиная с самых первых дней его государственной деятельности. Но одновременно Ленин выдвинул новую, более сложную и ответственную задачу — задачу создания новых книг, новых средств просвещения и воспитания народа.

В первые же месяцы существования советского государства Ленин определяет задачи советской литературы, как литературы нового, еще невиданного историей типа.

Уже весной 1918 года Ленин диктует стенографу первоначальный набросок своей статьи «Очередные задачи Советской власти». Целую главу этой статьи Ленин посвящает задачам советской печати и, следовательно, литературы.

Сила примера — вот та могучая сила, которую, по великой ленинской идее, должны привести в движение советские литераторы.

«Сила примера, которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом, получит громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на землю и на фабрики», — пророчески заявил тогда Ленин³. И действительно, сила при-

мера, заключенная в таких образах, созданных и запечатленных советской литературой, как образ фурмановского Чапаева, шолоховского Давыдова, Павла Корчагина, Зои Космодемьянской, фадеевских молодогвардейцев, сказалась в испытаниях Великой Отечественной войны и еще не раз скажется на пути строительства коммунизма.

II

Великая Октябрьская социалистическая революция победила, но разбитые ею помещики и капиталисты сговариваются с белогвардейскими генералами «за счет интересов своей родины с правительствами стран Антанты для совместного военного нападения на Советскую страну и свержения Советской власти». — пишет товарищ Сталин в «Истории ВКП(б)»¹.

Военная интервенция Антанты, белогвардейские мятежи на окраинах России отрывают ее от продовольственных и сырьевых районов. В эти годы величайших лишений и трудностей, годы голода и разрухи, заговоров и мятежей, годы кровопролитных боев с интервентами и их наемниками, большевистская партия поднимает рабочих и крестьян на отечественную войну против иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины.

В эти годы, когда высшим законом советского общества был ленинский лозунг «Всё для фронта», большевистская партия не могла столь повседневно и всесторонне, как ныне, руководить лишь сформировавшимися тогда советскими литературными кадрами. Но именно в годы гражданской войны партия и ее великие вожди Ленин и Сталин заложили основы большевистского руководства советской литературой, определили ее задачи, поддержали ее прогрессивные начинания, резко выступили против отсталых, реакционных течений, пытавшихся увести писателей с единственно истинного пути идейного служения народу и его боевому авангарду — большевистской партии.

Советская литература не сразу вышла на правильный путь. Космические, «планетарные» вирши «пролеткультовских» поэ-

¹ Ленинский сборник XXI, стр. 204—205

² В И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 277.

³ Там же, т. XXII, стр. 414.

¹ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 235—236.

тов, формалистские фокусы и ухищрения «комфутуристов» были крайне далеки от эстетических требований партии. И Ленин уже осенью 1918 года, меньше чем через месяц после злодейского покушения эсеровских террористов на его жизнь, еще не вполне оправившийся после тяжелого ранения, выступает со своей знаменитой статьей «О характере наших газет», определяющей задачи не только печати, но и всей советской литературы.

«Чрезмерно уделяется место политической агитации на старые темы, — политической трескотне. Непомерно мало места уделяется строительству новой жизни, фактам и фактам на этот счет», — писал Ленин, и его суровый упрек был прямо направлен против «космических» увлечений «пролеткультовцев». Ленин обращал советских литераторов к жизни, к ее народным глубинам, к созидательной творческой деятельности миллионов трудящихся.

Намечая задачи советской литературы, как литературы многомиллионных трудовых масс, определяя ее отличительные особенности, Ленин писал: «У нас мало воспитания масс на живых, конкретных примерах и образцах из всех областей жизни, — а это — главная задача прессы во время перехода от капитализма к коммунизму. У нас мало внимания к той будничной стороне внутри фабричной, внутри деревенской, внутри полковой жизни, где всего больше строится новое, где нужно всего больше внимания, огласки, общественной критики, травли негодного, призыва учиться у хорошего.

Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе. Побольше проверки того, насколько коммунистично это новое»¹.

К этой же идее Ленин возвращается в конце 1918 года в статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», написанной в связи с выходом книги молодого провинциального литератора А. Тодорского «Год с винтовкой и плугом».

В этой статье Ленин выразил «пожелание, чтобы как можно большее число работни-

ков, действовавших в массе и с массой, в настоящей гуще живой жизни, занялись описанием своего опыта».

«Издание нескольких сотен или хотя бы нескольких десятков лучших, наиболее правдивых, наиболее бесхитростных, наиболее богатых ценным фактическим содержанием из таких описаний, — заявил Владимир Ильич, — было бы бесконечно более полезно для дела социализма, чем многие из газетных, журнальных и книжных работ записных литераторов, сплошь да рядом, за бумагой не видящих жизни»¹.

Место советского писателя — в массе и с массой, в настоящей гуще живой жизни. Правдивое описание жизненного опыта трудящихся — главное содержание советской литературы. Так почти три десятилетия тому назад определял ее качественные особенности великий Ленин.

Советский рабочий класс на коммунистических субботниках показывает невиданные образцы трудового героизма, и Ленин пишет свою книгу «Великий почин», в которой, всесторонне разъяснив значение этого нового подвига советских людей, упрекает советских литераторов за то, что они обращают недостаточно внимания на эту «одну из важнейших сторон коммунистического строительства», которую они недостаточно еще оценили.

И Ленин снова, как и в статье «О характере наших газет», повторяет свой призыв: «Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее»².

Ростки коммунизма — вот что по ленинскому определению, должны видеть, прежде всего, в советской действительности советские литераторы, призванные всячески поддерживать «простые, скромные, будничные, но живые ростки подлинного коммунизма»³.

«Образцовое производство, — пишет Ленин, — образцовые коммунистические субботники, образцовая заботливость и добро-

¹ В. И. Ленин Сочинения, т. XXIII, стр. 454.

² Там же, т. XXIV, стр. 335.

³ Там же, стр. 343.

¹ В. И. Ленин Сочинения, т. XXIII, стр. 212—214

совестность при добыче и распределении каждого пуда хлеба, образцовые столовые, образцовая чистота такого-то рабочего дома, такого-то квартала,—все это должно составить вдесятеро больше, чем теперь, предмет внимания и заботы как нашей прессы, так и каждой рабочей и крестьянской организации. Все это—ростки коммунизма, и уход за этими ростками наша общая и первейшая обязанность», при неуклонном выполнении которой эти «ростки коммунизма не зачахнут, а разрастутся и разовьются в полный коммунизм»¹.

Советская литература представляет собой невиданный в истории тип литературы многонациональной, различной по своим многообразным национальным формам, но единой по своему социалистическому содержанию. Первая среди равных русская советская литература, опираясь на многовековые традиции прошлого, идет, подобно русскому народу в семье народов советских, во главе процесса взаимообщения и взаимообогащения, сделавшего общенародным достоянием советских людей творения Пушкина и Руставели, Шевченко и Бараташвили, Джамбула и Сулеймана Стальского.

Расцвет многонациональной советской литературы — это один из чудесных плодов ленинско-сталинской национальной политики. Уже в годы гражданской войны Ленин и Сталин закладывали основы этого расцвета.

Так, уже 12 февраля 1919 года товарищ Сталин в одной из своих директив коммунистам Средней Азии призвал их «поднять культурный уровень трудовых слоев, просветить их социалистически, развить литературу на местных языках»².

Эту же великую задачу создания национальных литератур товарищ Сталин выдвигал вскоре в своей статье «Наши задачи на Востоке», опубликованной 2 марта 1919 года на страницах «Правды». «Всеми силами поднимать культурный уровень отсталых народов», — призывал в этой статье товарищ Сталин, отмечая исключительную важность развития литературы «на языке, понятном и родном для окружающего трудового населения»³.

Примеры большевистского руководства

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 344—345.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 230.

³ Там же, стр. 238.

советской литературой в годы гражданской войны поистине неисчислимы. Именно в эти годы Ленин призвал советских литераторов «объявить войну коверканью русского языка»¹, именно в эти годы он предложил «создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького»².

Именно к этому периоду относятся ленинские отзывы о творчестве Демьяна Бедного, известное ленинское письмо А. С. Серафимовичу, знаменательное не только как пример обычной отзывчивости Владимира Ильича к товарищу по борьбе, но и как свидетельство высокой ленинской оценки глубоко партийного послеоктябрьского литературного творчества писателя, увенчавшегося вскоре созданием классического, по определению, данному Центральным Комитетом партии, «Железного потока»³.

Характеристика политики партии в области художественной литературы за годы гражданской войны будет не полной, если не коснуться, хотя бы сжато, отношения ее вождей к Горькому.

Именно под непосредственным влиянием Ленина Горький преодолел свои идейные заблуждения, помешавшие ему еще в 1917 году осознать мудрость большевистской стратегии и тактики. Сам Горький, как известно, не раз сурово осуждал свою тогдашнюю позицию. Именно Ленину обязан он, а вместе с ним и вся советская художественная литература, успешным преодолением своих ошибок.

За 1918—1920 годы Ленин много раз беседовал с Горьким, много писал ему.

Классическим образцом подлинно большевистского руководства великим художником слова является замечательное ленинское письмо Горькому, написанное 31 июля 1919 года.

Ленин напоминает Горькому, что окружавшие его тогда в Петрограде «остатки аристократии» «великолепно умеют извра-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 662.

² «Правда», 21 января 1940. См. также Ленинский сборник XXXIV, стр. 29, Ленинский сборник XX, стр. 315—316, Ленинский сборник XXIII, стр. 205.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIX, стр. 518.

шать все и вся, великолепно хватаются за любую мелочь для излияния своей бешеной злобы против советской власти.

«...Вы пишете, что видите «людей самых разнообразных слоев». Одно дело — видеть, другое дело — ежедневно во всей жизни ощущать прикосновение. Последнее придется Вам больше всего испытывать от этих «остатков» — в силу, хотя бы, Вашей профессии, заставляющей «принимать» десятки обозленных буржуазных интеллигентов, да и в силу житейской обстановки... Все делается, чтобы привлечь интеллигенцию (не белогвардейскую)... И каждый месяц в советской республике растет % буржуазных интеллигентов, искренно помогающих рабочим и крестьянам, а не только брюзжащих и извергающих бешеную слюну. В Питере «видеть» этого нельзя, ибо Питер город с исключительно большим числом потерявшей место (и голову) буржуазной публики (и «интеллигенции»), но для всей России это бесспорный факт.

В Питере или из Питера убедиться в этом можно только при исключительной политической осведомленности, при специально большом политическом опыте. Этого у Вас нет. И занимаетесь Вы не политикой, и не наблюдением работы политического строительства, а особой профессией, которая Вас окружает озлобленной буржуазной интеллигенцией, ничего не понявшей, ничего не забывшей, ничему не научившейся, в лучшем — в редкостно наилучшем случае — растерянной, отчаивающейся, стонущей, повторяющей старые предрассудки, запуганной и запугивающей себя».

И Ленин, как бы определяя задачи и особенности всей советской литературы, определяя место советского писателя в нашем обществе, пишет: «Если наблюдать, надо наблюдать внизу, где можно обозреть работу нового строения жизни, в рабочем поселке провинции или в деревне, там не надо политически охватывать сумму сложнейших данных, там можно только наблюдать. Вместо этого Вы поставили себя в положение профессионального редактора переводов и т. п., положение, в котором наблюдать нового строения, новой жизни нельзя, положение, в котором все силы ухлопываются на большое брюзжание большой интеллигенции, на наблюдение «бывшей» столицы в условиях отчаянной военной опасности и свирепой нужды.

Вы поставили себя в положение, в котором непосредственно наблюдать нового в жизни рабочих и крестьян, т. е. $\frac{9}{10}$ населения России Вы не можете; в котором Вы вынуждены наблюдать обрывки жизни бывшей столицы, из коей цвет рабочих ушел на фронты и в деревню, и где осталось непропорционально много безместной и безработной интеллигенции, специально Вас «осаждающей»...

Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать не можете. Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворяло бы художника, — в Питере можно работать политику, но Вы не политик..

Страна живет лихорадкой борьбы против буржуазии всего мира, мстящей бешено за ее свержение. Естественно. За первую советскую республику — первые удары отсюда. Естественно. Тут жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому там, где нет центра бешеной атаки на столицу, бешеной борьбы с заговорами, бешеной злобы столичной интеллигенции, в деревне или на провинциальной фабрике (или на фронте). Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового».

«Высказал Вам откровенно мои мысли по поводу Вашего письма,—писал в заключение Владимир Ильич. — Из разговора с Вами я давно подходил к тем же мыслям, но Ваше письмо оформило и dokonчило, завершило сумму впечатлений от Ваших разговоров. Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку и среду, и местожительство, и занятие, иначе может опротиветь жизнь окончательно»¹.

Так «резко и остро, но правдиво и честно, без прикрас», как отзывался о ленинском литературном стиле товарищ Сталин², пишет Ленин Горькому.

Так чутко и принципиально руководил он великим писателем, так руководит большевистская партия советской литературой.

В 1920 году большевистская партия идейно разгромила вредное течение в искусстве,

¹ «Красная летопись» № 1 (12), 1925.

² И. В. Сталин. Ответ комсомольцу И. Ф. Иванову. «Правда», 14 февраля 1938.

прикрывавшееся широковещательным названием «Пролеткульт», а на деле являвшееся прямым возрождением антимарксистских идеологических групп «эмпирио-критиков» — богдановцев и богостроителей.

«На деле именно борьбу с марксизмом прикрывают все фразы о «пролетарской культуре»,—писал Ленин еще в 1910 году¹. О том, что он «с беспощадной враждебностью» относится «ко всяким интеллигентским выдумкам, ко всяким «пролетарским культурам», Владимир Ильич говорил весной 1919 года², «Пролеткультовцы» не прислушались к суровым предупреждениям Ленина. Наоборот! Как и все реакционные группы в искусстве советской эпохи, они всячески противопоставляли себя партии, всячески прокламировали свою «автономию» и «независимость».

Осенью 1920 года Ленин запросил Народный Комиссариат Просвещения:

«1) Каково юридическое положение Пролеткульта?

2) Как он и 3) кем назначен его руководящий центр?

4) Сколько даете ему финансов от НКПроса?

5) Еще что есть важного о положении, роли и итогах работы Пролеткульта»³.

2 октября в Москве открылся I Всероссийский съезд Пролеткульта. Накануне съезда Ленин поручил Луначарскому выступить с речью, в которой указать, что «Пролеткульт» считает себя чем-то вроде государства в государстве и свою работу противопоставляет работе Наркомпроса. Такое противопоставление Ленин считал абсолютно недопустимым. Политика Наркомпроса должна отражать полностью руководящую линию партии, и никакой другой, «чисто пролетарской» линии быть не может, — разъяснял тогда Владимир Ильич. Луначарский не выполнил ленинскую директиву. На съезде он провозгласил полную независимость «Пролеткультов» от органов государственной власти.

Ознакомившись с текстом речи Луначарского, Ленин тотчас же набросал такой проект резолюции о пролетарской культуре:

«1. Не особые идеи, а марксизм.

2. Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры.

3. Не особо от НКПроса, а как часть его, ибо РКП + НКПрос = ∑ пролеткульта.

4. Тесная связь и соподчинение Пролеткульта НКПросу»⁴.

В написанном на основе этого наброска проекте резолюции Ленин разъяснял, что в Советском государстве «вся постановка дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т. е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком».

Исходя из этого, Ленин указывал, что пролетариат «как в лице своего авангарда — коммунистической партии, так и в лице всей массы всякого рода пролетарских организаций вообще должен принимать самое активное и самое главное участие во всем деле народного просвещения».

Напомним, что весь опыт новейшей истории «и в особенности более чем полувековая революционная борьба пролетариата всех стран мира со времени появления «Коммунистического Манифеста» доказали бесспорно, что только миросозерцание марксизма является правильным выражением интересов, точки зрения и культуры революционного пролетариата», Ленин писал: «Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что он, марксизм, отнюдь не отбросил ценнейшие завоевания буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая (практическим) опытом диктатуры пролетариата как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры».

Именно с этой принципиальной точки зрения Ленин самым решительным образом отвергал, «как теоретически неверные и пра-

¹ В И. Ленин Сочинения, т. XIV, стр. 298.

² Там же, т. XXIV, стр. 303

³ Ленинский сборник XXXV, стр. 147.

⁴ Ленинский сборник XXXV, стр. 148.

ктически вредные», всякие попытки «пролеткультовцев» «выдумывать свою особую культуру, замыкаться в свои обособленные организации, разграничивать области работы Наркомпроса и Пролеткульта и т. п. или устанавливать «автономию» Пролеткульта внутри учреждений Наркомпроса» и вменял в «безусловную обязанность всех организаций Пролеткульта рассматривать себя всецело как подсобные органы сети учреждений Наркомпроса и осуществлять под общим руководством советской власти (специально Наркомпроса) и Российской Коммунистической партии свои задачи, как часть задач пролетарской диктатуры»¹

Так в новых условиях общественного развития Ленин применил принцип большевистской партийности к характеристике деятельности «Пролеткульта». Именно отступлением от этого принципа, превращением «Пролеткульта» в «автономную» (от марксизма!) и «независимую» (от большевистской партии!) организацию и объясняется проникновение в его руководство антимарксистских идеологов, а в его «студии» и «лаборатории» всевозможных декадентов и халтурщиков.

Только под идейным руководством большевистской партии как выразителя и вдохновителя интересов и запросов народных масс может плодотворно развиваться советское искусство.

Именно этой ленинской идеей проникнуты постановление и письмо Центрального Комитета партии о «Пролеткультах».

Этой резолюцией, ликвидировавшей антипартийную «автономию» «Пролеткульта», его деятельность объявлялась «одной из составных частей работы Наркомпроса, как органа, осуществляющего пролетарскую диктатуру в области культуры» «Пролеткульты» обязывались руководствоваться «в работе направлением, диктуемым Наркомпросу РКП».

Местные «Пролеткульты», согласно этому решению, входили «как подотделы в от-наробраз» и руководствовались в своей работе «направлением, даваемым губнаробразам губкомами РКП».

В специальном письме, разъяснявшем это решение, Центральный Комитет напомнил, что «Пролеткульт» возник до Октябрьской революции. «Он был провозглашен «незави-

симой» рабочей организацией, независимой от министерства народного просвещения времени Керенского. Октябрьская революция изменила перспективу, Пролеткульты продолжали оставаться «независимыми», но теперь это была уже «независимость» от Советской власти».

Именно в результате этой «независимости» в «Пролеткульты» нахлынули социально-чуждые элементы, элементы мелкобуржуазные, которые иногда фактически захватывали руководство «Пролеткультами» в свои руки. «Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии, стали кое-где заправлять всеми делами в пролеткультах».

«Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм), а в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм)», — отмечал Центральный Комитет.

Вместо того, чтобы помогать пролетарской молодежи серьезно учиться, углублять коммунистический подход к жизни и искусству, далекие по существу от коммунизма и враждебные ему художники и философы, провозгласив себя истинно пролетарскими, овладели «Пролеткультами» и мешали рабочим выйти на широкую дорогу свободного и действительно пролетарского творчества. Интеллигентские группы и группочки, под видом «пролетарской культуры», «навязывали передовым рабочим свои собственные полубуржуазные философские «системы» в выдумки». «Те самые антимарксистские взгляды, которые так пышно расцвели после поражения революции 1905 г., и несколько лет (1907—1912 гг.) занимали умы «социал-демократической» интеллигенции, упиавшейся в годину реакции богостроительством и различными видами идеалистической философии,—эти же самые взгляды в замаскированном виде антимарксистские группы интеллигенции пытались теперь привить пролеткультам».

В письме Центрального Комитета дано объяснение причин выступления партии против «Пролеткульта» именно в связи с окончанием гражданской войны: «Если наша партия до сих пор не вмешивалась в это дело, то это объяснялось только тем, что, занятая боевой работой на фронтах, наша партия не всегда могла уделять должное внимание

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXV, стр. 409—410.

этим насущным вопросам. Теперь, когда перед партией возникает возможность более обстоятельно заняться культурно-просветительной работой, партия должна уделить гораздо больше внимания вопросам народного образования вообще и пролеткультам — в частности».

Те самые интеллигентские элементы, которые пытались контрабандно протащить свои реакционные взгляды под видом «пролетарской культуры», подняли шумную агитацию против постановления ЦК. В связи с этим Центральный Комитет разъяснял, что партия не только не хочет «связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества», но, напротив, стремится «создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества. ЦК ясно отдает себе отчет в том, что теперь, когда война кончается, интерес к вопросам художественного творчества и пролетарской культуры в рядах рабочих будет все больше и больше расти. ЦК ценит и уважает стремление передовых рабочих поставить на очередь вопросы о более богатом духовном развитии личности и т. п. Партия сделает все возможное для того, чтобы это дело действительно попало в руки рабочей интеллигенции, чтобы рабочее государство дало рабочей интеллигенции все необходимое для этого»¹.

Идейная непримиримость к антимарксистской идеологической пропаганде, к эстетству, формализму, декадентщине; неуклонное соблюдение принципа большевистской партийности, принципа партийного руководства литературными кадрами; глубокое понимание специфики художественного творчества; неизменное стремление создать для него здоровую, нормальную, благотворную обстановку—все отличительные черты большевистского руководства советской литературой проявились в этом положившем конец пролеткультистичности документе, составленном под непосредственным руководством Ленина.

III

Отечественная гражданская война закончилась полной победой выпестованной Лениным и Сталиным Красной Армии, полной победой советского государства. В

¹ «Правда». 1 декабря 1920.

1921 году начался период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства — один из ответственных периодов в истории большевистской партии.

В годы мирного строительства Ленин и Сталин, отдавшие все свои исполинские силы проведению в жизнь новой экономической политики, руководству восстановлением народного хозяйства, не ослабляют своего неизменного внимания к художественной литературе.

Остановимся хотя бы на некоторых наиболее типичных фактах.

7 февраля 1921 года Ленин закончил свою статью «О работе Наркомпроса».

«Поменьше политической трескотни, поменьше общих рассуждений и абстрактных лозунгов, которыми услаждаются неопытные и не понявшие своих задач коммунисты, побольше производственной пропаганды, а всего больше делового, умелого, приспособленного к уровню развития массы учета практического опыта», — пишет в этой статье Владимир Ильич. Он снова и снова обращает советских литераторов к жизни, к действительности, снова и снова восстает против той самой поистине планетарной абстракции, которую все еще пытались насаждать «пролеткультисты».

Резко осуждая практиковавшуюся тогда бюрократическую систему распределения газет и книг, Ленин предлагает «добиваться и добиваться того, чтобы газеты и книги, по правилу, распределялись даром только по библиотекам и читальням, по сети их, правильно обслуживающей всю страну, всю массу рабочих, солдат, крестьян», ибо тогда «народ во сто раз сильнее, быстрее, успешнее потянется к грамоте, к свету, к знанию» и «дело просвещения двинется вперед семимильными шагами».

Намечая пути экономии бумаги, Ленин доказывает, что можно без особого труда получить такое ее количество, которое окажется достаточным для издания двух ежедневных газет, тиражом по 125 тысяч экземпляров. «И в каждой такой газете, — пишет Владимир Ильич, — каждый день можно бы давать народу серьезный и ценный литературный материал, лучшую и классическую беллетристику, учебники общеобразовательные, учебники сельского хозяйства, учебники по промышленности. Если французские буржуа еще до войны научились, чтобы

наживать деньги, издавать романы для народа не по 3½ франка в виде барской книжечки, а по 10 сантимов (т. е. в 35 раз дешевле, 4 копейки по довоенному курсу) в виде пролетарской газеты, то почему бы нам — на втором шаге от капитализма к коммунизму — не научиться поступать таким же образом? Почему бы нам не научиться, поступая таким же образом, достичь того, чтобы в один год — даже при теперешней нищете — дать народу по 2 экземпляра на каждую из 50.000 библиотек и читален, все необходимые учебники и всех необходимых классиков всемирной литературы...»¹.

Партия осуществила и эту ленинскую идею. Огромные тиражи «Роман-газеты» помогли донести до народа немало лучших произведений советской литературы. Высокая ленинская оценка воспитательного значения «серьезного и ценного литературного материала», лучшей беллетристики воодушевляла советских читателей на творческий труд, на создание подлинно народных художественных произведений.

5 марта 1922 года на страницах «Известий» было впервые опубликовано стихотворение Маяковского, посвященное «Прозаседавшимся». Выступая на следующий день с докладом «О международном и внутреннем положении Советской Республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов, Ленин так отзывался об этом выступлении поэта: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно»².

Поэтический фельетон Маяковского, который прочитал с таким удовлетворением

Владимир Ильич, был действительно стихотворением «на политическую тему».

Оценка его Лениным «с точки зрения политической» была самым высшим критерием оценки, ибо большевистская политика — это мудрая наука о руководстве многомиллионными народными массами, это великое искусство их организации. Ленинская оценка боевой политической направленности поэзии Маяковского давала четкую ориентацию всей советской поэзии. Идеино поддержав Маяковского, Ленин вывел его на тот единственно правильный путь служения народу, неуклонно идя по которому, он и стал вскоре, по знаменитому сталинскому отзыву, «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Через несколько дней, 18 марта 1922 года, Ленин написал предисловие к одной из книг И. И. Скворцова-Степанова, посвященной электрификации России. «От всей души» рекомендовав книгу И. И. Степанова вниманию всех читателей и особенно коммунистов, Ленин особо отметил, что автору «удалось дать замечательно удачное изложение труднейших и важнейших вопросов. Автор прекрасно сделал, что решил писать книгу не для интеллигентов (как у нас принято писать книги, подражая худшим манерам буржуазных писателей), а для трудящихся, для настоящей массы народа, для рядовых рабочих и крестьян»¹.

И Ленин призывает советских литераторов «вместо того, чтобы тратить свои силы на всем надоевшую газетную и журнальную политическую трескотню», засесть за книги для народа.

Не подражать худшим манерам буржуазных писателей, писать не для камерной читательской аудитории, не для кучки эстетов и снобов, а для настоящей массы народа, для миллионов рядовых рабочих и крестьян — этот ленинский наказ стал нерушимой заповедью советской литературы, самой народной литературы мира.

Бороться средствами художественного слова за политику большевистской партии, писать для многомиллионных народных масс — такие требования неизменно предъ-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXVI, стр. 164—167.

² Там же, т. XXVII, стр. 177.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXVII, стр. 195—196.

являл к советской литературе великий основоположник большевизма.

В те годы этим большевистским требованиям во многом отвечало поэтическое творчество Демьяна Бедного. 22 апреля 1922 года Президиум ВЦИК наградил его орденом Красного Знамени. В своем обращении к поэту М. И. Калинин писал, как бы применяя ленинские критерии оценки боевой, политически направленной поэзии, служащей народу: «Велика заслуга тех, кто вооружил бойцов Красной Армии оружием революционного сознания, кто воодушевлял их на трудные и славные подвиги. Особо выдающиеся и исключительные заслуги ваши, как поэта великой революции, оценены по достоинству рабоче-крестьянскими массами республики и особенно участниками гражданской войны. Произведения ваши — простые и понятные каждому, а потому и необыкновенно сильные, зажигали революционным огнем сердца трудящихся и укрепили бодрость духа в труднейшие минуты борьбы.

Страдания, борьба, подвиги и достижения восставшего пролетариата находили в вас достойного поэта. В вашем лице поэзия, быть может, впервые в истории так ярко связала свои судьбы с судьбами человечества, борющегося за свое освобождение, и из творчества для немногих избранных стала творчеством для масс.

Ваше творчество мужало и крепло вместе с ростом революционного пролетариата и закалкой его воли.

Отмечая ваши исключительные художественно-литературные заслуги как в тяжелый период накопления пролетарских сил до победоносной Октябрьской революции, так и в невероятно трудное пятилетие борьбы с российской и мировой контрреволюцией, президиум ВЦИК надеется, что и грядущие неминуемые испытания в развивающейся борьбе застанут вас на славном боевом посту поэта революции, в полном расцвете творчества, посвященного народу».¹

Огромные заслуги Демьяна Бедного перед советской литературой бесспорны, но это не помешало партии подвергать впоследствии резкой критике грубейшие политические ошибки поэта, которые привели его к таким

антинародным, а, следовательно, и художественно ущербным произведениям, чуждым советскому искусству, как поэма «Слезай с печки» или пьеса «Богатыри». На примере Демьяна Бедного может быть особенно ярко показана последовательность и принципиальность большевистского руководства литературными кадрами, плоды которого с такой силой сказались в новом расцвете творчества поэта в годы Великой Отечественной войны.

Неизменное ленинское внимание к литературным вопросам нашло свое яркое выражение и в самых последних публицистических выступлениях Владимира Ильича.

2 января 1923 года в своих «Страничках из дневника» Ленин снова высмеивает тех, «кто витал и витает в эмпиреях «пролетарской культуры»¹. Через два месяца в своей последней статье «Лучше меньше, да лучше» он призывает партию проникнуться «недоверием и скептицизмом» «по отношению к тем, кто слишком много и слишком легко разглагольствует, например, о «пролетарской культуре». «В вопросах культуры, — отмечает Владимир Ильич, — торопливость и размахистость вреднее всего. Это многим из наших юных литераторов и коммунистов следовало бы намотать себе хорошенечко из ус»².

...21 января 1924 года Ленина не стало. Вместе со всем советским народом советские писатели потеряли своего великого идейного наставника, своего строгого учителя, своего заботливого друга.

Но великое дело Ленина было в надежных и верных руках его друга и соратника, его ученика и преемника — Сталина. Сталин и другие ученики Ленина — Молотов, Калинин, Ворошилов, Куйбышев, Фрунзе, Дзержинский, Каганович, Орджоникидзе, Киров, Ярославский, Микоян, Андреев, Шверник, Жданов, Шкирятов и другие образовали то самое руководящее ядро большевистской партии, «которое отстояло великое знамя Ленина, сплотило партию вокруг заветов Ленина и вывело советский народ на широкую до-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXVII, стр. 387.

² Там же, стр. 406

¹ «Известия». 22 апреля 1922.

рогу индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства».¹

Среди великих заветов Ленина были и его заветы об идейности и партийности, о народности советской литературы. Товарищ Сталин и его соратники свято хранят эти великие заветы, неустанно вооружают ими советских писателей.

В феврале 1924 года М. И. Калинин выступил на Всесоюзном совещании крестьянских корреспондентов «Бедноты». Как бы имея в виду упрощенческий стиль некоторых крестьянских писателей, М. И. Калинин заявил, что специфически «крестьянского творчества» не существует. «Иной говорит, — сказал он, — что для крестьянина нужен особый язык, слашавый, приторный. Это сказка. Крестьянин любит самый обыкновенный, хороший, нормальный русский язык. Не надо подделываться к крестьянину».²

И М. И. Калинин заявил, что писатель-коммунист «по убеждению, если не формально, призван вносить свое коммунистическое мировоззрение в каждое явление жизни». «Предположим, он описывает какое-нибудь маленькое событие, — говорил М. И. Калинин, — он сейчас же должен оценить, как коммунист, что это событие — является ли отражением старого или нового, является ли это событие отражением старого, уже изжитого, погибшего строя, или же оно является отражением новой культурности, новой нарождающейся жизни. Коммунист, если он даже об этом и не будет говорить в своей корреспонденции, он должен построить ее так, чтобы вы по прочтении чувствовали, что этот факт является новым фактом по своему характеру, или же старым. Ведь коммунист не может этого не дать почувствовать».

Еще весной 1923 года XII съезд партии, отметив, что за последние два года «художественная литература в Советской России выросла в крупную общественную силу», признал необходимым поставить в практической работе партии «вопрос о руковод-

¹ «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография». Второе издание, исправленное и дополненное, 1947, стр. 105.

² «Беднота», 8 февраля 1924, см. также: М. И. Калинин, За эти годы, 1, стр. 240 «и сборник «Большевицкая печать», ч. II, 1945, стр. 106—110.

стве этой формой общественного воздействия на очередь дня».

В конце мая 1924 года XIII съезд партии, на котором с организационным отчетом Центрального Комитета выступил товарищ Сталин, принял обширную резолюцию «О печати», ряд важнейших пунктов которой был специально посвящен художественной литературе.

Съезд разъяснял партии, какое огромное значение приобретает художественное «творчество рабочих и крестьян, становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе культурного подъема широких народных масс Советского Союза». Рабкоров и селькоров съезд призвал рассматривать «как резервы, откуда будут выдвигаться новые рабочие и крестьянские писатели».

Съезд обязал всемерно усилить «помощь пролетарским и крестьянским писателям, пришедшим в нашу литературу частью от станка и сохи, частью из той интеллигентской прослойки, которая в октябрьские дни и в эпоху военного коммунизма вступила в ряды РКП и комсомола».

Особое внимание Съезд предложил «уделить писателям и поэтам из среды комсомола, активно действующим в гуще рабочей молодежи». По определению, данному в резолюции Съезда, основным условием «роста рабоче-крестьянских писателей является более серьезная художественная и политическая их работа над собой и освобождение от узкой кружковщины, при всемерном содействии партии, в частности партийной литературной критикой».

Вместе с тем Съезд признал необходимым продолжать ведущуюся систематическую поддержку наиболее даровитых из так называемых «попутчиков», воспитывающихся школой товарищеской работы совместно с коммунистами, и «поставить выдержанную партийную критику, которая, выделяя и поддерживая талантливых советских писателей, вместе с тем указывала бы их ошибки, вытекающие из недостаточного понимания этими писателями характера советского строя, и толкала бы их к преодолению буржуазных предрассудков».

Считая, что ни одно литературное направление, школа или группа не могут и не должны выступать монополично от имени партии, Съезд подчеркнул «необходимость

урегулирования вопроса о литературной критике и возможно более полном партийном освещении образцов художественной литературы на страницах советско-партийной печати».

Съезд обратил особое внимание советских писателей на необходимость создания «массовой художественной литературы для рабочих, крестьян и красноармейцев» и в качестве первоочередной задачи выдвинул перед комсомолом «создание литературы для масс крестьянской молодежи». «В деле издания советскими, партийными и другими издательствами литературы для молодежи, — отмечалось в резолюции Съезда, — нужно усилить партийное руководство и обеспечить строгую идеологическую выдержанность. Вся работа в этой области должна быть согласована с воспитательной деятельностью комсомола».

Съезд обязал также органы Наркомпроса «приступить к созданию литературы для детей под тщательным контролем и руководством партии, с целью усиления в этой литературе моментов классового, интернационального, трудового воспитания».

Ряд указаний, данных Съездом периодической печати, в равной степени касался и художественной литературы. Таково, к примеру, «умелое сочетание максимума популярности и яркости изложения с серьезностью и обстоятельностью содержания», к которому Съезд обязал партийные газеты.

Свой вывод должны были сделать советские (особенно крестьянские!) писатели из требования Съезда дать в массовых крестьянских газетах «доступное крестьянству изложение, без фальшивого опрошения и ненужной вульгаризации».¹

Высоко идейных, подлинно партийных, близких и понятных многомиллионным народным массам, художественно совершенных произведений потребовал Съезд от советских писателей.

И как бы в ответ на эти требования партии Маяковский осенью 1924 года заканчивает поэму «Владимир Ильич Ленин» — этот вдохновенный гимн большевистской партийности, а Серафимович — свой «Железный поток», эпическую кар-

тину воодушевленного и организованного большевистской партией революционного движения народных масс.

21 октября 1924 года Маяковский прочел свою поэму в Красном зале Московского Комитета партии — перед активом большевиков столицы. Написанная, поистине, «по мандату долга», поэма эта провозглашала новую, глубоко партийную позицию советского писателя.

«Я всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс», —

заявлял поэт. Именно это сознательное и добровольное служение революционному классу и его большевистскому авангарду помогло Маяковскому прославить

«величественнейшее слово —
п а р т и я»

увидеть в ней «единый ураган», «миллионнопалую руку», сжатую «в один громадный кулак», понять ее как «бессмертие нашего дела».

«Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —

вот что такое партия», — писал Маяковский, и вслед за ним шли новые и новые поколения молодых советских писателей.

18 июня 1925 года в развитие постановлений XIII съезда партии была принята резолюция Центрального Комитета «О политике партии в области художественной литературы» — один из важнейших документов большевистского руководства писательскими кадрами.

«Подъем материального благосостояния масс за последнее время, в связи с переворотом в умах, произведенным революцией, усилением массовой активности, гигантским расширением кругозора и т. д., создает громадный рост культурных запросов и потребностей, — отмечал в этой резолюции Центральный Комитет. — Мы вступили, таким образом, в полосу культурной революции, которая составляет предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу».

Рост новой литературы — «пролетарской и крестьянской в первую очередь, начиная от ее зародышевых, но в то же время небывало широких по своему охвату форм

¹ «ВКП(б) в резолюциях», т. 1, стр. 610—615.

(рабкоры, селькоры, стенгазеты и проч.), и кончая идеологически осознанной литературно-художественной продукцией», — Центральный Комитет охарактеризовал как часть этого массового культурного роста, непосредственный результат культурной революции.

С другой стороны, по оценке ЦК «сложность хозяйственного процесса, одновременный рост противоречивых и даже прямо друг другу враждебных хозяйственных форм, вызываемый этим развитием процесс зарождения и укрепления новой буржуазии; неизбежная, хотя на первых порах не всегда осознанная, тяга к ней части старой и новой интеллигенции; химическое выделение из общественных глубин новых и новых идеологических агентов буржуазии — все это должно неизбежно сказываться и на литературной поверхности общественной жизни». «Как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте. В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах, бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике».

Охарактеризовав новые формы классовой борьбы и отметив особенности ее проявлений в искусстве, Центральный Комитет рассмотрел в своей резолюции пять основных вопросов политики большевистской партии в области художественной литературы. К их числу Центральный Комитет отнес: соотношение между пролетарскими писателями, крестьянскими писателями и так называемыми «попутчиками» и другими — во-первых; политику партии по отношению к самим пролетарским писателям — во-вторых; вопросы критики — в-третьих, вопросы о стиле и форме художественных произведений и методах выработки новых художественных форм — в-четвертых и, наконец, вопросы организационного характера — в-пятых.

Провозгласив идейную гегемонию пролетарской литературы, Центральный Комитет отметил, что крестьянские писатели «должны встречать дружелюбный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой». «Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, отнюдь, однако, не вытравливая из их творчества крестьян-

ских литературно-художественных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство».

По отношению к «попутчикам» Центральный Комитет обязал иметь в виду их дифференцированность, значение многих из них как квалифицированных «специалистов» литературной техники; наличие колебаний среди этого слоя писателей. «Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии. Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы (теперь крайне незначительные), борясь с формирующейся идеологией новой буржуазии среди части «попутчиков» сменовеховского толка, партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изживать в процессе все более тесного товарищеского сотрудничества с культурными силами коммунизма».

По отношению к пролетарским писателям Центральный Комитет обязал партийные органы, всячески помогая их росту и всемерно поддерживая их и их организацию, «предупреждать всеми средствами проявления комчванства среди них, как самого губительного явления». «Партия именно потому, что она видит в них будущих идейных руководителей советской литературы, должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследию, а равно и к специалистам художественного слова. Равным образом заслуживает осуждения позиция недооценивающая самую важность борьбы за идейную гегемонию пролетарских писателей. Против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, — таков должен быть лозунг партии. Партия должна также бороться против попыток чисто оранжерейной «пролетарской» литературы; широкий охват явлений во всей их сложности; не замыкаться в рамках одного завода; быть литературой не цеха, а борющегося великого класса, ведущего за собой миллионы крестьян, — таковы должны быть рамки содержания пролетарской литературы».

Особо определил Центральный Комитет задачи литературной критики, являющейся одним из главных воспитательных орудий в руках партии: «Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на одну от пролетарской идеологии, вскрывая объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, раскрывать сменовековский либерализм и т. д., и в то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним. Коммунистическая критика должна згнать из своего обихода тон литературной команды. Только тогда она, эта крика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое идейное превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, поуграмотное и самодовольное комчванство. Марксистская критика должна поставить перед собой лозунг — учиться и должна давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде».

Важнейшие методологические указания дал Центральный Комитет и по вопросу о художественных формах советской литературы. Распознавая безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, — отмечалось в постановлении, — «партия в целом отнюдь не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению в области литературной формы». Руководя литературой в целом, партия не может поддерживать «какую-либо одну фракцию литературы (классифицируя эти фракции по различию взглядов на форму и стиль)... Все заставляет предполагать, что стиль, соответствующий эпохе, будет создан, но он будет создан другими методами, и решение этого вопроса еще не чинилось. Всякие попытки связать партию в этом направлении в данную фазу культурного развития страны должны быть отвергнуты».

Этим стилем, соответствующим эпохе, и стал сталинский стиль социалистического реализма. Выдвинутый товарищем Сталиным через несколько лет после постановления Центрального Комите-

та лозунг социалистического реализма и был гениальным решением вопроса, намеченным партией еще в 1925 году.

Центральный Комитет призвал всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела, «обеспечить действительно правильное, полезное и тактичное руководство нашей литературой».

Центральный Комитет призвал писателей «перенести центр тяжести своей работы в литературную продукцию в собственном смысле этого слова, используя при этом гигантский материал современности».

В заключение Центральный Комитет подчеркнул «необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского», и призвал «смелее и решительнее порвать с предрассудками барства в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, выработать соответствующую форму, понятную миллионам».¹

Постановление Центрального Комитета вызвало настоящий подъем в среде советских писателей. Лучшие мастера художественного слова в откликах на постановление выразили свою полную солидарность с развитыми в нем идеями и прежде всего идеей народности советского искусства.

«Как безусловно и неумолимо человечество пройдет через революцию пролетариата, так литература неотвратимо будет приближаться к массам, — писал в своем отклике на постановление Центрального Комитета А. Н. Толстой. — ...Художник должен стать органическим соучастником новой жизни. На нас, русских писателей, падает особая ответственность. Мы — первые, как Колумбы на утлых каравеллах, мы устремляемся по неизведанному морю к новой земле. За нами пойдут океанские корабли. Из пролетариата выйдут великие художники. Но путь будет проложен нами»².

Писатели-коммунисты увидели в постановлении ЦК новый образец применения ленинского принципа партийности.

«Я убежден, что мы идем к созданию единой революционной литературы, кото-

¹ «Справочник партработника», т. V, стр. 349—352.

² «Журналист», 10, 1925, стр. 13.

рая будет расти и крепнуть под непосредственным руководством партии, — писал Ф. В. Гладков. — Подлинным писателем современности может быть только тот, кто способен глубоко чувствовать бие-ние пульса нашей эпохи, кто вжился в нее, кто способен не только объяснить ее, но и преобразовать, не только жить настоящим, но и уметь видеть будущее. Современный наш писатель неизбежно должен быть романтиком в революционном значении этого слова. Только такой художник и создаст новую литературу»¹.

С особым одобрением отзывались писатели и о решительном отпоре кружковщины, данном в постановлении ЦК.

«Нет сомнения, что резолюцию ЦК о художественной литературе встретит с чувством большого облегчения каждый честный разумный работник нашей печати», — заявил тогда Л. М. Леонов. «Наши силы от революции, равно как и опыт наш от революции. Расходовать их на склоку и сопротивление «наскокам» — преступление против тех, кто в поте сурового труда с терпеливым вниманием ждет писательского слова»².

По заявлению А. С. Новикова-Прибоя, резолюция Центрального Комитета «дает простор для проявления талантов как пролетарских и крестьянских писателей, так и попутчиков. Она вносит ясность и для редакторов и для критиков, и для самих писателей; она допускает любую форму, свойственную тому или другому автору, любой стиль»³.

IV

В 1926 году советская страна вступила под руководством большевистской партии в период борьбы за социалистическую индустриализацию. Преодолев за 1926—1929 годы огромные внутренние и международные трудности, партия и рабочий класс добились победы политики социалистической индустриализации страны, разрешили в основном одну из труднейших задач индустриализации — задачу накопления средств для строительства тяжелой про-

мышленности, заложили основы тяжелой индустрии, способной перевооружить все народное хозяйство.

Именно в эти годы был принят первый сталинский пятилетний план социалистического строительства, развито огромное строительство новых заводов, совхозов, колхозов.

Заложив основы тяжелой индустрии, партия мобилизовала рабочий класс и крестьянство на выполнение первого пятилетнего плана социалистического переустройства СССР. В стране развернулось социалистическое соревнование миллионов трудящихся, началось мощное трудовое подьом, вырабатывалась новая дисциплина труда.

«Этот период заканчивается годом великого перелома, который означал крупнейшие успехи социализма в промышленности, первые серьезные успехи в сельском хозяйстве, поворот середняка в сторону колхозов, начало массового колхозного движения»⁴.

Летом 1928 года Центральный Комитет провел Всесоюзное совещание по вопросам агитации, пропаганды и культурного строительства.

Ряд материалов этого совещания посвящен партийному руководству литературой»

«Партийная линия партии в области литературы, намеченная в резолюции ЦК о художественной литературе (1925 г.), сохраняет все свое значение для нынешнего периода», — отмечается в этих материалах, обязывающих в области литературы «вести более активную политику по приближению к пролетариату групп левых «попутчиков», постоянную товарищескую авторитетную критику их ошибок и товарищескую помощь им» и в то же время разоблачать всякого рода попытки «правых реакционных писателей возродить буржуазную идеологию в литературе».

«Настроение и быт «богемы», мелкобуржуазные влияния, проникающие иногда в ряды пролетарских писателей, — все это должно встречать систематический отпор со стороны партийного руководства писательскими организациями».

Основные задачи партии в области литературы могли быть выполнены лишь при условии усиления влияния про-

¹ «Журналист», 10, 1925, стр. 8.

² «Журналист», 8—9, 1925, стр. 31.

³ Там же, стр. 32.

⁴ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 285—286.

тии в организациях писателей, лишь при условии усиления марксистско-ленинской коммунистической критики.

Усиление большевистского руководства организациями писателей, «устранение элементов командования в руководстве ими, укрепление связи писательских организаций с организациями рабкоров и селкоров и содействие выдвиганию из среды последних новых писателей» — такие задачи выдвинула партия в 1928 году.

«Борьба за четкую марксистскую коммунистическую критику», достаточно авторитетную и квалифицированную, была охарактеризована тогда, как основная задача в области критики. «Сползанию с классовых пролетарских позиций, эклектизму и благодушному отношению к чуждой идеологии, беспринципности в оценке художественных произведений, комчанству, кружковщине и вульгаризации, нередко выдающей себя за марксизм», партия объявила решительную борьбу. Именно тогда партия предложила «усилить продвижение социально и художественно ценных произведений в широкие массы трудящихся».

«Литература, театр, кино, живопись, музыка, радио, эстрада — все это должно быть продвинуто в самые широкие слои населения и использовано в борьбе за новые культурные навыки, новый быт, против буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, против водки, мещанства и обывательщины. При выполнении этой задачи необходима решительная борьба против халтуры, воскрешения мещанской идеологии под новыми ярлычками, рабского подражания буржуазной культурности»¹

Так, еще в 1928 году партия резко выступила против какого бы то ни было низпоклонства перед буржуазной культурой, и передовые советские писатели творчески применили ее политические требования. Бичующие новоявленное мещанство вдохновенные статьи Горького и стихи Маяковского были образцом для всех советских писателей. Именно осенью 1928 года появились знаменитые статьи Горького «Механическим гражданам СССР» и «Еще о механических гражданах». За ними последовали вскоре статьи «Ответ» и «О мещанстве». В том же 1928 году вышел в свет I том «Жизни Клима Самгина», этого страстного обвинительного акта против буржуазной интеллигенции.

¹ «Справочник партработника», т. VII, стр. 410—422.

К этому же периоду относятся такие шедевры политической сатиры Маяковского, как «Стих не про дрянь, а про дрянцо», «Идиллия» и многие другие сатирические и агитационные стихи великого поэта.

Осенью 1928 года состоялось Всесоюзное совещание редакторов, на котором с большим докладом о текущем моменте и задачах печати выступил В. М. Молотов.

Партия подвергла суровой критике деятельность печати в обслуживании культурных запросов масс.

«Попытки газет и журналов откликнуться на возросшие и продолжающиеся возрастать культурные запросы масс введением «литературных страничек», критико-библиографических отделов, отделов искусств», по оценке совещания, не дали еще достаточно положительных результатов.

Отсутствие «достаточно энергичной борьбы» против проникновения «в литературу, в искусство и в быт буржуазной идеологии», «неправильное, псевдо-марксистское, иногда вульгарное, беспринципное, мещанское толкование явлений и фактов» литературы и искусства, неумение вести «активную борьбу против идеологически чуждых влияний в искусстве, в литературе», ориентация — при постановке отделов литературы, критики и библиографии — «по преимуществу на высокоразвитого, интеллигентного читателя, а не на широкие массы», — таковы существенные недостатки печати, вскрытые тогда партией.

Борьба за изгнание «из всех областей культурного строительства явлений упадочничества, сменовеховства, религиозности, национализма, антисемитизма и остатков передонощины», «решительная борьба — в статьях, фельетонах и рецензиях — с проникновением в театр, кино, изобразительное искусство и литературу буржуазных влияний, против мещанства, порнографии и всяких видов халтуры», — такие задачи выдвинула партия перед публицистикой и литературной критикой¹.

28 декабря 1928 года было принято постановление Центрального Комитета «Об обслуживании книгой массового читателя».

Высоко оценив роль и значение «массовой книги как орудия организации масс и коммунистического просвещения, повышения их культурного уровня», Центральный

¹ «Справочник партработника», т. VII, стр. 427—432.

Комитет обязал издательства расширить издание художественной литературы, особенно произведений, развивающих актуальные политические темы и направленных против буржуазных влияний, мещанства, упадочничества и т. д., «обеспечить максимальную доступность массовой книги (по форме и изложению) для широкого читателя».

Мобилизация масс вокруг основных политических и хозяйственных задач («в первую очередь индустриализации страны и рационализации промышленности, повышения урожайности сельского хозяйства и его социалистической перестройки»), активное классовое воспитание рабочих и широких масс трудящихся в борьбе против буржуазных и мелкобуржуазных влияний и пережитков — такие задачи поставила партия перед литературой накануне года великого перелома¹, ознаменовавшегося массовым социалистическим соревнованием миллионов рабочих масс.

Соревнование это товарищ Сталин уже в мае 1929 года оценил как один из самых важных фактов, если не самый важный факт нашего строительства.

Охарактеризовав социалистическое соревнование как коммунистический метод строительства социализма на основе максимальной активности миллионов масс трудящихся, товарищ Сталин определил и задачи советской литературы.

Познакомившись с книгой молодой очеркистки Елены Микулиной, товарищ Сталин нашел в ней «простой и правдивый рассказ о тех глубинных процессах великого трудового подъема, которые составляют внутреннюю пружину социалистического соревнования».

Этот простой и правдивый рассказ товарищ Сталин противопоставил всевозможным абстрактным рассуждениям «о философии соревнования» и призвал советских литераторов изобразить «картину того, как проводится соревнование самими массами, картину того, что переживают миллионные массы рабочих, осуществляя соревнование и подписывая договора, картину того, что массы рабочих считают дело

соревнования своим собственным родным делом»¹.

Так большевистская партия в статье своего вождя дала новый наказ советской литературе, и ныне определяющий одну из важнейших ее задач, далеко еще не решенную советскими писателями.

V

Грандиозные успехи социалистической индустриализации подвели советское государство к новому великому историческому периоду — периоду борьбы за коллективизацию сельского хозяйства.

Создание незыблемого фундамента социалистической экономики — первоклассной тяжелой социалистической индустрии и коллективного механизированного земледелия, уничтожение безработицы, уничтожение эксплуатации человека человеком, создание условий для непрерывного улучшения материального и культурного положения трудящихся нашей родины — таковы были всемирно-исторические итоги выполнения первого пятилетнего плана.

Смелая революционная и мудрая политика партии и правительства была основной причиной этих гигантских успехов. Именно в эти годы капиталистическое окружение, стремясь ослабить и подорвать могущество СССР, усиливает свою «работу» по организации внутри СССР банд убийц, вредителей, шпионов. В лице троцкистов и зинovieвцев германский и японский фашизм приобрел верных слуг, идущих на шпиль, вредительство, террор и диверсии, на поражение СССР — во имя восстановления капитализма. «Советская власть твердой рукой карает этих выродков человеческого рода и беспощадно расправляется с ними, как с врагами народа и изменниками родины»².

Враги проникли и в среду советских писателей. Они пробралась в руководство РАПП'а, окопались в ряде издательств и редакций. И партия призвала к революционной бдительности на литературном фронте. Так, в организационном отчете Центрального Комитета XVI партийному съезду Л. М. Каганович привел ряд примеров, по

¹ Сборник «Большевистская печать», 1940, стр. 323—324.

² «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 314—315.

¹ «Справочник парработника», т. VII, стр. 400—401.

казывающих проникновение контрреволюционного мракобесия в нашу литературу. «По линии культуры, по линии литературы, особенно в национальных республиках, обострилась классовая борьба, и нужна величайшая, бдительность на этом фронте», — говорил Л. М. Каганович¹.

От имени писательской общественности XVI съезд приветствовал А. С. Серафимович. Как сообщил он съезду, «многие писатели рассеялись по заводам, колхозам, на стройках, чтобы непосредственно видеть, чтобы дать в творчество жизнь»².

Именно к тридцатым годам относятся имевшие историческое значение для развития советской литературы беседы товарища Сталина с группами советских писателей.

Именно в эти годы товарищ Сталин выдвинул свой лозунг социалистического реализма, определяющего не только идейное направление советской литературы, но и ее художественный стиль. Именно в эти годы товарищ Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ.

Уже в этих беседах товарищ Сталин сурово осудил «административный восторг» рапповских руководителей, их увлечение беспринципной групповщиной, мешавшей творческому росту писателей, препятствовавшей консолидации литературных сил вокруг партии.

В начале тридцатых годов Центральный Комитет партии и лично товарищ Сталин не раз поддерживали различные начинания Горького, вставшего в те годы во главе советской литературной жизни.

30 мая 1931 года в постановлении «Об издании «Истории гражданской войны» Центральный Комитет одобрил «инициативу тов. А. М. Горького» и предложил приступить к изданию для широких трудящихся масс «Истории гражданской войны» (1917—1921 гг.) в 10—15 томов в виде сборников научно-исторических статей и литературно-художественных произведений.

В Главную редакцию «Истории гражданской войны» Центральный Комитет ввел товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Кирова.

¹ «XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет», стр. 142—143.

² Там же, стр. 705.

В тот же день Горький написал статью, озаглавленную «Участникам гражданской войны» и призывающую их рассказать молодежи «о том, как рабочие и крестьяне царской России вели вооруженную борьбу за власть советов, за свое право перестроить хозяйство на социалистический лад, за право создать из рабской страны свободное пролетарское государство», дать молодежи «новый заряд трудовой и творческой энергии, необходимой для завершения дела великого, небывалого в истории человечества»¹.

7 сентября 1931 года «Известия» и «Правда» опубликовали статью Горького «История фабрик и заводов». «Мы должны неутомимо бороться против остатков древней глупости, против политического и всякого иного невежества, за нашу культуру социализма, — писал в своей статье Горький. — Нам необходимо изучать нашу действительность во все ее объеме, нам нужно знать в лицо все наши заводы и фабрики, все предприятия, все работы по строительству государства. Надо подробно, всесторонне знать все, что нами унаследовано от прошлого, и все, что создано за 14 лет, создается в настоящем. Надобно знать роль каждого наиболее типичного завода, каждой области производства, — завода, как двигателя промышленности, как школы техников и школы революционеров, завода, как воспитателя классового революционного самосознания рабочих, и как организатора, участника гражданской войны. Надо знать завод в его современном значении, как организатора социалистического сознания и социалистического производства»².

10 октября в постановлении об издании «Истории заводов» Центральный Комитет одобрил «предложение т. М. Горького» и предложил приступить к изданию серии сборников «Истории заводов».

«Сборники эти, — указывал Центральный Комитет, — должны дать картину развития старых и возникновения новых заводов, их роль в экономике страны, положение рабочих до революции, формы и методы эксплу-

¹ «Правда», 31 июня 1931. См. также: М. Горький. Публицистические статьи, стр. 269.

² «Правда», 7 сентября 1931. См. также М. Горький. Публицистические статьи, стр. 273.

атации на старых заводах, борьбу рабочих с предпринимателями, бытовые условия, возникновение революционных организаций и роль каждого завода в революционном движении, роль завода и изменение отношений на заводе после революции, изменение типа рабочего, ударничество, соцсоревнование и подъем производства за последние годы.

В редакционную коллегию «Истории заводов» наряду с писателями Центральный Комитет ввел Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, Н. М. Шверника, Л. З. Мехлиса.

23 апреля 1932 года Центральный Комитет партии принял по инициативе товарища Сталина свое историческое постановление «О перестройке литературно-художественных организаций».

Констатировав, что за последние годы «на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства», Центральный Комитет напомнил, что партия «всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства», когда в литературе налично было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы.

В новых же условиях, «когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАП, РАПП, РАПМ и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества».

«Это обстоятельство, — разъяснял Центральный Комитет, — создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству».

Ввиду необходимости соответствующей перестройки литературно-художественных

организаций и расширения базы их работы Центральный Комитет постановил:

«1) Ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАП, РАПП);

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства»¹.

Через два года, выступая на XVII съезде партии, Л. М. Каганович исчерпывающе разъяснил смысл этого исторического решения.

Напомним, что в РАПП'е «группа коммунистов-писателей, пользуясь организационным инструментом РАПП, неправильно использовала силу своего коммунистического влияния на литературном фронте и вместо объединения вокруг РАПП и привлечения широких писательских кадров... тормозила, задерживала разворот творческих писательских сил». Л. М. Каганович заявил: «Можно было бы конечно вынести большую резолюцию о задачах коммунистов в литературе, можно было бы предложить рапповцам изменить свой курс. Но это могло остаться благим пожеланием. Товарищ Сталин поставил вопрос по-иному: надо, — говорил он, — организационно изменить положение».

И вот тогда был поставлен вопрос о ликвидации РАПП, о создании единого Союза писателей. После этого организационного решения вопроса писательские силы поднялись, развились и дело в литературе улучшается. Решением организационного вопроса было таким образом, обеспечено правильное проведение линии партии в литературе»².

Эти сталинские идеи развивали в своих выступлениях, беседах, статьях руководители партии.

6 февраля 1934 года товарищ Жданов выступил в «Литературной газете» со статьей, призывающей «Проследить судьбу горьковских героев и горо-

¹ «Справочник партработника», т. VIII, стр. 376—377.

² «XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), Стенографический отчет», стр. 565.

лов». Критикуя ряд советских писателей, А. А. Жданов отмечает неумение их выявить «роль коммунистов-организаторов, роль партии как организатора новой жизни».

«Незнание производства», «схематизм, отсутствие жизненности, основной идеи, надуманность самого замысла», «сухость изложения» — таковы отмеченные А. А. Ждановым типичные недостатки многих произведений советских писателей. Он призывает их к созданию «широкого полотна с развернутым показом нашей действительности». Характеризуя яркость типов и образов, созданных Горьким, А. А. Жданов отмечает, что никто из советских писателей не попытался проследить дальнейшую судьбу горьковских героев — Павла Власова, Фомы Гордеева, Артамоновых... «И ведь до сих пор герой известного произведения Горького «Мать» Павел жив физически, — это Петр Заломов.—известный революционер», — пишет А. А. Жданов. «Разве не интересно было бы для советских писателей, — указывает он в заключение, — проследить жизнь этих людей до нашего времени, посмотреть, чем сейчас стал «городок Окуров», во что превратился Арзамас».

«Мы ждем от советских писателей больших художественных произведений, отображающих наше социалистическое строительство в городе и деревне», — писал А. А. Жданов в своей статье, прекрасно выражавшей неизменные требования большевистской партии к художникам слова¹.

17 августа 1934 года вступительной речью Горького открылся Первый Всесоюзный съезд советских писателей. «Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, — с гордостью заявил Горький. — в стране, где неутомимо и чудовищно работает железная воля Иосифа Сталина».

От имени Центрального Комитета партии на съезде выступил А. А. Жданов. В своей речи, произнесенной в день открытия съезда, А. А. Жданов заявил, что успехи советской литературы «обусловлены успехами социалистического строительства». «Рост ее есть выражение успехов и достижений нашего социалистического строя. Наша литература является самой молодой из всех литератур всех народов и стран. Вместе с тем

она является самой идейной, самой передовой и самой революционной литературой. Нет и никогда не было литературы, кроме литературы советской, которая организовывала бы трудящихся и угнетенных на борьбу за окончательное уничтожение всей и всяческой эксплуатации и ига наемного рабства. Нет и не было никогда литературы, которая кладет в основу тематики своих произведений жизнь рабочего класса и крестьянства и их борьбу за социализм. Нет нигде, ни в одной стране в мире, литературы, которая бы защищала и отстаивала равноправие трудящихся всех наций, отстаивала бы равноправие женщин. Нет и не может быть в буржуазной стране литературы, которая бы последовательно разбивала всякое мракобесие, всякую мистику, всякую поповщину и чертовщину, как это делает наша литература».

Такой передовой, идейной, революционной литературой могла стать и стала действительности только советская литература — плоть от плоти и кость от кости нашего социалистического строительства».

Отметив, что советские литераторы создали уже немало талантливых произведений, правильно и правдиво рисующих жизнь нашей советской страны, что вся масса советских литераторов под руководством партии, «при чутком и повседневном руководстве ЦК и неустанной поддержке и помощи товарища Сталина сплотилась вокруг советской власти и партии», А. А. Жданов дал глубокую характеристику современной буржуазной литературы, находящейся в состоянии упадка и разложения.

Кризис буржуазной литературы отражает кризис загнившего капиталистического строя. Прямо противоположно положение литературы советской — детища строя социалистического. «Наш советский писатель черпает материал для своих художественных произведений, тематику, образы, художественное слово и речь из жизни и опыта людей Днепростроя, Магнитостроя. Наш писатель черпает свой материал из героической эпохи челюскинцев, из опыта наших колхозов, из творческой деятельности, кипящей во всех уголках нашей страны».

В нашей стране главные герои литературного произведения — это активные строи-

¹ «Литературная газета», 6 февраля 1934.

тели новой жизни: рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, партийцы, хозяйственники, инженеры, комсомольцы, пионеры. Вот основные типы и основные герои нашей советской литературы. Наша литература насыщена энтузиазмом и героикой. Она оптимистична, причем оптимистична не по какому-либо зоологическому «нутрянному» ощущению. Она оптимистична по существу, так как она является литературой восходящего класса, пролетариата, единственно прогрессивного и передового класса. Наша советская литература сильна тем, что служит новому делу — делу социалистического строительства.

Напомним, что товарищ Сталин назвал наших писателей «инженерами человеческих душ», А. А. Жданов показал, что это означает, прежде всего, «знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях, изобразить не схематически, не мертво, не просто как «объективную реальность», а изобразить действительность в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод художественной литературы и литературной критики есть то, что мы называем методом социалистического реализма».

«Быть инженером человеческих душ, — разъяснял далее А. А. Жданов, — это значит обеими ногами стоять на почве реальной жизни. А это в свою очередь означает разрыв с романтизмом старого типа, с романтизмом, который изображал несуществующую жизнь и несуществующих героев, уводя читателя от противоречий и гнета жизни в мир несбыточного, в мир утопий. Для нашей литературы, которая обеими ногами стоит на твердой материалистической основе, не может быть чужда романтика, но романтика нового типа, романтика революционная».

Мы говорим, что социалистический реализм является основным методом советской художественной литературы и литературной критики, а это предполагает, что революционный романтизм должен входить в литературное творчество как составная часть, ибо вся жизнь нашей партии, вся жизнь рабочего класса и его борьба заключается в сочетании самой суровой, са-

мой трезвой практической работы с величайшей героикой и грандиозными перспективами. Наша партия всегда была сильна тем, что она соединяла и соединит сугубую деловитость и практичность с широкой перспективой, с постоянным устремлением вперед, с борьбой за построение коммунистического общества. Советская литература должна уметь показать наших героев, должна уметь заглянуть в наше завтра. Это не будет утопией, ибо наше завтра подготавливается планомерной сознательной работой уже сегодня».

Нельзя быть инженером человеческих душ, не зная техники литературного дела, — подчеркнул в заключение А. А. Жданов, указав, что социалистический реализм предоставляет писателю возможность применить все роды литературного оружия (жанры, стили, формы и приемы литературного творчества) в их разнообразии и полноте, отбирая все лучшее, что создано в этой области всеми предшествующими эпохами.

«С этой точки зрения овладение техникой дела, критическое усвоение литературного наследия всех эпох представляет собою задачу, без решения которой вы не станете инженерами человеческих душ», — заявил товарищ Жданов.

Быть инженерами человеческих душ — это значит, наконец, активно бороться за культуру языка, высокое художественное качество произведений. «Наша литература еще не отвечает требованиям нашей эпохи, — говорил тогда А. А. Жданов. — Слабости нашей литературы отражают отставание сознания от экономики, отчего, разумеется, не свободны и наши литераторы. Вот почему неустанная работа над собой и над своим идейным вооружением в духе социализма является тем непременным условием, без которого советские литераторы не могут перестраивать сознания своих читателей и тем самым быть инженерами человеческих душ. Нам нужно высокое мастерство художественных произведений, и в этом отношении неоценима помощь Алексея Максимовича Горького, которую он оказывает партии и пролетариату в борьбе за качество литературы, за культурный язык».

Большевистская партия создала советским писателям решительно все условия для того, чтобы они дали произведения, созвучные эпохе, «произведения, на которых бы учились современники и которые были бы гордостью будущих поколений», «произведения, отвечающие требованиям культурно выросших масс».

Теснейшая связь с читателями, с массами трудящихся, любовь и внимание, которыми окружают советских писателей партия, рабочие и колхозное крестьянство, чуткость и вместе с тем требовательность, которые проявляют рабочий класс и колхозники к советским литераторам, создают все условия для их творческого расцвета.

«Создайте творения высокого мастерства, высокого идейного и художественного содержания!»

Будьте активнейшими организаторами переделки сознания людей в духе социализма!

Будьте на передовых позициях борцов за бесклассовое социалистическое общество!»¹

Эти призывы, которыми товарищ Жданов заключил свою речь на съезде, были призывами большевистской партии ко всей советской литературе.

VI

В 1935 году начался новый период в истории советского государства — период борьбы за завершение строительства социалистического общества и проведение новой Конституции.

Капиталистический мир вступил во вторую мировую войну, а Советский Союз к 1 апреля 1937 года, за 4 года и 3 месяца, выполнил вторую пятилетку.

Историческая сталинская речь о кадрах, которые решают всё, о людях, которые являются самым ценным и самым решающим капиталом из всех ценных капиталов, имеющихся в мире. Начало стахановского движения и могучая сталинская поддержка его. Огромные достижения культурной революции. Принятие новой сталинской Конституции СССР, Конституции победы социализма и рабоче-крестьянской демокра-

¹ «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет», стр. 2—5.

тии. Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей, изменников Родины — этих белогвардейских пигмеев и ничтожных лакеев фашизма. Проведение первых выборов в Верховный Совет СССР, увенчавшихся подлинным триумфом сталинского блока коммунистов и беспартийных. Таковы основные события этого периода...

В эти годы неустанного творческого труда советских людей свои выводы сделали советские писатели из приветствия, с которым товарищ Сталин обратился к работникам советской кинематографии «в день ее славного пятнадцатилетия».

Помогать рабочему классу и его партии «воспитывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, подымать их культуру и политическую боеспособность», прославлять подобно «Чапаеву» величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, создавать новые произведения, мобилизующие на выполнение новых задач и напоминающие «как о достижениях, так и о трудностях социалистической стройки» — этот сталинский наказ советской кинематографии определял в то же время задачи всего советского искусства¹.

В эти годы товарищ Сталин назвал Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», а безразличие к его памяти и его произведениям расценил как преступление.

Сталинская оценка творчества Маяковского была новым выражением поддержки большевистской партией идейного, политически направленного искусства, образцом которого и были «все сто томов» «партийных книжек» Маяковского — его поэтических произведений, проникнутых идеями большевизма.

1 октября 1935 года, по инициативе партии, советское правительство наградило орденом Ленина «писателя Николая Островского, бывшего активного комсомольца, героического участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за советскую власть здоровье, самоотверженно продолжающего оружием художественного слова борьбу за дело социализма, автора талантливого произведения «Как закалялась сталь».

¹ «Правда», 11 января 1935.

В ответ на высокую правительственную награду Н. А. Островский писал товарищу Сталину:

«Дорогой, любимый товарищ Сталин!

Я хочу сказать Вам, вождю и учителю, самому дорогому для меня человеку, эти несколько пламенных, от всего сердца слов.

Правительство наградило меня орденом Ленина. Это — высшая награда. Меня воспитал ленинский комсомол, верный помощник партии, и пока у меня бьется сердце до последнего его удара, вся моя жизнь будет отдана большевистскому воспитанию молодого поколения нашей социалистической родины.

Мне очень больно подумать, что в последних боях с фашизмом я не могу занять своего места в боевой цепи. Жестокая болезнь сковала меня, но с тем большей страстью я буду наносить удары другим оружием, которым меня вооружила партия Ленина—Сталина, вырастившая из малограмотного рабочего парня советского писателя»¹.

Подлинно большевистская партийность, высокая идейность, ясное понимание перспектив борьбы, неиссякаемая вера в победу нашего правого дела, неугасимая ненависть к врагу, глубокое понимание воспитательной роли советской литературы — все эти отличительные качества Николая Островского партия ставила в пример всем советским литературным кадрам.

В эти годы советскую литературу постигло величайшее несчастье. 18 июня 1936 года умер А. М. Горький.

В траурные дни его кончины советские люди еще не знали, что Горький пал, как солдат в бою, от руки подлых наемников фашизма. Величайшей скорбью была охвачена вся страна. Весь советский народ хоронил своего любимого писателя. Думы и чувства всех честных советских людей, думы и чувства всей большевистской партии прекрасно выразил В. М. Молотов в своей проникновенной речи на похоронах А. М. Горького. «Прощаясь сегодня с Алексеем Максимовичем Горьким, — сказал тогда В. М. Молотов, — мы, его друзья и бесчисленные читатели-поклонники, переживаем такое чувство, что у каждого из нас как-то яркая частица своей собственной жизни уходит навсегда в прошлое. Миллионы лю-

дей переживают сейчас это чувство. Так душевно глубоко и непосредственно близко стоял Горький к нам, к людям своей эпохи, которым он так много дал гениальным художественным словом, своей безмерной любовью к трудящимся и борьбой за свободного человека, примером всей своей замечательной, неповторимой жизни»¹.

И товарищ Молотов, ярко характеризую жизненный и творческий путь великого писателя, славит горьковскую «непримиримость и революционную ненависть к капиталистическому строю», горьковскую «беззаветную веру в освободительную силу коммунизма».

«Вот почему,—говорит В. М. Молотов,—рабочие и все трудящиеся видят в Горьком себя, своего человека, свою жизнь—судьбу, свое будущее. Вот почему Горького так любили, любят и будут любить трудящиеся нашей страны и других стран».

Назвав бессмертными созданные Горьким «образы людей своего времени», В. М. Молотов выделяет среди них не только «художественные фигуры капиталиста—хищника наживы, затхлого мещанина провинциальной глуши, самовлюбленного буржуазного интеллигента-паразита», но и данные великим художником пролетариата «замечательные образы свободолобивых и самоотверженных людей, не мирящихся с гнетом и тиной жизни», мастерски вылепленные им «лучшие и выразительнейшие образы пролетарских революционеров, согретые теплотой истинного чувства гениального художника».

Товарищ Молотов от имени большевистской партии определил подлинное историческое место корифея советской литературы. «По силе своего влияния на советскую литературу,—сказал В. М. Молотов,—Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время. Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственное и сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником пролетарской, социалистической ли-

¹ В. М. Молотов. Статьи и речи 1935—1936. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 238.

¹ «Известия», 3 октября 1935.

ратуры в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира»¹.

Ближайший друг великого Ленина по борьбе за коммунизм, беззаветный друг трудящихся, — так охарактеризовала Горького, устами В. М. Молотова, большевистская партия. В светлом облике Горького она увидела прекрасный идеал советского писателя, призванного до последнего вздоха жить «одними чувствами и мыслями с теми, кто с таким энтузиазмом строит теперь новое, социалистическое общество под руководством партии Ленина — Сталина», призванного, быть полным «непримиримости к врагам трудящихся, к фашистам и ко всем другим угнетателям и душителям культуры и поджигателям войн».

«Каждому успеху трудящихся в нашей стране. — говорит о Горьком товарищ Молотов, — успехам стахановцев, новым формам движения среди женщин, росту урожая и производительности труда, разоблачению вылазок и позвохов со стороны врага и укреплению обороны страны, и особенно культурному росту масс, росту литературы и искусства, он радовался, как пламенный юноша и как мудрый отец»².

Таким подлинным советским патриотом призван быть, подобно Горькому, каждый советский писатель. Великий пример Горького образец для всех советских литературных кадров. «Литераторам, художникам слова, — говорит В. М. Молотов, — этот пример показывает силу слова, когда это слово служит борьбе за счастье человека и человечества, когда это слово доходит до сердца людей и народов»³.

Гениальный художник слова, великий сын великого народа, беззаветный друг трудящихся и вдохновитель борьбы за коммунизм — так говорит о Горьком товарищ Молотов. «После Ленина смерть Горького — самая тяжелая утрата для нашей страны и для человечества, — заявил он в заключение. — Наша сила в том, что народ Советской страны, которому Горький отдал весь свой великий талант и великое сердце, поднялся уже на свои могучие ноги, дал простор росту своих безмерных сил и та-

лантов и тем самым победоносно воплощает в жизнь надежды и мечты лучших представителей человечества»¹.

К новому творческому подъему шла в те годы под руководством большевистской партии советская художественная литература. И партия с отеческой заботой поддерживала каждое ее начинание, каждое достижение, каждый успех, неустанно воспитывала литературные кадры, резко выступала против всех явлений, чуждых советскому искусству. 14 ноября 1936 года было опубликовано постановление Комитета по делам искусств при Совнарком СССР о пьесе Д. Бедного «Богатыри».

Отметив, что эта пьеса «огольно чернит богатырей русского былинного эпоса в то время, как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа, дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры», — Комитет постановил снять с репертуара пьесу «Богатыри», «как чуждую советскому искусству»².

Не «Богатыри» Демьяна Бедного, а прямопротивоположные им, глубоко патриотические произведения характерны для этого периода в истории советской литературы.

«Хлеб» А. Толстого, «Слава» Виктора Гусева, «Белест парус одинокий» и «Я, сын трудового народа» В. Катаева, «На востоке» П. Павленко, «Страна Муравия» А. Твардовского, «Патриоты» С. Диковского, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Кочубей» А. Первенцева, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова — таковы лишь немногие из лучших книг советских писателей, созданных за те годы.

О росте советской литературы ярко говорил тогда А. А. Жданов. Так, к примеру, в своей речи на Чрезвычайном VIII всесоюзном съезде советов 29 ноября 1936 года он заявил: «Мы критикуем, и справедливо, наших литераторов, писателей, беллетристов за то, что они мало дают продукции и не всегда хорошего качества, а если сопоставить рост нашей литературы с со-

¹ В. М. Молотов. Статьи и речи 1935—1936. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 239, 240.

² Там же, стр. 239.

³ Там же.

¹ Там же, стр. 240.

² «Известия», 15 ноября 1936

стоянием литературы в капиталистических странах, то преимущества нашей литературы выступают со всей яркостью и полнотой. Все меньше и меньше становится там талантливых произведений, литература забита уголовными и детективными романами, чтивом для одурманивания сознания трудящихся масс»¹.

Высокую большевистскую оценку заслуг советских художников слова знаменовало собой награждение лучших советских писателей орденами Советского Союза.

31 января 1939 года Президиум Верховного Совета СССР наградил «За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы» 21 писателя—орденом Ленина, 49 писателей—орденом Трудового Красного Знамени и 102 писателей — орденом «Знак Почета».

Среди награжденных, наряду с признанными мастерами, партия и правительство отметили молодых писателей, лишь недавно вступивших в литературу. Наряду с русскими, украинскими, белорусскими, грузинскими, армянскими, еврейскими писателями были награждены писатели народов, лишь после Великой Октябрьской социалистической революции создавших свою письменную художественную литературу. Вместе с профессиональными писателями высоких наград были удостоены народные сказители, ашуги и акыны.

Единство советского художественного и устного народного поэтического творчества, единство многонациональной советской литературы получило в этом историческом указе яркое выражение.

VII

В марте 1939 года открылся XVIII съезд большевистской партии. В своем докладе на Съезде товарищ Сталин назвал «одним из самых важных результатов культурной революции в нашей стране» рождение новой, народной, социалистической интеллигенции, вышедшей из рядов рабочего класса, крестьянства, советских служащих, представляющей собой плоть от плоти и кровь от крови нашего народа, интеллиген-

ции, не знающей ярма эксплуатации, ненавидящей эксплуататоров и готовой служить народам СССР верой и правдой»¹.

«Укреплять морально-политическое единство советского общества и дружественное сотрудничество рабочих, крестьян, интеллигенции, укреплять всемерно дружбу народов СССР, развивать и культивировать советский патриотизм», «овладеть марксистско-ленинской наукой о законах развития общества» — такие задачи выдвинул товарищ Сталин перед партией, и задачи эти стали задачами советской литературы².

Характеризуя в своей речи на XVII съезде партии роль товарища Сталина в развитии советского искусства, Е. М. Ярославский заявил: «ЦК партии и лично товарищ Сталин уделяют очень много внимания вопросам социалистической культуры. Мы вправе сказать, что в Советском государстве искусство стоит, в особенности в идейном отношении, на такой высоте, на какой оно не может стоять ни в какой капиталистической стране... И здесь надо отметить, что указания товарища Сталина, его постоянный неослабевающий интерес к этому делу, является мощным двигателем для наших художников, артистов, киноработников и писателей... Такие замечательные фильмы, как «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Великое зарево», «Выборгская сторона», «Депутат Балтики», «Александр Невский», «Чапаев», «Шорс» и др., созданы в значительной степени по указанию товарища Сталина. Товарищ Сталин вдохновляет художников, дает им руководящие идеи, и благодаря этому художники создали произведения, которые войдут в историю человечества как замечательные памятники истории, истории искусства нашей эпохи, которые начинают век социалистического возрождения искусства»³.

1934—1939 годы были годами очистительной работы партии, ликвидировавшей троцкистских и иных двурушников, многие из которых пробралась, и в литературные органы. Партия помогла советским писа-

¹ И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 589.

² И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 591—592 и 599.

³ «XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет», стр. 133.

¹ А. А. Жданов. Победа социализма и расцвет советской демократии. Партиздат ЦК ВКП(б), 1936, стр. 15—16.

телям очистить свои организации от троцкистско-бухаринской скверны. На XVIII съезде партии об итогах этой очистительной работы ярко и образно говорил делегат съезда М. А. Шолохов. «Как и все участники нашей жизни, — заявил он в своей речи, — советская литература, избавившись от врагов, стала и здоровее и крепче. Основные кадры советских писателей, взращенные революцией, воспитанные партией и советской властью, были, есть и всегда будут безгранично преданы делу Ленина — Сталина.

Мы избавились от шпионов, фашистских разведчиков, врагов всех мастей и расцветов, но вся эта мразь, все они по существу не были ни людьми, ни писателями в подлинном смысле этого слова. Это были, попросту, паразиты, присосавшиеся к живому, полнокровному организму советской литературы. Ясно, что, очистившись, наша писательская среда только выиграла от этого.

Но орудовавшие около литературы враги успели нанести нам тяжелый удар: при их участии и помощи был убит великий писатель современности Горький. Этого все трудящееся человечество не забудет и не простит врагам народа никогда».

Выражая думы и чувства всех честных советских писателей, М. А. Шолохов заявил, что они, «надо прямо сказать, не принадлежат к сентиментальной породе западноевропейских пацифистов». «Мы живем и работаем под руководством товарища Сталина, а это нас ко многому обязывает и ко многому уже научило, — сказал М. А. Шолохов. — Если враг нападет на нашу страну, мы, советские писатели, по зову партии и правительства, отложим перо и возьмем в руки другое оружие, чтобы в зале стрелкового корпуса, о котором говорил товарищ Ворошилов, летел и разил врага и наш свинец, тяжелый и горячий, как наша ненависть к фашизму... Разгромив врагов, мы еще напишем книги о том, как мы этих врагов били по-ворошиловски. Книжки эти послужат нашему народу и останутся в наряде тем из захватчиков, кто случайно окажется недобитым».¹

Не прошло и трех лет, как сотням советских писателей действительно довелось взять в руки боевое оружие и вместе со

всем советским народом громить ненавистного врага.

Развивать и культивировать советский патриотизм, овладеть марксистско-ленинской теорией — в 1939—1941 годы эти, выдвинутые товарищем Сталиным задачи становятся в центре внимания советской литературной общественности.

6 ноября 1939 года, в канун 22-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, о расцвете советской культуры говорил в своем докладе В. М. Молотов. В то время вторая мировая война уже охватила почти всю Европу и Азию. Свыше 1300 миллионов людей уже были втянуты в ее кровавую орбиту. Советский Союз готовился ко всем и всяческим неожиданностям. Он укрепил оборону и напрягал все свои исполнительские силы для решения великой задачи, поставленной Сталиным на XVIII съезде. Новый крупный шаг вперед сделал Советский Союз и в области подъема культуры. «Рост наших школ и библиотек, неуклонный рост нашей печати, театров, кино и других видов искусства» — таковы, по оценке В. М. Молотова, основные признаки этого подъема. «На наших глазах, — говорил товарищ Молотов, — идет не только подъем национальных культур, но и сближение этих культур между собой».¹

И товарищ Молотов сослался на московские декады показа национального искусства, на всенародное празднование юбилеев Пушкина и Тараса Шевченко, на огромные симпатии, которыми пользуются в среде культурных советских людей гениальные творения Шота Руставели и армянский эпос о народном герое Давиде Сасунском.

Определяя отличительные черты новой социалистической культуры, В. М. Молотов заявил, что ее глубоко революционный характер вовсе «не означает отрицания культурных достижений прошлого, не означает отказа от культурного наследия народов. Напротив, все действительные достижения культуры народов, как бы они далеко ни уводили в прошлое, высоко ценятся в советском государстве и встают теперь перед своим народом и перед народами всего Советского Союза возрожденными, в своем действительном идейном блеске».

¹ «XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет», стр. 475—476.

¹ В. М. Молотов. XXII годовщина Октябрьской революции. Госполитиздат, 1939, стр. 14.

«Большевики не из числа людей, не помнящих родства со своим народом, — говорил тогда от имени партии В. М. Молотов. — Мы, большевики, вышли из самой гущи народа, ценим и любим славные дела истории своего народа, как и всех других народов. Мы хорошо знаем, что настоящий прогресс, который возможен только на базе социализма, должен опираться на всю историю народов и на все их достижения в прошлых веках, должен раскрыть подлинный смысл истории жизни народов, чтобы полностью обеспечить славное будущее своего народа и, вместе с тем, светлое будущее всех народов».¹

Вооруженная великими идеями большевизма советская литература подходила вместе со всем советским народом к кануну Великой Отечественной войны.

VIII

В ночь на 22 июня немецкие захватчики жоварно и вероломно напали на Советский Союз. Не зная страха в борьбе и самоотверженно идти на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей призвал советских людей великий Сталин. Великолепные качества большевика — храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины — он призывал сделать достойным миллионов и миллионов народов Советского Союза.

По зову партии на фронт пошли сотни советских писателей. В политических отделах воинских соединений и частей, в редакциях фронтовых, армейских и дивизионных газет, а нередко и плечом к плечу с бойцами Красной Армии советские писатели несли в массы свое призывное слово, воодушевляли воннов на подвиги, разоблачали и клеймили врага.

Нацией Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Горького и Чехова — назвал Сталин в те дни русский народ. «Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдастся, — его уничто-

жают», — писал он в одном из своих боевых приказов¹.

Великая Отечественная война была великим испытанием для всего советского строя, и воспитанная большевистской партией советская литература с честью выдержала этот экзамен.

В годы Великой Отечественной войны, как писал тогда Ем. Ярославский, литература и искусство в советском государстве были целиком направлены на разгром врага, на ускорение победы советского народа над гитлеровской Германией.

В годы войны советская литература поистине вышла на линию огня. «Поэты славят оружие советских воинов, — писал в то время тов. Ярославский, — поэты вдохновляют на новые подвиги, поэты вливают бодрость в сердца борцов, усиливают крепость их рук и мощь удара»². Трудно найти советского поэта, писателя, который в грозные дни Отечественной войны не нашел бы настоящих слов, выражающих чувства советского народа, его великую любовь к своей родине, его ненависть к врагу, его героизм.

Всем своим непоколебимым политическим и моральным авторитетом поддержала партия передовых советских писателей в их благородной патриотической деятельности. Одним из первых отметил эти новые достижения советской литературы М. И. Калинин. Выступая осенью 1942 года с большой речью «О некоторых вопросах агитации и пропаганды» на совещании секретарей областных комитетов комсомола, М. И. Калинин подробно разобрал несколько военных корреспонденций. С особым сочувствием он отозвался о тех очерках, которые «дают реальную картину боев», соблюдают «все пропорции и соотношения», правдиво показывают «человеческие чувства, человеческие переживания». Этим очеркам М. И. Калинин противопоставил корреспонденции авторов, которые, словно разгулявшиеся богатеи, раздают «честь и славу, как вяземские пряники», риторическими выкриками подменяют сдержанную художественную правду.

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. пятое, стр. 43.

² Ем. Ярославский. «30 лет большевистской «Правды», 1942, стр. 58—59.

¹ В. М. Молотов. XXII годовщина Октябрьской революции. Госполитиздат, 1939, стр. 11—15.

Характеризуя публицистическую деятельность И. Г. Эренбурга, Михаил Иванович говорил: «Как нужно относиться к статьям Эренбурга? Эренбург ведет рукопашный бой с немцами, он бьет направо и налево. Это горячая атака, и он бьет немцев тем предметом, который ему в данный момент попался в руки: стреляет из винтовки, вышли патроны — бьет прикладом, бьет по голове, куда попало. И в этом главная военная заслуга автора».

Высоко оценил М. И. Калинин и один из очерков писателя К. Финна, который правдиво рассказал о жизни ивановских рабочих в годы войны, описав их конкретно, реально. «Чувствуется, что здесь дан кусок подлинной жизни. Ничего нарочито не подчеркнuto, не натянуто»,¹ — сказал М. И. Калинин.

«Нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души», — учил советских людей Сталин и советские писатели воспитывали страстную ненависть к врагу. «В нашей литературе, у наших лучших художников слова, — писал по этому поводу М. И. Калинин, — ненависть к злу проходит одной чертой, — как самое благородное чувство и одно из самых активных средств борьбы с врагами человечества». По отзыву М. И. Калинина, очень коротко «описал ненависть к немцам Горбатов в повести «Непокоренные».²

Весной 1945 года, накануне победоносного завершения Великой Отечественной войны, М. И. Калинин в беседе с корреспондентами газеты «Известия» и Всесоюзного радиокomiteта высказал несколько положений, имеющих огромное значение для всех советских писателей.

Советская литература и искусство проникнуты идеями большевистской партийности, но это, как разъясняет М. И. Калинин, вовсе не значит, что доктрина коммунизма «как таковая непременно должна ограничивать их жизненную полнокровность, сочность, многоцветность, яркость и красочность, что их преобладающей формой неизбежно является дидактическое или моралистическое изложение». Ничего подобного! Напротив, именно такой большевистский подход, именно марксизм-лени-

низм открывает советским литературным кадрам «неограниченное поле для вдохновенного творчества на базе действительного понимания социального развития человечества».

Показывая зависимость каждого частного явления от общего, единство части и целого, что как раз и соответствует действительному развитию общественной жизни людей, давая самый разносторонний материал — «от репортерской заметки до высокохудожественного произведения, — говорит М. И. Калинин, — отображая в этом материале все разнообразие нашей повседневной жизни и все изгибы человеческой души», советские литераторы «при таком подходе будут неизбежно и вместе с тем как бы произвольно раскрывать торжество ленинско-сталинских идей на практике, которые являются выражением объективных закономерностей общественного развития».

И М. И. Калинин напоминает, что русская классическая литература считается одной из лучших литератур в мире прежде всего потому, что она является одной из самых реалистических литератур, «т. е. по своему содержанию и форме она наиболее полно отражала современную ей русскую действительность», не фотографировала существующую действительность, а художественно воспроизводила ее, как живописец, во всей жизненной реальности К сожалению, как отмечал тогда М. И. Калинин, многие советские литераторы «больше занимаются фотографированием, чем живописанием. Некоторые из них поэтому ближе к натурализму, чем к реализму. А разница между реализмом и натурализмом такая же, как между живописью и фотографией. Хорошо написанный портрет в общем и целом тождествен с фотографией, но вместе с тем он совершенно не то, что фотография: в нем чувствуется живой человек со, всем его динамизмом»

Одним лишь внешним сходством, совпадением, тождеством далеко не ограничивается реалистический метод художественного творчества. Классическая русская литература славна не этим, а «внутренней своей жизненностью своей идейной направленностью за освобождение человека от кабалы».

«С этой стороны все лучшие произведения нашей классической литературы эсте-

¹ «Большевик», № 17—18, 1947 г.

² М. И. Калинин Статьи и речи 1945—46 г. Госполитиздат, 1946. стр. 39.

ты называли «тенденциозными». Мы не боимся этого слова, — говорит М. И. Калинин и напоминает, что каждый советский литератор должен обладать определенной направленностью, партийностью.

По оценке М. И. Калинина, нельзя сказать, что у советских литераторов «недостает понимания необходимости определенной направленности, партийности. Нет, главный камень преткновения в том, что многие из них не научились творчески выражать эту направленность, партийность». И Михаил Иванович призывает советских литераторов все свои произведения «сделать реалистическими, пропитанными идейным содержанием не в смысле того, чтобы в конце или в начале сами факты, само действие приводило читателя к партийности. Иначе говоря, описывается частный факт с полной объективностью, но впечатление от этого описания, его воздействие на читателя должны приводить к партийности. Это, конечно, самая трудная задача. Наша классическая литература тем и славна, в том и заключается ее величие, что она в совершенстве решала эту задачу».

М. И. Калинин осуждает такие литературные произведения — очерки и корреспонденции, в которых все дело сводится к описанию одних только материальных достижений человека. «Видимо, сторонники этого типа считают, — говорит он, — что тем самым исчерпывается описание всего человека. Конечно, этого мало. Жизнь наша усложняется, народ становится культурнее и больше требует для души. Поэтому надо показывать не только материальную, но и психологическую сторону жизни людей. Возьмите роман: если там мало психологических, душевных переживаний, то он не производит впечатления. Как будто бы роман и неплохой сам по себе, а все-таки чего-то в нем недостает». Вот почему М. И. Калинин призывает показывать советского человека «с психологической стороны, показывать его душевные переживания, работу его мыслей, его культурность, его общественную и, может быть, даже научную значимость, его работоспособность», подчеркивая при этом, что его достижения не являются случайностью, а что они результат систематического напряжения его духовных сил, его убежденности в обще-

ственной полезности своего труда, результат «его одухотворенности, т. е. понимания того, что его труд не есть простое физическое усилие, но вместе с тем это — удовлетворение его душевных потребностей».

«Вкладывать всю душу в свою повседневную работу, что и делает ее живой, действенной»¹, — с таким призывом обратился М. И. Калинин к советским литераторам, таким призывом напутствовала их большевистская партия накануне перехода к мирному развитию, к строительству коммунизма.

IX

9 мая 1945 года наступил великий день победы над Германией. В своем историческом обращении к народу товарищ Сталин сообщил, что фашистская Германия, «поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию»¹.

Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. «Период войны в Европе кончился», — заявил товарищ Сталин. «Начался период мирного развития»².

Не прошло и четырех месяцев, и капитулировала империалистическая Япония. Наступил долгожданный конец второй мировой войны, долгожданный мир для народов всего мира. «Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, — с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире», — заявил товарищ Сталин в своем новом обращении к народу.

Новые задачи, задачи мирного строительства, восстановления и развития народного хозяйства встали перед страной. Новые задачи поставила большевистская партия в перед советской художественной литературой

Через два месяца в докладе о 28-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции В. М. Молотов заявил, что теперь советская «интеллигенция, как передовая и наиболее культурная часть, слилась со своим народом, подняв, тем самым,

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. пятое, стр. 170

² Там же, стр. 171.

¹ «Партийное строительство», № 6, 1945, стр. 8—17.

морально-политическое единство советского общества на еще более высокую ступень», в чем «нельзя не видеть нового подъема советского демократизма, окрыляющего нас новыми надеждами и уверенностью относительно будущего нашей страны»¹.

Избрание на состоявшихся вскоре выборах в Верховный Совет СССР выдающихся советских писателей в высший орган государственной власти — таково новое свидетельство высокой оценки советским народом роли художественной литературы в советском обществе.

В наше время советская литература вышла на международную арену, как верный друг всего передового и прогрессивного человечества, как страстный, непримиримый враг реакционеров и мракобесов, поджигателей третьей мировой войны.

В конце марта 1946 года в печати всего мира были опубликованы ответы товарища Сталина на вопросы корреспондента американского агентства «Ассошиэтед Пресс».

«Необходимо, чтобы общественность и правящие круги государств организовали широкую контрпропаганду против пропагандистов новой войны и за обеспечение мира, — заявил тогда товарищ Сталин, — чтобы ни одно выступление пропагандистов новой войны не оставлялось без должного отпора со стороны общественности и печати, чтобы, таким образом, своевременно разоблачать поджигателей войны и не давать им возможности злоупотреблять свободой слова против интересов мира»².

Это сталинское указание, адресованное всей прогрессивной печати мира, было живо воспринято и глубоко осознано советскими писателями. «Русский вопрос» Симонова, публицистические статьи и очерки И. Эренбурга, Б. Горбатова, Л. Леонова, Д. Заславского, А. Лейтеса, Ю. Жукова, О. Курганова, клеймящие поджигателей новой войны, — таков лишь самый первый, далеко еще не достаточный отклик советской литературы на призыв вождя.

Принятые осенью 1946 года постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и

«Ленинград», о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, о кинофильме «Большая жизнь», доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» — таков новый этап большевистского руководства советской литературой.

Охватывающие все роды и жанры литературы — прозу, поэзию, драматургию, киносценарии — постановления эти представляют собой замечательный пример творческого развития основных принципов ленинско-сталинской эстетики.

Как и все партийные документы, определявшие большевистскую политику в области искусства, они обязывают советских художников к созданию высококачественных, подлинно партийных произведений, предназначенных для миллионов советских людей. Как и все партийные документы, они непримиримо выступают против гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, клеветнического изображения советской действительности и советских людей, против пессимизма и упадочничества, против несвойственного советским людям духа низкопоклонства перед современной буржуазной культурой, против обывательской беспринципности в литературной критике.

Документы эти развивают и применяют эстетические принципы ленинизма на конкретном литературном материале, дают образец подлинно научного марксистско-ленинского эстетического анализа, основанного на критериях и принципах социалистического реализма.

Так, в докладе А. А. Жданова глубоко вскрыты идейные и эстетические корни вредных, антинародных писаний Зощенко и Ахматовой, прослежен весь их литературно-политический путь, дана исчерпывающая характеристика таких эстетских литературных течений, какими были акмеизм и «Серрапионовы братья». Так, в постановлении о кинофильме «Большая жизнь» дан образец всестороннего идейно-художественного разбора, противопоставляющего этот порочный в идейно-политическом и крайне слабый в художественном отношении кинофильм советской действительности.

Постановления ЦК ВКП(б) и доклад А. А. Жданова дают советским писателям цельную и стройную программу деятельности.

Руководствоваться методом социалистического реализма, добросовестно и внима-

¹ В Молотов, 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Госполитиздат, 1945, стр. 92.

² «Правда», 23 марта 1946.

тельно изучать нашу действительность. стремиться глубже проникнуть в сущность процессов нашего развития, отбирать лучшие чувства и качества советского человека, раскрывать перед ним завтрашний его день и показывать в то же время нашим людям, какими они не должны быть, бичевать пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским людям идти вперед,— вот требования, выдвинутые ныне партией, опирающиеся на всю эстетику ленинизма, это высшее развитие общечеловеческой эстетической мысли.

Неизменно руководствуясь тем, что составляет жизненную основу советского строя, его политикой, руководствуясь указаниями и требованиями большевистской партии, великой вдохновительницы и наставницы советских писателей, — наша литература, как прекрасно сказал в своем докладе А. А. Жданов, «оставит далеко позади самые лучшие образцы творчества старых времен».

Новые задачи великого строительства, грандиозные планы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства нашей страны требуют высокого идейного уровня и широчайшего размаха всей воспитательной и культурной работы. «Социалистическое сознание, — говорит по этому поводу А. А. Жданов, — ускоряет движение советского общества вперед, умножает источники его силы и могущества».

Вот почему неуклонное повышение политического и культурного уровня народа составляет жизненную потребность советского строя. Вот почему такие неизменно высокие требования партия предъявляет к литературе и искусству.

Об этих новых задачах, вставших ныне перед советской литературой, говорил в своем докладе о 29-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции А. А. Жданов.

Напомним, что Центральный Комитет партии за последнее время вскрыл недо-

пустимые факты безидейности и аполитичности в нашей литературе, А. А. Жданов заявил, что мы «хорошо знаем природу этой безидейности». «Это те самые пережитки капитализма в сознании людей, которые еще приходится преодолевать и выкорчевывать. Последние решения ЦК ВКП(б) по вопросам идейно-политической работы имеют целью усилить большевистскую непримиримость ко всякого рода идеологическим извращениям и поднять на новый, более высокий, уровень все средства нашей социалистической культуры: печать, пропаганду и агитацию, науку, литературу и искусство. Нам нужно больше высококачественных и художественных фильмов, беллетристических произведений, пьес и т. д.».

Оградить молодежь от тлетворных и чуждых влияний и организовать ее воспитание и образование в духе большевистской идейности, воспитать отважное племя строителей социализма, верящих в торжество нашего дела, бодрых и не боящихся никаких трудностей, готовых преодолевать любые трудности — такие задачи поставила большевистская партия перед советской литературой.

* * *

Большевистское руководство советской литературой — это основа основ ее творческого роста. В данном обзоре приведены лишь незначительная часть материалов, характеризующих неуклонную последовательность большевистского руководства советской художественной литературой, его высокую идейность и принципиальность. Показать на историко-литературных фактах неопределимую силу воздействия большевистской партии на советскую литературу — вот благородная задача для ее историков.

На всех этапах, во все периоды своего развития слышала советская литература мудрый, поощряющий, а нередко и предостерегающий голос партии, голос Ленина и Сталина.

Политика большевистской партии по отношению к художественной литературе представляет собой творческое применение великих принципов эстетики ленинизма, генеральное развитие всех лучших идеалов революционной демократии, претворение в жизнь подлинно прогрессивных чаяний величайших мастеров русского художественного слова, всегда мечтавших об искусстве больших идей и благородных чувств, ис-

кусстве, просвещающем и воспитывающем многомиллионные народные массы.

«Работники литературы, искусства, кинематографии! Создавайте высокоидейные художественные произведения, достойные великого народа!» — призывает большевистская партия советских художников. В этом призыве снова и снова чеканно выражены основные требования партии к советскому искусству.



ГИДЕОН ДЖЕКСОН И ДРУГИЕ

(Расовая дискриминация и американская литература последних лет)

М. МЕНДЕЛЬСОН

★

В заключительные годы войны и в послевоенный период довольно видное место в американской литературе заняла негритянская тема.

Это утверждение нужно тут же уточнить. Книжные прилавки Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско попрежнему завалены, главным образом, «развлекательными» произведениями, в частности, романами псевдоисторического характера с явным порнографическим уклоном. В эти дни издатели и многие критики в США прилагают особенно много усилий, чтобы раздуть интерес к модной литературе декадентски-натуралистического пошиба, ставящей своей целью замутить сознание читателей. С другой стороны, едва ли можно сказать, что за последние четыре или пять лет в Соединенных Штатах созданы произведения о жизни негров, имеющие непреходящее художественное значение. Определенный упадок, свойственный современной американской литературе в целом, дает себя чувствовать и в этой области.

И все же среди немногих изданных в Америке за самое последнее время романов и пьес, которые отмечены печатью известной искренности и мысли, стремлением глубже понять действительность, явно выделяются произведения о жизни негров. Это не случайно. В послевоенные годы негритянская проблема приобрела в США особую остроту. Предчувствие этого сквозит и в тех книгах, которые были написаны еще во время войны. О каком бы периоде американской жизни ни шла речь в новейших произведениях на негритянскую тему — о современности, о годах между двумя мировыми войнами или даже о событиях, развернувшихся в середине про-

шлого века, всюду авторы с большей или меньшей силой выражают ощущение, что события войны не пройдут для негра бесследно. Более того, некоторые современные книги о негритянской жизни прямо свидетельствуют о возникновении новых настроений, новых тенденций среди той десятой части американцев, которых природа наделила темной кожей.

2

Крупнейший современный негритянский поэт Америки Лэнгстон Хьюз как-то заметил, что, беседуя со своими друзьями-белыми, он не раз удивлялся плохой осведомленности их о том, «насколько неспособной оказалась демократия» разрешить негритянский вопрос. Из большого числа социологических, экономических и прочих исследований, выходящих в свет в Америке, лишь самая ничтожная доля посвящена негритянской проблеме. Что еще важнее авторы подобных работ совсем редко осмеливаются отображать жизнь «цветных» в США в подлинном свете. Современные буржуазные идеологи в Америке, которые усиленно стремятся представить свою страну образцом демократии для всего света, предпочитают замалчивать негритянский вопрос, а порою даже осмеливаются утверждать, что он в Америке нашел разрешение. Между тем, как со всею решительностью говорит, например, американский историк Картер Вудсон, гражданские права, поскольку это касается негров, представляют собой не реальность, а попросту фикцию.

Вот уже скоро сто лет со дня опубликования повести Гарриет Бичер-Стоу «Хи-

жина дяди Тома». Сколь ни велико количество книг, издаваемых в последнее время в США, нельзя назвать произведение, которое с подобной же силой и ясностью показывало миллионам читателей, как складывается судьба негров в современной Америке. Уместно будет поэтому предположить разбор последних романов и пьес на негритянскую тему, вышедших за океаном, некоторые фактические сведения о положении темнокожих людей в Америке через восемьдесят лет с лишним после официальной отмены рабства.

Общее количество негров в США составляет ныне свыше 13 миллионов. Показательно, что доля негритянского населения систематически уменьшается (она упала с 14 процентов в 1860 г. до неполных десяти в 1940 г.). Не последнюю роль в этом играет бедность, обездоленность негра, лишенного здоровой и достаточной пищи, нужной медицинской помощи. Смертность среди негров несравненно выше смертности среди белых. Громадное большинство негров (примерно три четверти), как и раньше, живет на юге. Формально, на основе известной поправки к конституции США, негры являются свободными людьми, фактически же, в большинстве своем, они находятся на положении полурабов.

Лишь в течение нескольких лет после окончания гражданской войны 1861—65 гг. делались реальные попытки предоставить южным неграм возможность участвовать в самоуправлении, защищать свои права в законодательных органах южных штатов и всей страны. Вскоре же негры снова были заданы на расправу бывшим рабовладельцам в их сторонникам. При помощи массового оголтелого террора, убийств и истязаний негр был «поставлен на свое место», возвращен в исходное состояние. Ку-Клукс-Клан и другие организации того же характера с ведома и поощрения властей без остатка уничтожили все кратковременные свободы. Доступ к участию в политической жизни страны для негра на юге — впрочем, не только на юге — был закрыт на семь замков. Примечательно, что буржуазная историография попыталась стереть в памяти людей даже какое-либо представление о тех годах, когда южный негр начал было подниматься над рабскими условиями существования. Вот уж три четверти

века, как американские историки рисуют положение на юге в период так называемой реконструкции, т. е. после гражданской войны, сплошной черной краской.

Негры фактически устранены из политической жизни южных штатов и по сей день. Символом их положения может служить окруженный людьми в куклуксклановском одеянии пылающий крест и рядом с ним дерево, на котором повешен негр. Изображения всего этого можно нередко встретить в американской печати наших дней.

В южных штатах монопольное положение занимает демократическая партия. Вопрос о том, кто будет избран на те или иные государственные посты, фактически решается во время так называемого предварительного голосования, в котором участвуют только члены партии, — окончательные выборы играют лишь формальную роль. И вот негр вовсе устранен от участия в предварительном голосовании. Впрочем, обычно его вообще не подпускают ни к каким избирательным урнам. Тем неграм, которые осмеливаются явиться на избирательный участок, быстро внушают, что «не их ума это дело». Наиболее мягкой формой воздействия на «цветных», желающих воспользоваться своими гражданскими прерогативами, является организация экзмена, во время которого у негра требуют познаний, которыми обладает каждый профессиональный юрист. Существует также определенный имущественный ценз, который негру не по плечу, от бедняка — избирателя требуют, чтобы он внес известную плату за право голосовать, негр должен предъявить рекомендацию от двух белых и т. д.

Если какому-либо одиночке — негру и удастся пройти сквозь все эти рогатки, то его встречают прямые угрозы. За ними следуют и соответствующие действия. Высокобразованному негру, явившемуся для голосования на участок в штате Южная Каролина, не столь давно было прямо запылено: «Если хочешь добра, убирайся вон и не вздумай возвращаться». Для «непомянутых», разумеется, есть суд Линча. В результате, в сенате США представителем штата Миссисипи, где негры составляют половину населения, является открытый негроненавистник, фашист и явный вор Теодор Бильбо. Решения центральных

судебных властей, выступления либералов, обследования и т. д. серьезных перемен в положение не вносят.

Выступая на собрании, организованном по инициативе левого американского журнала «Нью-Мессес», наиболее известный негритянский культурный деятель Дю-Бойс недавно приводил данные, показывающие, что для избрания Бильбо сенатором от Миссисипи понадобилось в 40 раз меньше голосов, нежели для избрания сенатора в штате Нью-Йорк. Разумеется, негры к голосованию в штате Миссисипи вовсе допущены не были. Вывод Дю-Бойса сводится к тому, что негры в Америке «не пользуются ни свободой, ни демократией».

Надо подчеркнуть, что речь идет не только о юге. Все это относится в большей степени и к северным штатам. Особенности американской буржуазной демократии таковы, что среди почти полусотни членов палаты представителей от штата Нью-Йорк с его огромным негритянским населением до самых недавних пор не было ни одного негра. Первый в истории страны негр — член конгресса от штата Нью-Йорк Пауэлл был избран лишь три года тому назад. Заслуживает внимания, что Пауэлл пользовался поддержкой прогрессивных кругов и в ряде случаев открыто выступал за коммунистов. Когда Чарльз Томпсон, редактор журнала «Негритянское образование», писал, что негр является «полуиностранцем» на своей собственной родине, он, конечно, имел в виду положение негров в любом уголке Соединенных Штатов.

Политическое бесправие негров в Америке носит, конечно, особенно вопиющие формы и осуществляется жестокими методами. Но следует напомнить, что в условиях американской политической жизни представители рабочего класса и трудового фермерства вообще почти устранены от участия в законодательных органах США. Как отмечалось недавно в литературном приложении к газете «Нью-Йорк таймс», уже упомянутый член конгресса Пауэлл открыто называл политическую жизнь в США в целом «гнилой, разлагающейся». Господство монополий, империалистических кругов в США ныне приобрело еще более откровенный, еще более циничский характер. Оно ощущается

во всех сферах жизни. И то, что делают с неграми в Америке в середине XX века, лишь снова—с поразительной силой и полнотой—подтверждает все это.

С политическим бесправием негров в США сочетается их экономическая порабощенность. В своей книге «Предрассветная мгла» Дю-Бойс писал: «В промышленности мы являемся источником рабочей силы, на которого черпают, когда заблагорассудится; на те деньги, которые нам платят, прожить невозможно. В сельском хозяйстве мы по большей части бесправные пеоны.. Почти никакие меры не принимаются, чтобы обеспечить нам место в промышленности, дать неграм возможность проявить свои способности, обеспечить нас к старости или на случай безработицы».

По словам Томпсона, негры «получают работу последними и лишаются ее первыми». По его данным, в 1925 году, когда безработица среди белых рабочих достигала 20—25 процентов, среди негров безработных было вдвое больше, т. е. от 40 до 50 процентов.

Негры в Америке заняты наиболее грязной, наименее квалифицированной, хуже всего оплачиваемой работой. Негритянские публицисты приводят данные, показывающие, что к группам населения с наименьшими доходами, к которым причисляют 55 процентов белых, нужно отнести 83 процента всех негров. Среди «цветных» появилась своя небольшая буржуазная прослойка. Но по сей день, как правило, белый вниматель не предоставит конторской или иной подобной «белой» работы даже высокообразованному негру.

Редкий фермер-негр владеет той землей, которую он обрабатывает. По данным Чарльза Джонсона, на юге Соединенных Штатов имеется свыше 700.000 семейств негров-арендаторов. Эти фермеры никогда не в состоянии были сводить концы с концами. Средний доход арендатора составляет 73 доллара в год. Цифра эта представляется фантастически низкой, впрочем, издольщики зарабатывают в среднем вдвое меньше.

Обладая наименьшими доходами, негры подвергаются вдобавок систематическому ограблению со стороны торговцев, домовладельцев и т. д. Пользуясь тем, что негры вынуждены жить в особых районах, домо-

владельцы—как пишут негритянские публицисты — заставляют темнокожих квартиронанимателей платить за занимаемую площадь примерно в полтора раза дороже, нежели платили бы белые.

Негр в Америке обычно лишен возможности получить удовлетворительное образование. Во всяком случае, он находится в несравненно более тяжелых условиях, нежели белый. По данным Томпсона, почти в половине штатов Америки и в столице США — Вашингтоне негрю закрыт доступ в школы, где учатся белые. Это означает, что негритянского ребенка не только заставляют чувствовать себя существом отверженным, но и определяют его в школу заведомо низкого качества. В среднем, расходы на школы для негров (в расчете на одного ребенка) в четыре раза меньше расходов на школы для белых (в штате Миссисипи — даже в восемь раз). В большинстве случаев негритянская школа на юге представляет собою помещение в одну комнату. Учебный год на полтора-два месяца короче обычного. Преподавателей негров оплачивают хуже, чем белых.

Школа второй ступени для негра обычно вовсе недоступна. По данным Томпсона, в 230 графствах с большим негритянским населением, где существуют школы второй ступени для белых, нет ни одной школы второй ступени, куда мог бы пойти учиться негр. Показательно, что положение за последние годы не исправилось, а, напротив, даже ухудшилось. Тот же Томпсон указывает, что с 1900 года по 1930 год разница между затратами на образование белых и затратами на образование «цветных» еще больше возросла. Имеются данные о том, что расходы на школы для негров уменьшаются даже в абсолютном выражении: так, в графстве Уилкокс в штате Алабама затраты на «образование» негритянского ребенка в среднем составляли в 1928 году в два раза меньше, чем в 1880 году. В результате среди негров чрезвычайно много совершенно неграмотных людей. По данным Реддинга, в штате Миссисипи свыше 200.000 негритянских детей школьного возраста не посещали школы первой ступени (кстати, большинство этих школ функционирует всего только 3—6 месяцев в году). Что касается взрослых, то, как оказалось, из семи тысяч членов попечи-

тельских советов негритянских школ, шесть тысяч не умеют ни читать, ни писать.

Безгранично эксплуатируемый, бесправный, полуграмотный негр является в Америке также объектом повседневного морального подавления. Целая система мероприятий имеет своей целью показать, по словам Дю-Бойса, «что белые—это высшая раса, а негры—низшая». Пусть по некоторым данным до восьмидесяти процентов американских негров имеют белых предков, достаточно человеку обладать хоть каплей негритянской крови, чтобы он был обречен на положение низшего существа. «...Наши законы и обычаи, — говорит другой негритянский исследователь, — исходят из предпосылки, что негры навсегда останутся кастой «неприкасаемых» в американской демократии. Эти законы загоняют негра в изолированные, плохие школы, в отдельные железнодорожные вагоны и отгороженные уголки автобусов, в особые гостиницы и рестораны, на галереи в театрах. Существует множество других видов изоляции. Примерно в 30 штатах запрещены браки между неграми и белыми... Для негров существует гетто... Негр не рискует нанять такси, где водитель — белый... В большинстве американских городов до сих пор считается непристойным, чтобы белые принимали у себя дома негров, как равных. Появление на прогулке в центре города чернокожего юноши с белой девушкой равносильно для него самоубийству». Нельзя не отметить, что в Америке есть немало буржуазных социологов, которые заняты подведением «теоретической» расистской базы под эту чудовищную варварскую практику.

Негр на юге США — да и не только на юге — это презренное существо. Социолог Фрейзер не столь давно привел характерный факт. Мулат, похожий на белого, посетил дом белой южанки для беседы о школе, которую он собирался основать. Когда хозяйка позднее узнала, что человек, которого она принимала у себя дома, имеет какую-то долю негритянской крови, то стул, на котором тот сидел, был разрублен на куски и сожжен.

Существуют поистине тысячи способов, при помощи которых негрю в Америке ежедневно, ежечасно дают ощутить свое подчиненное, полурабское положение. Ко-

гда белые удостаивают своим присутствием какое-нибудь празднество в негритянской школе, то им выделяют в зале первые два ряда, а третий оставляют пустым. Только за этим барьером усаживают самых почтенных негритянских граждан. Негры, даже негры-писатели, отмечал не столь давно Лэнгстон Хьюз, имеют право входить в дома белых лишь с черного хода. В своей недавно вышедшей книге учительница-белая Рут Смит рассказывает о безуспешности своих попыток бороться против унижений, которым подвергаются негры в Америке. Автор говорит, в частности, про обстоятельства гибели своего друга Джулиеты Дерикот, видного педагога-негритянки. Дерикот умерла от ран, полученных во время автомобильной катастрофы, ибо ближайшая больница отказала в медицинской помощи негритянке. Уже после окончания войны, в середине 1946 года, Джордж Хаузер, на основе личного опыта и опыта своих друзей, описывал в журнале «Кризис» методы воздействия, которые применяются, чтобы помешать белым вступать в дружественные отношения с неграми. Белого, который осмелится привести в ресторан негра, в большинстве случаев выставят вон или подадут ему явно гнилую пищу,— говорит Хаузер. Когда двое белых осмелились переночевать в доме негра в городе Тексаркана, они были арестованы, продержаны пять дней в тюрьме и затем высланы из города. Белая женщина, занявшая в автобусе место, предназначенное для негров, была избита шофером-белым.

Томпсон подчеркивает, что представления о неграх, как о низшей расе, повседневно внедряются в сознание американцев через посредство радио, печати, кино и школ. Вывод, к которому он приходит, сводится к тому, что униженное состояние негра ни в коем случае не является случайностью, а представляет собой результат сознательного стремления власть имущих низвести негритянское меньшинство до подобноного положения.

Говоря о судьбах «цветных» в Америке, нельзя, конечно, не упомянуть о таком факторе в отношениях между белыми и неграми, как суд Линча. Убийство негров без суда и следствия всегда было делом довольно обычным не только на юге, но и в северных штатах Америки. Однако осо-

бий размах террор против негров принял после первой мировой войны.

3

Когда во время первой мировой войны негры были призваны в армию, то, по свидетельству негритянских публицистов, им обещали улучшить их судьбу. Как пишет священник-негр Мордухай Джонсон, газеты повсюду трубили об изменившемся отношении к неграм. Но вот война окончилась.—продолжает Джонсон,— и все надежды негров были мгновенно растоптаны в прах. Газеты начали твердить неграм-солдатам, что война позади и что чем скорее они позабудут о ней, тем лучше. Одна южная газета выступила со следующим характерным обращением к неграм: «Веди себя, как подобает негру, — поучала она, — работай, как положено работать негру, разговаривай, как следует негру.. Выбрось из головы все бредни о независимости, о том, чтобы подняться до уровня белого человека. Знай свое место!».

Для того чтобы научить негров «знать свое место», вскоре после окончания первой мировой войны в целом ряде городов, и в частности в Вашингтоне, Чикаго, Омага, Эллейн и Тулса организованы были негритянские погромы. В 1921 году в городе Тулса негритенка-лифтера обвинили в попытке изнасилования белой женщины. Абсурдность этого обвинения была вполне очевидна, и в дальнейшем мальчика освободили из-под следствия. Однако, воспользовавшись предлогом, толпа, состоявшая из пяти тысяч человек, вооруженных пулеметами, динамитом, ружьями и пистолетами, совершила налет на негритянский район города. В результате 54 квартала было сожжено, среди негров оказалось много убитых и раненых.

Чем вызваны были такие особенно свирепые попытки «поставить негра на свое место»? Некоторые инициаторы погромов прямо говорили, что они опасаются «дурного» влияния, которое оказало на американских солдат-негров пребывание в Европе. Повидимому, даже в буржуазной Европе негр встретил обращение, к которому у себя на родине он не привык. Любопытен рассказ публициста Логана о том, ка-

ким образом вскоре после окончания войны ему удалось избежать побоев в каком-то французском городке. Местные жители обозлились на американских солдат, совершивших какую-то оскорбительную выходку по адресу французов, и принялись избивать всех американцев. Поздней ночью Логан, носивший американскую форму, попался на глаза французским матросам. Логану пришлось испытать несколько ударов, прежде чем он догадался выкрикнуть, что он — негр. Французы тут же отпустили Логана и даже принесли извинения за доставленные ему неприятности.

Для того чтобы время от времени напоминать неграм об их «месте», суды Линча устраивались в Америке систематически на протяжении всего периода между двумя войнами—как на юге, так и на севере. В 1930 году, например, было убито 200 негров в Сент-Луи. В городе под пышным названием «Восходящее солнце» северного штата Индианы не столь давно можно было видеть большой транспарант, гласивший: «Негр, остерегайся находиться в этом городе после захода солнца!». В другом городке того же штата намалевана издевательская надпись: «Негр, прочти это и беги прочь! Если читать не умеешь, все равно беги!»

В свете всего этого нельзя не считать многозначительным тот факт, что террористическая деятельность, жертвами которой являются негры, после окончания второй мировой войны вспыхнула с новой силой. В маленьком городке Колумбия штата Теннесси, четверть населения которого составляют негры, в начале 1946 года произошли следующие события: владелец мастерской—белый ударил покупательницу-негритянку, сын женщины, недавно вернувшийся из армии, пришел на помощь матери. В результате арестованы были именно негр и негритянка. Однако дело не закончилось на этом. Вооруженная толпа белых отправилась к тюрьме, чтобы предать негров суду Линча. Поскольку тюрьма находилась рядом с негритянским кварталом, негры приготавились защищаться. Тогда полиция, вооруженная винтовками и пулеметами, устроила налет на негритянский квартал. Два негра было убито, свыше ста арестовано, негритянские магазины подверглись разграблению.

Об убийствах бывших солдат-негров, о массовых террористических мероприятиях все чаще сообщают также из других частей страны, в том числе и из северных штатов. Когда негритянские организации обратились к сенатору Бильбо с протестом по поводу участвовавших случаев суда Линча, этот «демократ» ответил кратко, но выразительно: «Идите к чёрту!». Деятельность Ку-Клукс-Клана принимает необычно широкие масштабы. Все это, конечно, далеко не случайность.

Да, спору нет, многие негры связывали со второй мировой войной, войной против фашизма, особенно большие надежды на улучшение условий своей жизни. Но вот война окончилась, и негров, служивших в армии и работавших на военных заводах, снова, видимо, решили поставить на «должное место», напомнив им, как выразился с горечью Логан, что люди с темной кожей «не американцы, а только негры». Возникает, разумеется, вопрос, как отнесутся на этот раз к разгрому лучших своих ожиданий сами «цветные»...

Таковы некоторые особенности современного положения негров в Америке. На этом фоне и приходится рассматривать литературные произведения на негритянскую тему, выходящие ныне в свет в Соединенных Штатах.

4

Писатель Гоуард Фэст известен в США как автор ряда романов, посвященных изображению тех периодов в истории американского народа, когда борьба за демократию принимала особенно острый характер.

Перу Фэста принадлежит, в частности, беллетризованная биография Томаса Пэйна, одного из наиболее последовательных демократических деятелей американской революции восемнадцатого века. В самый разгар последней войны вышел роман Фэста «Дорога свободы», в котором писатель рассказывает о судьбах негров в южных штатах после разгрома рабовладельцев — в войне Севера и Юга.

Романисту Фэсту не свойственна богатая игра фантазии, он не строит драматически-напряженного сюжета и вместе с тем нередко склонен к некоторому упроще-

нию душевного мира своих героев, он пользуется ограниченным набором художественных красок. Однако достоинством этого писателя является стремление его поднимать темы, которых избегает официальная историография, и разрешать их в прогрессивном, демократическом духе. Так, создавая художественную биографию Пэйна, составленную явно доброжелательном тоне, Фэст сознательно шел против традиции замалчивания или даже издевки, характеризующей отношение основной части буржуазной историко-литературной общности США к одному из отцов американской революции. В романе «Дорога победы» Фэст снова выступает против ложных, реакционных взглядов громадного большинства американских историков и исторических романистов.

Показательным для этих воззрений является такой популярный в Америке роман, как «Унесено ветром» Митчелл, где события, происходившие на рабовладельческом юге после гражданской войны, обрисованы в духе безграничного сочувствия к уходящему прошлому. Романтизация разгромленного рабовладельческого быта, злобное осуждение всего того, что делалось на юге после победы севера, и, в том числе, попыток предоставить освобожденным неграм известные гражданские права—таковы главные особенности почти всех книг на эти темы, вышедших в США.

Фэст отказывается от ложных представлений о жизни на юге после гражданской войны. Он с искренней симпатией рисует поведение освобожденных негров и улавливает в них такие положительные черты, в наличии которых американские писатели обычно «цветным» отказывают.

Чтобы создать свой роман, Фэст должен был сделать попытку восстановить в сознании людей эпоху, оставившую весьма мало следов. Ведь негроненавистники за последние 60 лет своего безраздельного господства на юге постарались камня на камне не оставить от всего того, что было создано за недолгие годы, когда негры допускались к участию в органах управления отдельных штатов, когда они стали пользоваться и известной экономической самостоятельностью. Современная обстановка на юге настолько не похожа на ту, которая была создана там после гражданской вой-

ны, когда, казалось, возникали перспективы равноправного существования негров и белых, что, читая книгу Фэста, испытываешь ощущение, точно речь идет о глубокой древности. Не случайно роман заканчивается описанием гибели всех основных героев книги.

Южный негр Гидеон Джексон, убежавший из родных краев, чтобы вступить в северную антирабовладельческую армию, возвращается домой. Так начинается роман «Дорога свободы». Побежденный юг оккупирован войсками севера, и помещики пока лишены возможности помешать своим бывшим рабам жить так, как они желают. Джексон, подобно всем своим друзьям-неграм, не получил никакого образования, но у него светлый ум, он смел и предан своему народу. Когда объявляют выборы в законодательный орган штата, никто не мешает неграм избрать своим представителем Джексона.

И вот Джексон—член учредительного конвента штата Южная Каролина. Разгромленные рабовладельцы еще не пришли в себя, громадное большинство мест в конвенте принадлежит неграм. Они необразованы, плохо разбираются в обстановке, но все же постепенно «конвент начинает работать, как полноценный законодательный орган», подготавливая прежде всего создание новой конституции.

В процессе своей деятельности в качестве народного представителя Джексон упорно учится, вырастает духовно. И он начинает чувствовать реальную опасность возрождения рабовладельческих порядков. Джексон хочет предупредить такую возможность, но не видит реальных путей борьбы. В кругу руководящих политических деятелей штата и даже страны он встречается с непониманием грядущей угрозы, неспособностью и даже прямым нежеланием сделать что-либо для того, чтобы помешать рабовладельцам вернуться к власти.

Джексона избирают членом центральных законодательных органов Америки. Но и в Вашингтоне он чувствует себя одиноким. Вместе с тем Фэст показывает, что наиболее реакционные элементы юга постепенно восстанавливают свои силы, начинают кампанию за вывод северных войск, подготавливают и осуществляют акты террора против негров.

Джексон начинает уделять основное внимание устройству в родных местах жизни бывших рабов, а также арендаторов земли — белых. Ему удается—впервые—организовать сотрудничество белых бедняков и негров. Совместными усилиями они приобретают большой кусок плантации и становятся—так по крайней мере им кажется в первое время —независимыми и свободными фермерами. Но все это длится недолго. Как только южные реакционеры добиваются вывода северных войск, они решают положить конец всем свободам. Джексон пытается протестовать, адресуя телеграммы в Вашингтон с просьбой о помощи. Эти послания не доходят до места. Негры и их белые друзья решают защищаться. Книга заканчивается описанием героической борьбы забаррикадировавшихся в помещицьем доме фермеров против их прекрасно вооруженных противников. Наконец, куклуксклановцы пускают в ход пушку. Судьба осажденных мужчин, женщин и детей предрешена.

Недостатком романа является то, что автор не вскрывает с достаточной глубиной причины, по которым погибло дело Джексона и его друзей. Почти не показана двойственность отношения северной буржуазии, вступившей в свой «положенный век», к положению на юге. Не вскрыты социально-экономические причины, определявшие отношение правящих кругов к интересам освобожденных рабов. Ведь нельзя же сводить все к избирательной механике, к носящему почти случайный характер сговору реакционных южан с новым президентом. Фэст не дает широкой картины соотношения классовых сил в Америке, не показывает достаточно выпукло в чем лежит причина слабости фермерского движения, ничего не говорит о состоянии рабочих организаций. Вообще север почти отсутствует. Он дан, главным образом, через образ богача-аболициониста.

Таковы отрицательные стороны книги. Но в романе есть много яркого, интересного, значительного. Автор не только берет за острую и нужную тему, но и разрешает ее далеко не традиционным образом. Фэст подчеркивает—и подчеркивает неоднократно,—что его герои не просто жертвы воздействия реакционных сил, не только объект подавления, но что они являются люди-

ми, способными к сопротивлению, что они готовы бороться.

Еще в прологе автор отмечает, что негритянское население юга после окончания войны включало «двести тысяч... солдат республики... И многие из них вернулись домой с оружием в руках». Сын Джексона — Маркус охарактеризован, как негр нового склада, — он и не подумает гнуть спину перед белыми, он не боится их и требует полного равенства во всем.

Когда шериф появляется у фермы Джексона, чтобы провокационно потребовать выдачи на расправу нескольких невинных негров, Маркус стоит с ружьем, лежащим на руке, напряженный, «чуть согнувшийся, и только Рэйчел (его мать,—М. М.) знала, что он был точно заряд пороха, устойчивый, но готовый для дела.

Кивнув на ружье Гидеона, шериф сказал: — Собрался на охоту, Гидеон?

— Может быть и так,—резко сказал Маркус. — А когда вы обращаетесь к моему отцу, называйте его «минстер». Понятно?».

Сам Гидеон Джексон является сторонником вооруженного сопротивления рабовладельцам. В высшей степени показательны заключительные сцены романа, в которых рассказывается о битве между террористами, куклуксклановцами, с одной стороны, и неграми, а также немногочисленными их друзьями-белыми, с другой. Эти люди готовы идти на бой для защиты своих прав, готовы умереть, лишь бы не вернуться к рабской жизни. Они не преклонятся смиренно перед судьбой, не сдадутся. Вот что видит Фэст в неграх. И это бесспорно новый мотив в литературе на негритянскую тему. Наряду с этим Фэст подчеркивает — и это тоже ново и важно—возможность сотрудничества белых и негров в борьбе против несправедливости. Тот факт, что в своем романе Фэст трактует о событиях, произошедших после войны, пусть даже войны, развернувшейся еще в прошлом столетии, придает этому произведению особый интерес.

5

Роман Лилиан Смит «Странный плод», опубликованный в 1944 году, вызвал в США большой резонанс, был распространен в сотнях тысяч экземпляров, стал одним из «бестселлеров». Объясняется это отчасти тем, что многие читатели восприняли эту

книгу лишь как пикантное описание любви белого и негритяжки. Во всяком случае бостонские власти, блюдя чистоту нравов на подведомственной им территории, сочли за благо наложить запрет на роман. что, как это обычно бывает в Америке, вызвало повышенный интерес к нему в других углах страны. Но, повидимому, популярность книги объяснялась не только тем, что читатели искали в ней источник сильных ощущений сомнительного свойства. Не имея права претендовать на особую новизну в постановке вопроса, Смит в своем романе затрагивает серьезную тему — о взаимоотношениях белых и негров в типичном американском городке. Разрешая эту тему более или менее традиционно (тут и скучающие горожане, и убийство, и суд Линча, ведущий к гибели невинного), автор все же в определенной степени говорит о явлениях реальной жизни. Пусть писательница отдает некоторую дань обычным представлениям о неграх, как о существах экзотических и легкомысленных, чрезмерно занятых сексуальными сторонами жизни, нужно признать, что отдельные образы нарисованы слержанно и довольно правдиво. В некоторых из них даже обнаруживаются новые, очень важные черты. Наконец, книга трактует о годах после первой мировой войны и поэтому отчасти как бы перекликается с нынешним послевоенным периодом.

Трейси Дин, сын зажиточного врача и аптекаря, вернулся с войны. Это типичный представитель «потерянного поколения», юноша с хорошими задатками, которого война лишила вкуса к привычной буржуазно-мещанской жизни в Америке, но не дала ему других интересов и сколько-нибудь значительных идей. По существу Трейси почти совершенно опустошен душевно. Любовь его к негритянской девушке Нонни Андерсон не лишена искренности, но она пассивна и нестойка. В конце концов оказалось не так-то трудно заставить Трейси отказаться от любимой (хотя Нонни носит его ребенка) Он даже предлагает Генри, своему легкомысленному слуге-негру, деньги, чтобы тот женился на Нонни. Брат Нонни — Эд убивает обидчика. Эду удается бежать, и жертвой толпы, жаждущей смерти негра, становится Генри.

Все действие в романе строится вокруг Трейси. Но по существу Смит быстро ис-

черпывает этот образ. Смерть Трейси в главах автора не только является логическим завершением моральной проблемы, но решает и композиционную задачу — Смит не знала бы иначе, что ей дальше делать со своим главным героем.

Нонни передана в нарочито-пониженных тонах. Эта высококультурная девушка (она окончила колледж), обреченная на существование в качестве домашней работницы, является воплощением одного только чувства — тихой и самоотверженной любви. Нельзя преодолеть ощущение, что этот образ оказался писательнице не под силу, что однотонность Нонни говорит прежде всего о неспособности автора — белой южанки проникнуть в духовный мир чернокожей женщины.

Окружающие Трейси местные богатей, а также жертвы мещанской среды нарисованы по образцам, занимавшимся у Синклера Льюиса, автора «Главной улицы», и Магстерса, автора «Антологии Спун Ривер», с гораздо меньшей, однако, сатирической остротой.

Интереснее всего задуманы образы Эда и, в особенности, друга семьи Андерсонов врача-негра Сэма Перри, а также сестры Нонни — Бесси.

Эд приехал на побывку в родной город. Длительное отсутствие только услило в нем ненависть ко всей обстановке жизни в южных штатах, где негру ежеминутно напоминают, что он — пария, низшее существо. «У тебя никогда не было родины», — говорит он себе. Озлобленне против таких условий существования, естественно, ищет выхода, готово прорваться. Узнав об оскорблении, нанесенном его сестре, Эд почти не задумываясь, убивает белого.

Смит обедняет этот образ, почти лишает образованного юношу из культурной негритянской семьи каких-либо глубоких идей, способности шире понимать действительность. В Эде слишком много от стандартного негра из рядовых американских романов, импульсивного, скорого на руку, лишенного подлинной способности к мышлению, живущего только инстинктами. И все же Эд показан как негр, в котором присутствует известное чувство собственного достоинства и который не поступится им без боя.

В несколько ином разрезе эта черта выявлена через образ Сама. Это человек,

который отдает всю свою жизнь делу врачевания негров, являясь в то же время как бы посредником в их отношениях с белыми. Дело в том, что он научился ладить с «высшей» расой и потому в состоянии защищать своих чернокожих братьев от наиболее ожесточенных ударов. Чтобы иметь возможность осуществлять свои функции, Сэм носит маску покорного, «знающего свое место» негра. Но и этот расчетливый человек, сознательно принявший на себя тяжелую задачу вести себя униженно по отношению к белым, в конце концов не выдерживает.

Когда драма, разыгрывающаяся в городке, достигает апогея, Сэм впервые высказывает свое подлинное мнение о судьбе негра в Америке. Он перебивает своего собеседника, местного богача, имеющего репутацию либерала, и с гневом говорит об угнетении негров, об издевательствах, о том, что белые растаптывают душу негра, сводят его с ума, глядят на негритянку женщину, как на законную свою добычу, добиваются своего «и отбрасывают ее прочь... как нечто грязное, зловонное... Почему вы не оставите их в покое,—восклицает Сэм. — Боже, почему негр должен все это терпеть!».

И тогда в либерале просыпается рабовладелец. Он стучит кулаком по столу и сыпает врача гнусными оскорблениями. «Есть вещи, которые ни один негр на земле не имеет права сказать белому человеку», — заключает он.

Сэм как будто раздавлен. Но когда начинается суд Линча, его рука тянется к пистолету. Вот он прорвется сквозь толпу.. Однако Сэм этого не делает. «Будет хуже для всех нас. Начнется негритянский погром», — говорит он себе.

Внешне совершенно пассивна, но исполнена крайнего озлобления против белых Бесси Андерсон. Вспоминая о своей матери—домашней работнице, Бесси говорит: «Все, что она когда-либо видела красивого, светлого, мягкого, все, что ей нравилось, было собственностью белых». Мать учила детей быть осторожными и не говорить ничего такого, что может вызвать гнев у белых. «Боюсь, что когда-нибудь, — восклицает Бесси, — я не выдержу и скажу то, против чего предупреждала нас мать». И она говорит о людях, «которые разжирили на негритянской крови».

Невинный негр убит, сожжен на костре. «Суд Линча — время от времени—и впрямь все приводит в порядок». — рассуждает местный идеолог рабовладельцев, капитан Рэштон. Он видит особо важные причины, почему в настоящее время нужно расправиться с негром. «Со времени войны негры стали беспокойными». Пребывание негров-солдат в Европе, по мнению капитана, испортило их.

Все в городке возвращается в свою колею Андерсоны встают чуть свет и направляются на работу. Воля к сопротивлению, вспыхнувшая в Сэме Перри, как будто сломлена, и автор, видимо, убежден, что никаких существенных изменений не произошло. Но читатель запомнит слова одного из персонажей книги — честного, хотя и беспомощного юноши, которому юг Америки представляется в виде белого, упершегося коленями в живот негра. «Каждый раз, когда белый поднимает руки в молитве, — говорит юноша, — колени его чуть-чуть глубже вдавливаются в живот чернокожего». Читатели запомнят также те короткие вспышки протеста негров против порабощения, которые освещают некоторые страницы романа.

Книга Лилиан Смит дает некоторое представление и о бесчеловечности обращения с негром в Америке и о растущем ощущении людей с черной кожей, что мириться с существующими порядками нельзя. Но об этом ощущении говорится все же мало и обычно без подлинной силы, без трагической интенсивности. Писательница не видит даже в зародыше сил, которые реально могли бы быть противопоставлены описанным ею варварским условиям жизни. Она не позволяет своим персонажам подняться на более высокий уровень общественной сознательности. Отсюда—известная духовная ограниченность почти всех созданных Смит образов, традиционность основных их черт. И все же нельзя не признать, что писательница сумела почувствовать, хотя и в малой степени, что в негритянской среде возникают настроения, чувства, не совсем похожие на те, которые были описаны в литературе прошлых десятилетий.

Роман Бэклина Муна «Темнокожий брат» издан в 1943 году. Это произведение менее значительное, чем два романа о неграх, рассмотренные выше, хотя — по большей части — действие книги разворачивается в Нью-Йорке с его огромным, живущим сложной и интенсивной жизнью негритянским населением, хотя автор доводит повествование до вступления Америки во вторую мировую войну. Мун повествует о трудностях жизни негров, о безработице, которая преследует юношу, о ложном обвинении в воровстве, которое лишает девушку работы и толкает ее на путь проституции. Автор стремится показать, что сквозь все испытания жизни герои книги пронесут нежную любовь друг к другу, обретая в этой любви волю к жизни и надежду на счастье. Но над писателем господствуют примелькавшиеся образцы описаний жизни в Гарлеме (негритянский район Нью-Йорка), он почти не поднимается над натуралистической манерой, свойственной столь многим современным авторам в США. В результате образы получаются внутренне-обедненными, основные персонажи книги не помогают автору раскрыть перед читателем мир больших чувств и идей. Мун тщательно описывает третьестепенные события из жизни своих героев и маловыразительной скороговоркой касается того, что, казалось, должно было бы иметь для них важнейшее значение.

Характерно, что писатель не позволяет своим персонажам глубоко задуматься над проблемами войны. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз проходит для них совершенно бесследно. Только уж к самому концу книги, когда радио сообщает об атаке японцев на американские владения, вопрос о войне выдвигается на первый план.

И тут оказывается, что героиня книги — Берди, подобно Бессе из «Странного плода», — яркая националистка. С этих своих позиций она и глядит на войну Негры были обмануты после первой мировой войны — утверждает Берди и приводит примеры пренебрежительного отношения к неграм-солдатам после победы над Германией в 1918 году. «Нынешняя война не будет иной, — говорит Берди. — Это будет война белых людей, в которой нам предстоит всю грязную работу. Это их война, пусть они сами и дерутся».

Возлюбленный Берди — Бен не согласен с ней. Он уже носит военную форму, и он хочет воевать. Но автор не позволяет своему герою объяснить, чем вызвано это желание. Бен бормочет нечто совершенно невыразительное: «Человек должен иметь что-то, — говорит он. — До сих пор я этого не имел... Я знаю, что со мной не будут слишком хорошо обращаться. Но я должен воевать. Это единственное, что я могу делать».

И только в самых последних строках романа, после того, как женщина в озлоблении нападает на всех белых, Бен говорит: «Мы должны бить врага там (т. е. за океаном — М. М.). Мы должны драться за то, что нам полагается получить здесь. Мы долго ждали...»

Эта декларация, как и заключительные слова Бена: «Дорогая, это только начало...», — теряют в значении, ибо автор не подготовил к ним читателя всем ходом развития своего романа, ибо антифашистская тема совершенно выпала из этого произведения, ибо автор романа не осмеливается вывести своих героев из их узенького, убогого мирка и в дни ожесточенных боев на советско-германском фронте.

И все же даже в этом слабом романе внимательный читатель найдет подтверждение того вывода, что недовольство негров условиями своего существования в Америке становится все более явным и что война неизбежно должна была придать негритянской проблеме более острое звучание.

Вопрос о судьбах негра в Соединенных Штатах после второй мировой войны впервые был поставлен в прямой форме в двух пьесах, которые появились в нью-йоркской сцене в конце 1945 и в начале 1946 гг. Одна из этих пьес — «Глубокие корни» Гоу и Джоссе имела шумный успех на Бродвее, другая — «На улице Уотсона» Максин Вуд пользуется вниманием, главным образом, в левых кругах. В центре обеих пьес стоит негр, вернувшийся из армии и исполненный надежд на улучшение жизни для негров в Америке после победы над фашизмом. Обе пьесы показывают, что эти надежды рушатся.

Герой «Глубоких корней», лейтенант Бретт Мариз приспосабливается в дом аристократа

из южных штатов—сенатора Лэнгдона, где работает служанкой его мать, Чарлз — высококультурный человек, он получил университетское образование и имеет военные заслуги. В доме Лэнгдона Чарлза вначале встречают приветливо, оказывая ему все то внимание, какое по установившимся в этом кругу понятиям может заслужить негр. Сенатор и его ближайшие друзья готовы помочь лейтенанту получить пост заведующего местной негритянской школой. Старшая дочь Лэнгдона—Алиса идет даже дальше, она на первый взгляд либеральнее отца и склонна оказать Бретту Чарлзу содействие в переезде в большой город, где он будет иметь возможность подготовиться к защите докторской диссертации. Младшая дочь — Дженевра не имеет каких-либо определенных планов в отношении Бретта, но собирается ему покровительствовать, но она относится к нему с человеческой теплотой, точно к равному.

И именно это обстоятельство все опрокидывает вверх дном в доме Лэнгдона, углубляя коллизию, вокруг которой строится пьеса. Испугавшись, что сестра ее и негр полюбят друг друга, Алиса теряет весь свой либерализм — ведь он основывался на обязательном признании неполноценности негра. Сенатор еще раньше проникся враждебностью к Бретту — он подозревает, что негр, завоевавший известные права в качестве офицера американской армии, не захочет больше довольствоваться положением полураба. В результате ярый реакционер и его «либеральная» дочь совместными усилиями возводят на Бретта Чарлза ложное обвинение в краже. Героя войны арестовывают, избивают, едва не предают суду Линча.

Такова канва пьесы. Разрабатывая свою тему, авторы со свойственным им чувством актуального сумели уловить некоторые из специфических особенностей которые свойственны негритянской проблеме в Америке в послевоенный период.

Вопрос о том, как будут вести себя негры, вернувшиеся из армии, чрезвычайно сильно волнует Лэнгдона, приобретая в его глазах решающее значение. Сенатор не доверяет лейтенанту Чарлзу, ибо тот, как и другие негры, побывавшие на фронте, «убивал в Европе белых людей. С соласия закона, он протыкал штыком белую плоть. День за днем он видел, как тела белых

распадались на куски, как разбивали головы белым людям Что же это сделало с его черной душой?». Лэнгдон опасается, что Бретт Чарлз вернулся с войны, начиненный «иностранными теориями», что он станет внушать недовольство местным неграм, внедрять в их головы «идеи», устраивать неприятности. «Возможно, что вернувшаяся из Европы «черная орда» задумает восстать и повернуть свое оружие против нас, их господ...»

Между тем, в мировоззрении лейтенанта за годы войны действительно произошли некоторые изменения. Бретт хочет, чтобы белые и черные «жили вместе, по справедливости». Он пугает свою мать восклицанием, что негр не должен больше чувствовать себя смиренным, униженным. Чрезвычайно интересна оценка которую авторы дают устами Бретта Чарлза настроениям негров в армии. Герой пьесы говорит:

— Знаете что было моей главной задачей в армии? Заставить моих людей поверить, что они дерутся за лучший мир.. Многие из моих людей думали, что я с ума сошел. Некоторые из них даже ненавидели меня. Они называли меня негром в услужении у белых... Но мне повезло в отношении моих людей. Когда дело дошло до боя, все они проявили себя хорошо, ибо я сумел убедить их, что перед ними замечательная возможность показать, на что они способны.

Бретт считает, что после победы ожидания негров должны быть оправданы. «В течение всей войны мы жили обещаниями — мы дрались «на веру». Теперь эти обещания должны быть исполнены.

Мечтая о лучшей жизни для негров, лейтенант готов даже предпринять кое-какие конкретные шаги для достижения этой цели. Собираясь остаться в родном городке в качестве заведующего негритянской школой, Бретт хочет съездить на конференцию белых и негров, где будут обсуждаться вопросы улучшения школьного дела, обеспечения работой демобилизованных солдат и т. д.

И этого скромного желания оказывается, однако, достаточно, чтобы вызвать резкое недовольство сенатора и его старшей дочери. Они намерены сохранить в силе все старые порядки, характерные для южных штатов. Нет места ни на каких конференциях, тем более рядом с белыми. Их

ужасает, что Бретт намеревается ехать в железнодорожном вагоне для белых, что он, негр, без специального разрешения обрывается в публичную библиотеку и т. д.

Побои и оскорбления, которым в дальнейшем подвергается лейтенант Бретт Чарлз, это — «урок», который должен отрезвить «зарвавшегося» негра. Но Бретт отказывается усвоить этот «урок». Он лишь начинает лучше понимать, какие люди его окружают, что представляет собой американская действительность.

Авторы показывают людей, которые не остановятся ни перед чем, чтобы после войны удержать негра на положении полуроба. И это бесспорно является важнейшей особенностью пьесы «Глубокие корни», увеличивает ее значение.

Пусть основной огонь авторов направлен против реакционных южан «старой школы», которые, конечно, следуют своим негроненавистническим воззрениям лишь с большей откровенностью, нежели их единомышленники в северных штатах. Пусть Алиса тоже показана, главным образом, именно как южанка. Пусть, наконец, единственный представитель севера в пьесе — писатель Меррик преподнесен в качестве как бы прямой антитезы южным воззрениям на негров (кстати, это один из самых слабых, мало-выразительных образов произведения). Все же надо подгадать, что вдумчивые читатели, а также зрители и в Америке смогли увидеть в пьесе «Глубокие корни» нечто большее, нежели просто противопоставление севера югу. Они должны были воспринять пьесу, как наглядный показ того, с каким цинизмом и последовательностью американская реакция в целом — и на юге, и на севере — душит демократию в послевоенные годы.

В частности, американцы должны были почувствовать, что заключительные слова мракобеса-сенатора, выступившего с открытой фашистской платформой, имеют значение не только для особенно отсталого крайнего юга страны, где он подвизается, но и для всей Америки. Лэнгдов заявляет, что у него есть единомышленники, люди, которые ждут своего часа... Я уже давал им денег, — говорит он, — я дам им еще больше денег. Я иду к своим союзникам».

Действие пьесы «На улице Уитмена» разворачивается в одном из северных штатов Америки. Здесь неграм разрешают входить в библиотеки с главного входа и без записочек от белых, здесь в трамваях нет специальных мест для негров, и «цветным» обычно не дают таких кличек, как на юге. На первый взгляд, они равноправные люди. Но когда семья вернувшегося с фронта негра Дэйвида Беннета сняла квартиру в «белом» районе городка Лондэйл, то соседи потребовали немедленного изгнания «цветных». Наиболее агрессивные негро-назвистники пустили в ход угрозы для действия не только на Беннета, который не склонен им подчиниться, но и на белых, осмеливающихся поддерживать своих чернокожих сограждан.

Вождь антинегритянской партии Лэндз заявляет Дэйвиду Беннету: «Собрашились представляют домовладельцев четырех улиц Лондэйля... И они не хотят, чтоб вы жили в этом районе. Они настроены весьма решительно. Настолько решительно, что вам небезопасно здесь оставаться».

Дэйвид: Почему?

Лунд (удивленно): Почему?

Дэйвид: Да, почему нам здесь небезопасно жить?

Лунд: Вам это известно так же хорошо, как и мне.

Дэйвид: Из истории... Пожалуй. Но история не статична, мистер Лунд. За время войны мы узнали...

Лунд перебивает Беннета. Для него все это пустые слова. Вполне очевидно, что по его понятиям за время войны в Америке ничего не изменилось. Собственно говоря, и Беннет чувствует это. Правда, негры стали было надеяться, что их положение улучшится. «За лучший мир — таков был лозунг во время войны. Но вот мы вернулись домой...», — говорит Беннет. — «Домой! Где же слова приветствия? Где распахнутые настежь двери?.. Сегодня я был в университете. Я хотел, чтоб меня приняли учиться... Мне сказали: «К сожалению, наша норма для негров заполнена». А теперь вы говорите, что неграм небезопасно жить среди вас. Это причиняет боль, леди и джентльмены. Это больнее, чем шрапнельная рана. Там была война. Мы ожидали боли. Мы знали, что есть враг, общий враг... Но здесь, дома...»

Итак, Вуд показывает, что негр чувствует себя отверженным не только на юге, но и на севере. Это является существенным достоинством пьесы. По мысли автора, между действиями откровенных кукуклукклановцев в штатах Южная Каролина, Миссисипи или Георгия и тем, что делают белые негрореневистники в тихом северном городке, есть много общего.

«Я понимаю, — говорит Беннет. — Вы должны показать негру его место. Будьте же хотя бы честны. Назовите это собрание (домовладелец — М. М.) его подлинным именем — это линчевание по северному образцу. Тут нет кровожадных псов, смолы и перьев. Тут нет повешенного на одиноком дереве. Но плоды всего этого те же, господа. Плоды все те же».

Вуд весьма ясно характеризует смысл похода против негров, который организован в Америке после войны. Обращаясь к своим единомышленникам, Лунд говорит: «Пора вам проснуться. Вы сидите на вулкане, который близок к извержению. Свыше ста тысяч негров поселились в этом городе за время войны. Негры заработали немало денег на фабриках и теперь думают, что они не хуже вас. Прошлой весной здесь был погром. Уничтожено было имущество стоимостью во много тысяч долларов».

«И убито восемнадцать негров», — подсказывают Лунду.

«Это потому, — продолжает он, — что негры пытались соваться туда, куда их не звали. И этих негров не спрашивали — есть ли у них сыновья в армии. Мы не спросим и теперь...»

Картина ясна. И в этих условиях негр Беннет проявляет не только понимание происходящего, но и мужество.

Лунд: Я хочу, чтоб он (Беннет.—М. М.) знал, что его ждет.

Дэйвид: Я не питаю никаких иллюзий насчет этого.

9

Тема трагической судьбы негра в американских условиях (в частности, на севере) и роста в негритянской среде готовности к защите своих гражданских прав и человеческих интересов затронута отчасти также в двух романах на негритяскую тему, изданных в США в прошлом году. Эти рома-

ны — «Улица» Анны Петри и «Душечка госпожи Палмер» Фанни Кук.

Роман Кук лишен, пожалуй, подлинной драматичности, в нем немало наивного. Характеризуя общественную жизнь в Америке, автор книги упрощает в либерально-буржуазном духе некоторые из описываемых явлений. И все же в романе нашли известное отражение важные стороны жизни негров в США.

В Сент-Луи, где разворачивается действие книги, как и в других городах Америки, негры до войны могли зарабатывать на жизнь главным образом обслуживанием белых — в качестве домашних работников, шоферов, лифтеров, чистильщиков сапог. Но вот в дни войны, когда резко увеличился спрос на рабочую силу, негры попали на производство. И в среде чернокожих париев возросло сознание своего права на нормальную трудовую жизнь. Многие негры не хотят больше мириться и с тем, что они вынуждены жить обособленно, в отдельных кварталах.

«Душечка» — героиня романа Фанни Кук начинает свой трудовой путь в качестве служанки госпожи Палмер. Это скромная, добрая и робкая негритянская девушка, которая боится переступить границы дозволенных отношений с белыми, представляющимися ей высшими существами. Но постепенно Душечка выходит за пределы своего тесного мирка. Она начинает работать на военном заводе, она вступает в прогрессивный профсоюз, вырастает, как человек, проникается общественными интересами, обретает новое чувство собственного достоинства.

Еще более интересен по замыслу, хотя и не раскрыт до конца, образ Эмери Маршалла, негра — лейтенанта американской армии. Этот человек всем своим существом выражает протест против дискриминации негров. И война кое-чему его научила.

С возмущением Маршалл рассказывает, как однажды, когда поезд с ранеными, среди которых находился и он, стоял на одной из станций юга Америки, владелец ресторана отказался обслуживать военных негров. А сквозь окна ресторана голодные люди могли видеть, что за столиками сидят военнопленные немцы и что их кормят вволю.

Маршалл понимает опасность фашизма для Америки, и, в первую очередь, для нег-

ров, и он готов активно бороться за демократию.

Роман Петри еще в Москве не получен, но, насколько можно судить по отзывам зарубежной печати, и эта книга в определенной степени свидетельствует о наличии новых черт во внутреннем облике американских негров.

«Улица» в романе Петри это — Гарлем, негритянский квартал Нью-Йорка, где негры вынуждены жить оторванно от других людей, в своего рода «гетто». Специфические условия существования, ежеминутно напоминающие негру об его подчиненном положении в мире белых, об его обездоленности, по суждению автора, не сказываются благоприятно на духовной жизни гарлемских обитателей. Но героиня книги Летти не просто жертва обстоятельств, продукт среды в этом романе, несмотря на некоторые его традиционно-«гарлемские» особенности, должен привлечь внимание. Летти упорно борется против того, что унижает ее, как человека. Эта борьба к концу книги приобретает трагический характер.

10

Таковы некоторые из художественных произведений о неграх, вышедших в свет в США в течение последних лет. Какие бы оговорки ни приходило делать в отношении их художественных достоинств, как ни ограничен идейный мир большинства авторов этих книг, все рассмотренные романы и пьесы представляют по крайней мере документальную ценность. И в то же время некоторые из них говорят о возникновении новых сторон в американской литературе о неграх, отражающих новое в самой жизни.

Вот уже больше столетия как негритянская жизнь привлекает внимание писателей в Америке. Еще до Бичер-Стоу о неграх писал Купер. Мельвиль и Брайант, Лонгфелло и Уиттиер принадлежат к целой плеяде писателей, отдавших дань эволюционистской теме. Давным-давно появились в США и писатели негры. Первые стихи, написанные неграми, были опубликованы еще в XVIII веке. Первый негритянский роман «Клотель или дочь президента» Брауна вышел в свет в Лондоне в 1853 году. Однако до самых недавних пор литература о неграх в Америке была относительно невелика по объему, и идейно-художествен-

ный диапазон ее был неширок. В своей работе «Негр в американской художественной прозе», написанной во время первой мировой войны, Бенджамин Бреди писал: «Хотя от гражданской войны нас отделяет уже пятьдесят лет, нельзя назвать ни одного первоклассного романа или рассказа на эту великую тему» (о жизни негров.— М. М.).

И все же в течение последней четверти XIX века и в начале XX столетия о неграх стали писать такие крупные художники слова — белые, как Твэн, Кэйбл, Гаррис (автор «Сказок дядюшки Римуса»), а также писатели-негры: Денбар (известный, главным образом, как поэт), Чесот и другие.

При всех отличиях и в тематике и в методе трактовки материала все они имеют то общее между собой, что основным пафосом их творчества является стремление показать негра, как человека, заслуживающего жалости, сочувствия и лучшего обращения. Апеллируя к человеколюбию хозяев жизни — белых, американские писатели обычно рисовали негра не только добрым, но и покорным, нетребовательным.

В двадцатых годах этого века, после первой мировой войны, начался так называемый «ренессанс негритянской литературы». Появился целый ряд новых произведений на негритянскую тему, получивших незаданную со времени «Хижины дяди Тома» популярность. Однако этот «ренессанс» в значительной мере носил черты приспособления ко вкусам пресыщенного и ищущего сильных ощущений буржуазного читателя. И Ван Вехтен, и Клод Мак-Кей, и их последователи пошли по пути создания романов, в которых негр (главным образом, северный, «гарлемский» негр) изображен существом сверхстрастным, экзотическим, но почти бездумным, несколько животного склада. Он находится в плену сексуальных устремлений, живет в атмосфере кабачков и джаза, у него душа ребенка, но он «склонен к преступлению» и т. д. Таким образом, в искусстве негр должен был в значительной степени служить тем, кто его угнетает, в качестве поставщика развлечений.

«Экзотическое» повествование, теоретически осмысливавшееся как претворение идеи искусства для искусства, оказалось свое воздействие на большинство писателей тех лет, которые касались негритянской темы. Большая часть этой литературы теперь

представляет интерес только для исследователя. Однако некоторые писатели, в особенности писатели-негры, отдавшие дань негритянско-экзотической теме, сумели преодолеть в большей или меньшей степени декадентские «гарлемские» настроения.

Влияние растущего общественного движения в США накануне кризиса и в особенности после начала его — уже в 30-х годах — сказалось на литературе о неграх, как и на всей американской литературе в целом, — многие авторы повернули в сторону социальной тематики.

Лэнгстон Хьюз был одним из первых современных негритянских писателей, попытавшихся вырваться из тесного круга, в котором очутилась негритянская литература. В его произведениях, а также в стихах и прозе других передовых писателей стал выявляться образ негра, который не просто умоляет не терзать его и, тем более, не склонен забавлять своих мучителей, но выступает с решительным протестом против создавшегося положения. Некоторые негритянские писатели в США, ближе связавшиеся с прогрессивными организациями, почувствовали, что негр не одинок, что белые не представляют собой недифференцированную враждебную массу, что у негра имеются союзники в борьбе за социальную справедливость.

Нужно сказать, что американская буржуазия не жалела и не жалеет усилий для того, чтобы помешать подъему прогрессивной негритянской литературы. И пагубное влияние реакции на творчество писателей, разрабатывающих негритянскую тему, нередко проявляется в весьма наглядном виде.

Примерно десять лет тому назад вышли в свет первые из рассказов Ричарда Райта, которые в дальнейшем составили сборник «Дети дяди Тома». Эти произведения обратили на себя внимание. Объяснялось это, в первую очередь, тем, что писатель осмелился дальше развивать уже наметившуюся в негритянской литературе тему сопротивления. Его герои отказываются мириться с тяжелой судьбой полуроба в американском обществе. Они не просят о жалости. В них живет чувство собственного достоинства, гордости за себя и, пожалуй, даже известное сознание своей силы. Эту силу неграм-героям лучших рассказов Райта придает прежде всего то, что они нашли друзей

среди белых — предгавителей трудового люда Америки.

Но уже в «Детях дяди Тома» присутствуют интонации, которые смутили многих читателей. Эти интонации резко возросли в романе Райта «Сын Америки», вышедшем в свет в 1940 г. Писатель изображает жизнь негра в Америке, как страшную. Это правдиво и законно. Но Райт начинает все заметнее нагнетать чувство страха, даже культивировать его. В дальнейшем почти все сознание писателя подчиняется этому ощущению страшного, он перестает изображать людей, способных на разумную освободительную деятельность, и как бы стремится внушить чувство страха читателю. Райт начинает тяготеть к сверхчудовищному патологическому. То новое, что составляло сущность его таланта, давало ему творческую силу, сходит на-нет.

Такова печальная эволюция творчества Райта в последние годы. К чему он пришел, показывает, в частности, опубликованная не столь давно повесть «Человек в подполье». Главный персонаж повести — тупой, недалекий негр, который под влиянием страха превращается в полуживотное. Элементы символизма в новом произведении Райта только подтверждают, что писатель пошел по пути крайнего декаданса, который характерен для наиболее отрицательных элементов в современной американской литературе. Социальный смысл повести очевиден. Дело не только и даже не столько в том, что страшная действительность загоняет негра в подполье, заставляет его жить в канализационных устройствах, среди отбросов, трупов, крыс, сколько в том, что это «подпольное» существо полудиотично, совершенно неспособно противостоять создавшимся условиям. «Действительность непреодолима» — вот вывод, который подсказывает читателю Райт, помогая угнетателям применять страх в качестве оружия против угнетаемых.

Не столь давно Райт выпустил также первую часть и некоторые главы из второй части своей автобиографии «Черный мальчик». Некоторые страницы рисуют нестерпимое положение негров в Америке. Но по мере того, как вчитываешься в эту книгу, и, в особенности, когда знакомишься с отрывками из второй части автобиографии, открываешь в Райте все больше упадочнического, негодного, гнилого. Предельный ин-

дивидуализм, элементы враждебности по отношению к своему собственному народу, черты расовой нетерпимости и просто патологического сознания — все это перемешивается и создает тяжелую картину. В высшей степени характерен отрывок из второй части автобиографии, напечатанный в альманахе «Разрез» за 1945 г. Райт описывает, как, работая в ресторане, он заметил, что повариха-белая систематически плюет в пищу. Автор «обыгрывает» этот эпизод на протяжении многих страниц, сознательно стараясь вызвать ощущение полной безысходности, неизбежности сущего, каким бы гнусным оно ни было. Какой знакомый мотив, известный хотя бы по произведениям современных французских декадентов, ставящих перед собой ту же вредную задачу — отравить сознание борцов за новую жизнь.

Таким образом, Райт сдал все завоеванные им позиции. Он стремится теперь с истерической интенсивностью вычеркнуть из сознания читателей все, что раньше писал, хочет утопить свободолобивые устремления американских негров в мутных потоках страха, человеконенавистничества, которыми он заливал свои последние работы.

С чем это связано? Лучшее, что написал Райт, было создано в тот период, когда он был близок к рабочему движению в США, когда он подчеркивал, что «писатель-негр может достигнуть максимального освобождения мысли и чувства при помощи марксистского понимания действительности и общества». В самые последние годы Райт отошел от передовых взглядов, от общественного движения в Америке, и не только отошел, но неоднократно пытался клеветать на коммунистов, с которыми был когда-то связан.

Живой контакт с наиболее передовыми слоями американского общества в свое время обогатил творчество Райта, позволил ему увидеть то лучшее, что нарождается в негре, который не намерен мириться со своим полурабским положением. Ренегатство, измена интересам народа привели Райта к глубокому творческому упадку. Как бы свиходительно буржуазные критики ни похлывали Райта по плечу, поднимая на шит самое отрицательное, самое слабое в его творчестве, писатель, конечно, стал на гибельный путь. И, видимо, Райт идет по нему все дальше и дальше, все быстрее и быстрее.

В одной из своих последних статей Райт, повторяя чужие слова, говорит о неграх, что они не способны на протест против голода, что они «умирают, как овцы». Он теперь видит только отвратительное и в неграх, и в белых, он отказывается понимать связь негритянской проблемы с общей борьбой трудящихся в Америке против реакции.

Описывая свой отход от рабочего движения, Райт с горечью заметил как-то в редкую минуту искренности, что он больше не сможет написать такой книги, как «Дети дяди Тома», книги, которая выражала веру в негра, в трудящихся, в будущее. Что ж, тем хуже для Райта, не только как гражданина, но и как художника.

11

Можно утверждать что литература в неграх получит в Америке дальнейшее плодотворное развитие в том случае, если писатели еще решительней отойдут от традиционных тем, традиционных изживающих и изживших себя, а зачастую и просто фальшивых мотивов, если художники сумеют отразить те новые тенденции, которые намечаются в американской жизни. В небольшой степени это новое показано в книгах о неграх, изданных за самые последние годы. Но в художественной литературе США еще не нашло достаточно яркого отражения мироощущение передовых негров наших дней. В ней еще недостаточно чувствуется понимание того, насколько тесно пути разрешения негритянской проблемы переплетаются с путями борьбы против фашизма и реакция в целом.

В своей автобиографии престарелый негритянский деятель Дю-Бойс писал, говоря о своем посещении Советского Союза: «За всю мою жизнь ничто так меня не потрясло, как то, что я видел во время двухмесячного пребывания в России... Со времени этой поездки мои взгляды на вещи, мое видение мира навсегда изменились». Безусловно, круг освободительных идей, связанных с Октябрьской революцией, находит отклик и в широкой негритянской среде. Есть немало свидетельств того, что в особенности за время второй мировой войны многие негры стали несравненно лучше понимать, что представляет собой Советский Союз, страна победившего народа, и какую роль он играет в борьбе против фашизма.

Негритянская тема не нова для Америки. Но те черты негритянской жизни, которые становятся более заметными в последнее время, еще ждут адекватного отображения в художественном творчестве. Уже появились произведения, говорящие о том, что новая литература нарождается, что писатели не молчат, что они ищут. Все же сегодня нельзя сказать, что трагическая судьба негра в современной Америке уже показана со всей художественной силой, что возник мощный образ негра, борющегося в наши дни за свои человеческие права.

Нельзя, конечно, ни на мгновение забывать, какие труднейшие препятствия стоят на пути создания большой негритянской литературы. Известно, что в Америке нелегко приходится любому честному писателю, серьезно озабоченному судьбой своего народа. Но несравненно более тяжела судьба художника-негра, который хочет рассказать правду о жизни своих братьев. Не столь давно Лэнгстон Хьюз писал, «Рынок для сбыта произведений негритянских писателей явно ограничен... И чем правдивее мы пишем о себе, тем более ограниченным этот рынок становится. Романы о неграх, которые находят наибольший спрос — будь то писатель белый или негр, романы, которые попадают в списки «бестселлеров» и получают крупнейшие премии, это почти всегда книги, которые весьма поверхностно касаются явлений негритянской жизни, которые создают впечатление, будто наши черные гетто в больших городах исполнены радости, а плантации на дальнем юге с их пасторальным очарованием просто идилличны».

Писателю, которому удастся выйти из круга слащавых, сентиментальных представлений о жизни негров, нередко придется пробиваться сквозь многие другие препятствия, которые господствующий класс ставит на его пути. Пример Райта еще раз свидетельствует о том, какие разнообразные формы носит пагубное воздействие буржуазного общества на писателя и как переход художника на ложные, враждебные интересам передового человечества идейные позиции опустошает его душу и губит его талант.

Обстановка в Америке в наши дни становится все более напряженной и сложной, предъявляя большие требования к каждому человеку, который хочет создать нечто действительно ценное в области искусства. Все это с максимальной силой относится к писателям, которые изображают жизнь негров. Как показали послевоенные выступления представителей ряда негритянских общественных организаций, в настоящее время негры лучше, чем когда-либо раньше, понимают связь своей борьбы за подлинное равноправие, за истинно-человеческие условия жизни с общей борьбой угнетенных национальностей за свободу, борьбой трудящихся за свои права, против реакции и фашизма. Современный писатель, который хочет изобразить правдиво и проникновенно, как складываются судьбы негра в Америке, обязан видеть явления, характерные для негритянской действительности, в свете больших мировых проблем, большой борьбы, больших задач.



ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Иосиф Уткин

1

КАК ПОДОБАЕТ МОЛОДЫМ

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

★

Подполковник, работник политотдела дивизии, рассказал мне о том, как был ранен Уткин.

— До войны я служил далеко от Москвы, — сказал он, — мне никогда не приходилось встречаться с поэтами. Мне казалось, когда я читал книги стихов, что поэты много придумывают и далеки от жизни. Поэты писали о войне, о героизме, а я думал: писать-то легко, а вот попал бы ты в настоящую переделку, как бы ты себя вел тогда? В начале войны я был послан на фронт, под Брянск. Положение там было тяжелое. К нам в дивизию приехал высокий, удивительно красивый офицер. Мне сообщили, что поэт Иосиф Уткин. По правде сказать, я не знал, куда мне девать поэта. Но он сам определил свое место:

— Вы идете на передовую? Я с вами.

Это была прогулка не из приятных. Немцы наседали, наши отходили в упорных боях. На том участке, куда мы направились, приказано было во что бы то ни стало остановить врага. Мы пришли в батальон, который только что отступил и находился теперь на голом месте, без окопов и укрытий. Надо было поднять солдат в атаку и восстановить положение на участке. Шел сильный обстрел, и я, по правде сказать, досадовал, что с нами лишний человек в эту тяжелую минуту. Но вскоре моя досада прошла. Уткин страстно и спокойно разговаривал с бойцами. Он говорил о небольшой задаче, поставленной перед батальоном, так, как будто от выполнения ее зависит судьба всей страны. Он был для всех новым человеком, только что

прибывшим из Москвы. Он говорил о том, что в Москве дети дежурят на крышах и гасят зажигательные бомбы.

Я не знал, что Уткин — беспартийный, я считал его комиссаром, и бойцы видели в нем комиссара. Он поднялся в атаку вместе со всеми, около него разорвалось несколько мин. Он упал лицом вперед, раскинув руки. Я не успел крикнуть ему, что надо сжаться в комочек, занять как можно меньше места на обстреливаемой земле. Через минуту завывла вторая серия мин. Я увидел, что правая рука поэта вся в крови, подполз к нему. Он был еще и контужен, видимо, не знал, как и куда он ранен, и сказал мне:

— Добейте меня, я вам мешаю здесь!

Мы вынесли его с поля боя. Оказалось, что четыре пальца правой руки оторваны. Уткина отправили в Москву, а много позже я достал книжечку его давнишних стихов и нашел там строки, заставившие меня вновь вспомнить трагическую встречу с поэтом:

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

Вот рассказ свидетеля, рассказ о живом Уткине.

... Да, герои стихов Уткина были его учителями. И вел он себя так же непреклонно, как воспетый им мальчишка из Иркутска.

Но Иосифу Уткину приходилось и спорить и воевать с главным героем стихов,

с их лирическим героем. В ранних стихах поэта есть мотив, который он потом отвергал самой своей жизнью:

Счастлив я,
И беззаботен!
Но и счастье
И покой
Я, ей-богу, заработал
Этой раненой рукой.

Это было написано двадцать лет назад и это было позой. Рука Уткина была тогда цела. А вот когда Уткин лишился руки, он не думал о покое. По выздоровлении он снова рвался на фронт, ни за что не хотел признать себя инвалидом. Когда его решили демобилизовать, он сказал мне:

— Как не понимают в отделе кадров, что поэта демобилизовать невозможно? Я уже научился писать на машинке, я буду писать, значит я буду служить так же, как раньше!

До войны Уткин писал мало, после ранения он стал писать больше, голос его окреп и приобрел новые ноты гражданского пафоса. И не было в его стихах новых времен ни раненой руки, ни грустящего поэта, в этих стихах стучало большое сердце и говорили высокие чувства.

Иосиф Уткин был человеком с трудной и сложной поэтической биографией. К нему очень рано пришла большая слава — сразу же после первых стихов и «Повести о рыжем Мотеле». За славою плелась и молва, и пародии, и карикатуры. Путь поэта не прямлинеен, и настала пора, когда слава отошла от Уткина, стала в тень. А молва, пародии и карикатуры вылезли на первый план. Его называли певцом мещанства, рисовали верхом на гитаре. Вероятно, какая-то доля истины была в этой весьма распространенной вокруг имени Уткина форме критики. Но мне кажется, очень малая доля. У Иосифа Уткина было немало недостатков, но критики редко помогали ему разбираться в них. Я познакомился с Иосифом Уткиным как раз в эту пору, незадолго до войны. Он жил скромно и строго, писал стихи медленно и трудно. Многие теперь широко известные его стихи по месяцам, а то и по годам выдерживались им в письменном столе. Когда товарищи спрашивали его, почему он не печатает то или иное стихотворение, он отвечал: «Пусть лучше оно устаревает у меня в столе, чем на столе у читателя. А ес-

ли почувствую, что оно живет, напечатаю позже».

Его любимыми поэтами были Батюшков, Лермонтов и Маяковский. Надо особо сказать о влиянии Маяковского на Уткина. Не только отдельные стихи, но и некоторые книги Уткина (например, книга «Стихи о войне», изданная в 1933 году) написаны под явным влиянием стихов Маяковского. Это не ученичество, это учеба мастера. Я говорю не о ступенчатой строке, но об ораторской интонации, политической устремленности. Уткин, которого многие критики упрекали в зазнайстве и болезненном самомнении, в среде товарищей всегда говорил о себе, как об ученике Маяковского, с благоговением вспоминал о своем учителе.

— На биллиарде я иногда брал верх над Маяковским, а в поэзии — никогда. Но Маяковский следил за моими стихами и помнил наизусть несколько моих строк, — рассказывал он мне в одну из наших, ставших традицией, прогулок по Москве.

В свободное время мы подолгу ходили по улицам и бульварам. Иногда Уткин останавливался — особенно часто это бывало весной — и говорил:

— Послушайте, как хорошо звучит город! Как хорошо сейчас дышется..

С ним нельзя было разговаривать о пустяках, он не терпел пошлости и грубости. Он любил говорить о поэзии, читать стихи, которых он знал наизусть великое множество. Если он спорил, то всегда с почти фантастическим энтузиазмом отстаивал свою точку зрения.

Как он был непохож на то мнение о нем, которое упорно навязывали читателю некоторые критики! Последняя статья о себе, которую ему довелось прочесть, принадлежала лихому перу критика Н. Калитина. Критик мало заинтересовался стихами. Ему не понравилась фотография поэта, предпосланная последней книге Уткина. Критик усмотрел кокетство в том, что поэт снялся в военной форме во весь рост. Но военная форма Уткина была в единстве с содержанием его стихов последних лет.

Стихи Иосифа Уткина, написанные в годы Отечественной войны, пожалуй, самые сильные в его поэтическом наследстве.

Огонь орудийного гнева
Гудит у России в груди.

Написал он эти строки в сорок третьем году в белорусских лесах, в каван-

лери́йском корпусе, где провел целый месяц, — потом о нем рассказывали долго, и последний раз я слышал от кавалеристов эти строки его стихов уже в мирное время, на реке Эльбе.

Чудесный образ санитарки, склонившейся над раненым, традиционный, и в то же время новый образ русской женщины, нежнейшие строки о родине:

Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы —

все это с болью перечитываем мы в его последней книге «О родине, о дружбе о любви».

Уткин не любил рассказывать о своих планах, он предпочитал написанные стихи обещаниям. Но в нашу последнюю встречу — за несколько месяцев до авиационной катастрофы, оборвавшей его жизнь — он говорил мне:

— Буду писать сейчас и стихи и прозу. Я раньше не пробовал писать прозой, но теперь написал несколько статей в «Правде» и почувствовал. Надо будет еще написать поэму о саперах, которым на войне достался самый трудный хлеб. И поэму о девушках — участницах войны...

Этим планам не суждено было сбыться, но и те стихи, которые успел написать Иосиф Уткин за свою жизнь, останутся в советской поэзии, в нашей жизни.

Характерна надпись, сделанная двадцатичетырехлетним Уткиным на первой книге стихов, подаренной Александру Жарову: «Может быть, да и наверное, мы в драгоценностях новой литературы — скромные камни, бледные рубины. Но если даже и так, если я буду убежден, что мы что-то сделали и дали — я благодарно склоню перед судьбою счастливую голову.

Как хорошо, что мы родились и жили в такую счастливую эпоху. Как хорошо, что мы рядом и вместе слушали и поем ее».

Иосиф Уткин немало сделал и дал нашей поэзии. Он не дожидаясь победы, но победа жила и осталась жить в его стихах, потому что это был поэт искренний, пламенный, безраздельно любивший свою советскую родину.

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым.
Лицом вперед,
Обнявши землю.
Которой мы не отдадим.



ВОЕННОЙ ДОРОГОЙ

И. РАХТАНОВ

☆

После допроса немецкого обер-лейтенанта, где мы познакомились с полковником, начальником 7-го отдела нашего штаба, Иосиф Уткин, вызвав меня из шалаша, сказал:

— Я поручился за вас... и поэтому хочу знать все точно — вы не боитесь ехать? Помните, можно остаться дома. Дорога туда очень опасная, все время под бомбежкой. Никто из наших не ездил так далеко...

Кончался август сорок первого. На войне мы были всего третий день. В Москве Уткина я знал почти шапочно. Теперь же он брал меня под покровительство, хотя формально мы были равны, и нам предстояло воевать плечом к плечу: он числился поэтом красноармейской газеты Брянского фронта «На разгром врага», я — её писателем.

— Завтра полковник обещал нас взять с собой. Он хороший, храбрый человек... И будет очень обидно, если писатели окажутся не достойными его. Вы меня понимаете? В конце концов вас куда не посылают... Знаете старое военное правило: не отказываться, если тебя посылают, — это стыдно, но и самому не лезть вперед... А я не могу. Да, не могу я так... По мне, это правило недостаточно поэтично. Что я буду делать с людьми, которые не лезут вперед? Кроме того, между нами, я не уверен, что они выигрывают и в жизни, и на войне...

Тропинка от 7-го отдела штаба к шалашам редакции была прорублена в толще Брянского леса, и нас сопровождал смелый запах недавней лесосеки. Еще вчера все это было необычайно — и маленькая газетка, печатавшаяся на походных типографских станках, и ночи в шалаше, по

ветвям которого мягко шуршал непривычный, негородской дождь — вестник наступающей осени

— Вот возьмите того немца, которого мы только что видели. Этот обер-лейтенант наверняка придерживался добропорядочного золотого правила. Не лез вперед, шел только по приказу. И вообще всю жизнь с пеленок жил по приказу, мать давала ему свою грудь, приказывала есть — и он тянул. Дальше школа, приказывали учиться — он зубрил. Потом армия, немецкая армия, где и так ясно, что все по приказу. Он выполнял приказ. И сейчас, когда мы вошли в шалаш, вскочил на ноги, козырнул и стоя говорил с нами, не запираясь отвечал на приказы нашего полковника, лишь только тот повысил голос. А когда я сказал, что хочу говорить с ним частно, и спросил, читал ли он Гете, обер по-военному ответил: «Никак нет». — Слышали ли вы о таком? — «Никак нет». — Чего вы хотите? — «Не могу знать». — Я спрашиваю, каковы ваши желания? — «В настоящее время никаких». И он не рисуется. Я о нем не могу написать даже в прозе. Что можно рассказать о таком нашему бойцу? Только то, что вы совсем разные, дорогой, он враг, и поэтому бей его беспощадно. В мире могут быть либо ты, либо он. Вот мы дошли до редакции и до темы. Хотите написать? Честное слово, это вполне прозаическая идея. И редактор будет ею доволен. И приказ будет выполнен. Как видите, это не так трудно — выполнять приказы...

Очерк о пленном немце я писать не стал, не успел его написать и Уткин. Рано утром в разведотдельской машине мы выехали в расположение XIII армии, наиболее выдвинутой армии нашего фронта.

В кабине шофера сидел полковник, в кузове с нами — его автоматчик Ванечка. Парень это был городской, грамотный, по-видимому, понимавший что к чему. Не успели мы еще толком отъехать, как он заговорил:

— Когда меня сюда провожали, я сказал своим: «Прикажете плакать? Нет, так нет! И он ставил десяток заплаток на один жилет». Это я, товарищи командиры, в книжке, в стихотворениях однажды прочитал и дюже мне понравилось. В гражданке я портным был, как тот рыжий в той книжке...

— Ванечка, — улыбаясь, сказал Уткин, — а я эту книжку однажды написал... Знаете, Рахтанов, у меня есть большое богатство — частный капитал моего имени. Достался он мне еще в молодости, и тогда, пожалуй, незаслуженно...

Мы лежали на подостланной Ванечкой соломе, и голубое, неожиданное после вчерашнего дождя небо проносилось над нами с быстрой подпрыгивающей на ухабах полуторатонки.

Ванечка теперь во все глаза смотрел на Уткина. Видимо, он давеча придумал фразу со строчками из «Повести о рыжем Мотеле», которую, впрочем, действительно читал и помнил, чтобы проверить, тот ли это поэт Уткин, и сейчас, когда удостоверился, стал откровенно всем своим видом выдавать себя...

Дорога была забита бесконечными возками беженцев, что волочили навстречу нам на восток.

Медленно брели подгоняемые усталыми пастухами совхозные украинские стада. Мы были на пути к небольшому городку в Сумской области, на стыке России и Украины, близость которой все возрастала с новыми оборотами колес нашей полуторатонки.

— Вот смотрите, — сказал Уткин, начиная под взглядом Ванечки философствовать, — вся жизнь этих людей уместилась на одном возке. Здесь и бабушка, и внуки, и домашний скарб. И все это движется, уходит от неминуемой смерти. Куда? Каков их путь? Где остановят они свои натруженные ноги? Знают ли они это? Верят ли в остановку? Думаю, что верят. Без веры нельзя идти так спокойно. И если я когда-нибудь напишу о них, именно

это отсутствие слез в их глазах я отмечу...

— Напишите, товарищ комиссар, — попросил Ванечка, — вот как сейчас говорите, так и напишите. На то вы этому делу и обучены...

— Так нельзя, — сказал Уткин не свойственным ему серьезным голосом, — должно пройти время, чтобы эта длинная дорога подошла к моей голове, чтобы она прошла сквозь сердце, а когда это случится — стихи будут. Понятно?...

Впоследствии он действительно написал о дороге в районный центр Середина Буда. Это не лучшее из его военных стихов. Но статья в «Комсомольской правде», мне кажется, неверно критиковала их за неточность. Критик не разглядел, что здесь передано сопротивление народа. Вот эти стихи:

Беженцы

Вся жизнь на маленьком возке!
Плетутся медленные дроги
По нескончаемой тоске
В закат уткнувшейся дороги.

Воловий стон и плач колес.
Но не могу людей обидеть:
Я не заметил горьких слез,
Мешающих дорожку видеть.

Нет, стиснув зубы, сжавши рот,
На зло и горю и обидам,
Они упрямо шли вперед
С таким невозмутимым видом.

Как будто издали горя,
Еще невидимая многим,
Ждала их светлая заря,
А не закат в конце дороги...

Не знаю, прочел ли это Ванечка. Стихи были написаны, если не ошибаюсь, в Ташкенте, в эвакуации, и когда Уткин через год, вернувшись в Москву, прочел мне их, большой кусок жизни встал перед моими глазами. Критик, помнится, усомнился в точности беженского маршрута: наши люди-де уходили не на запад — «закат», а на восток. Но в стихах нет слова «запад», есть «закат», именно закат.

Конечно, в те трудные дни светлая заря — победа — светила нашим людям в конце дороги, когда война придет к свое-

му закату. А запад — понятие сугубо географическое, принадлежащее поверхностному взгляду критика, — можно оставить на его совести, должно быть, склонной к передержкам.

Машина остановилась.

— Перекурка,—сказал полковник, выходя из кабины.

Сегодня он выглядел иначе, чем вчера на допросе обер-лейтенанта. Тогда в его быстрых, фонетически безупречных немецких вопросах звучало трудно сдерживаемое раздражение. Видимо, ему, как и Уткину, был противен гитлеровский болван, приученный и привыкший только повиноваться. Сейчас полковник говорил по-русски, неожиданно окая.

— Хочу сняться на память с поэтом, — сказал он после завтрака, в составе которого оказался предусмотрительно налитый в баклажку чистый и прозрачный спирт.

— Это знаете что? — спросил полковник, разглядывая сквозь жидкость дорогу, — дружба с медициной, не больше...

Портрет Уткина, помещенный в последней его книге «О родине, о дружбе, о любви», был сделан шофером полковника именно тогда. Уткин стоит во весь свой немалый рост, пилотка съехала набекрень, фляга, обшитая солдатским сукном, висит на боку. Еще целы обе руки, ранен он был через полторы недели.

— По коням! — скомандовал полковник.

И полуторатонка, снова обгоняя встречные возки и подводы, запрыгала по бесконечной дороге.

Ванечка уже привык к присутствию того самого Уткина И теперь спрашивал, сколько в гражданских редакциях платят за стихотворения, какая у поэта квартира, кого он оставил дома. А Уткин с большим терпением разъяснял, во что ему обходится строка и как непросто писать. Под этот литературный разговор я задремал.

Мы въезжали в город Середина Буда, когда выбоина от недавно упавшей бомбы, сильно качнувшая машину, разбудила меня.

Вечерело. По тревожным улицам туда и назад бесцельно ходили люди. Через главную дорогу безостановочной чередой тащились телеги, проходили на восток отары и стада. Мы заехали в какой-то сад, опасаясь ночного налета, завели под деревья нашу машину и расположились на ночлег у дремучего деда в сторожке.

Уткин молчал. Поездка, видимо, утомила его.

Не разуваясь, легли мы на свежескошенное, душистое сено.

— У меня еще один вопрос, — сказал Ванечка, — а вот кто вам каждый месяц в гражданке деньги платит, товарищ комиссар?..

Но Уткин спал.

— Ладно, завтра спрошу, дорога-то длинная, — произнес Ванечка.

Заря еще не занималась, как мы снова двинулись в путь. На дороге пьяными и шальными голосами мычали коровы, и никому невдомек было, что давно пришла пора их подоить. Попрежнему мимо них на восток плелись беженцы, на запад спешили войска, мчались танки, пушки и грузовики.

В придорожных селах нас угощали житняком и фруктами. Женщины подсаживались к Ванечке.

— Время не то, гражданки, — говорил он, — был я прежде портной, а теперь, если по-старому сказать, солдат. Не то это, не то... Как разобьем немца, каждую поцелую.

Слово «солдат» тогда в нашей армии было диковиной, и Ванечка употреблял его для наглядности.

— А разобьете? — спрашивали женщины.

— А то как же! С нами знаете кто едет — поэт!

И он улыбался. Ему было радостно сознавать, что вместе с ним воинскую долю делит поэт. Вот почему неправы те, кто считал, что держать в маленьких военных газетках больших писателей — все равно что прикуривать от гвардейских минометов. Присутствие Уткина давало Ванечке уверенность и силу, а это на войне совсем не мало.

Штаб армии легче всего обнаружить по красным проводам подземного телефона. Это — Рим, куда все они сходятся. И, пользуясь таким ориентиром, хорошо известным нашему полковнику, мы легко добрались до политотдела, где нас ласково принял бригадный комиссар Крайнов.

Об этом человеке, о том, как он вывел политотдел армии из окружения, о нашей встрече в оставленном по приказу Верховного командования Курске не место тут подробно рассказывать.

Уткина Крайнов знал.

— Иосиф Павлович, я вашего мальчишку, того, что «шлепнули в Иркутске», наизусть помню. Как это здорово, что вы тут с нами! Мы сейчас обед соорудим, пока полковник к своим фрицам сходит. Что в Москве?

За обедом Крайнов попросил Уткина почитать новые стихи.

Без отговорок, не ломаясь, Уткин встал и прочел написанные перед самым отъездом из Москвы:

Я видел девочку убитую,
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала.

И сон её, казалось, тонок,
И вся она напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок...
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,
Тобою вырванной в бою, —
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!

Пришел полковник, вернувшийся из разведотдела, и подсел к столу.

— Для вас, Иосиф Павлович, тут есть любопытный экземпляр. Я принял решение захватить его с собой — настоящий сто-процентный «гитлерюгенд». Дорогой поговорите, Ванечка за ним присмотрит...

В конце обеда Уткин пожаловался, что у него до сих пор нет пистолета.

— Ну, этого добра у нас завались, мы люди богатые, — сказал Крайнов. — Я вам свой сейчас подарю, трофейный. Это «вальтер», последний образец. Видите — 1941 года. И первый трофей нашей армии. Вот!

Уткин взял револьвер, умелыми пальцами вытащил синюю, вороненую обойму, разрядил ее в пилотку, вставил на место, заглянул в ствол, пошелкал спуском.

— Хорош! Обещаю вам, товарищ бригадный комиссар, повернуть его против врага, — несколько торжественно произнес он, — будет замечательно из немецкого пистолета бить немцев. Об этом можно стихи писать. Спасибо!

— По коням! — скомандовал полковник.

Я не поехал назад. Мне хотелось видеть войну поближе, а Уткин решил послушать допрос «гитлерюгенда» в Брянске.

— Как никак, молодой человек. Это по моей, по комсомольской части...

Мы расстались.

Больше я его до Москвы не видал. Возвращаясь через две недели в редакцию, я услышал, что под минометным обстрелом, на другом участке фронта, в расположении другой нашей армии, Уткин был ранен в правую руку и уже отправлен на самолете в Москву.

Он шел против немцев, положив палец на спусковой крючок подаренного ему Крайновым «вальтера», повернув на врага, как обещал, его же оружие.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ О КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ

★

ЖИЗНЬ СТРОИТСЯ

Вопрос о том, насколько писатель может посредством выбора и исключения вызвать из самой жизни новое создание, новый образ, решается им самим. Это вопрос писательского мировоззрения, величайшего любопытства ко всему, что отмечено печатью движения вперед. Что может быть заманчивее открытия новых горизонтов, сторон действительности, когда писатель становится «хозяином» своего произведения, мастером, а не скучным ремесленником, надоедливо повторяющим литературные зады!

Небольшая повесть Николая Тошакова «Чарома» производит хорошее впечатление¹. Хорошее в литературе и в жизни, как бы часто ни встречалось оно, всегда неожиданно и ново, — только пресыщенность стоит на пути этого чудесного чувства. Еще до того, как разберешь «Чарому» по косточкам, уже чувствуешь ее большую слаженность — идейную и техническую, ее устроенность, в которую вложен труд, знания, любовь. Африкан Жихарев в повести — фигура реальная, подлинно современная — в том еще смысле, что он социально и психологически «устроенный» человек, а не какой-нибудь мятущийся Моргунок периода исканий. Место для жизни Африканом давно найдено — колхоз, осталась забота об укреплении, улучшении его. Жихарев твердо шагает вперед по взятому им направлению, — он вчера еще был солдат и прошел тысячи километров.

Герой повести — личность реально существующая, мыслящая и действующая. Это — здоровый русский человек, простой

«солдат с фронта», немного восторженный и эмоциональный по характеру, с ясным сознанием и одной «замечательной идейкой» в голове «Не принимает также душа его обывательской грязи, которую, к сожалению, иногда месят люди, собираясь на какой-нибудь завалинке или у колодца». Н. Тошакову удалось нарисовать посредством одной непрерывной линии цельный образ героя.

Чарома — это название северной деревушки, расположенной, повидимому, где-то на северо-восток от Ленинграда. Война была под боком у Чаромы, и поэтому все ее жители хорошо знают свою родную советскую армию, защитницу и спасительницу их жизни. Мирской была деревня в войну. Это обстоятельство немаловажное для понимания чувства братства, развитого среди чаромовцев. Кто знает, может быть без этого многое иначе сложилось бы в судьбе Жихарева — семейной и общественной. Когда-то места, описанные в повести, слыли кондовыми, но еще в старину наше северное крестьянство могло похвастаться опрятностью в быту, обычаях, нравах. Теперь же все неизмеримо возросло и приобрело новое социалистическое качество, изменившее самый облик, духовное существо русского крестьянина. Н. Тошаков зорко подметил, как творчески умел и споро Жихарев и его соседи строят свою жизнь в колхозе.

Советский человек-победитель узнается по множеству признаков.

В простых и выразительных сценах повести самое главное, кажется, не пропущено: предмет, мысль и язык ее плотно припечатаны к нашему, советскому времени. И язык ее героев

¹ Николай Тошаков. Чарома. «Советский писатель». Ленинград, 1947, стр. 96.

тоже свободный, богатый, точный, ясный и в то же время — народный, в правильном понимании слова. По языку познается интеллект, круг интересов, взгляд на вещи. Незаметно, без навязчивости и нарочитости, через живую речь, встает перед нами образ человека, вчера еще командира орудия, а ныне — мирного колхозника. В очень колоритной «банной» главе, где шипят сухие струи пара на каменке, Африкан, прихлестывая себя веником, приговаривает: «Вот так, вот так... Выходи военный дух, набирайся мирный».

Надо отдать справедливость писателю: он умеет слушать своих современников, язык которых пересыпан энергическими армейскими оборотами речи. Пожилой Божатко сильно удивился, узнав от своего младшего брата Африкана, что теперь в армии принята характеристика: «Требовательный к себе»... — «Фу ты, господи, я наговорил с короб, а оказывается, в двух словах можно! Требовательный к себе! У нас в прежней армии этого не было», — восклицает старый крестьянин. Много чего и другого не было в старой жизни и что утвердилось в новой, — об этом, в сущности, вся повесть Н. Тошакова.

Особенно наглядно предстает новое, человеческое в том, как подходит Жихарев к наиболее ранимым сторонам жизни. Он несчастен: любимая жена его Надежда умерла «еще до его возвращения — от страдания, что оставила ему прижитого годсвалого мальчишка, Африкан охвачен роем тяжелых переживаний, но ум и память сердца говорят ему, что в чем-то главном Надежда не виновата, что — «все понятно, все — война... Глупая Надька, глупая Надька». Преодолевая минутную растерянность, он усыновляет ребенка, гверло, по-военному, пресекая всякие досужие оскорбительные разговорчики у колодца. Благородный поступок Жихарева лишь естественное следствие сложившихся в нашем обществе нравственных отношений.

Выбрав себе («природа подскажет, кого любить!») хорошую, самостоятельную невесту Екатерину Круглову, лучшую сгородницу в округе Жихарев прежде всего озабочен устройством судьбы своих детей. Мягко, деликатно, но и решительно он раскрывает перед дочерью Любой, что «без любви, доченька, нельзя прожить», что все в жизни к этому ведет и потребность чувства, и вопрос о хозяйке в крестьянском

доме, и само общественное состояние человека. Немало верно подмечено и прощупано автором в жизни своих героев. Заходит, например, разговор о женитьбе, неужели же прав Никифор, что «не те годы, не та кровь»? Нет! — говорит Жихарев «У меня Надька, бывало, взглянет только — горы сворочу. Работалось легко. Как настеганный весь день бегаешь. И все-то нравится, веселит.. Любовь? Любовь — половина жизни. Без любви ежели сойдусь, как вареный по земле ходить буду». На своем понимании любви, как творческой силы в жизни, Жихарев стоит твердо, как на камне. «А книги в тысячу страниц — о чем? О любви. Зря бы ведь не писали, если бы любви не было!» Это место в повести восхитительно по чистоте и наивности выражения мыслей и чувств.

Любовь строит жизнь. И вообще все строится в повести: и новая семья, и старая изба почти заново, и товарищеские отношения между соседями. Кто умеет любить, кто любит родную землю, страну, государство, тот не боится никакой «неустроенности» в жизни, — он преодолевает ее, идя рука об руку с народной советской властью. У Африкана есть свой конек: незлая ирония над мнимой «неустроенностью» доброго, но вялого Никифора, над Татьяной Малининой, которая тихо и покорно просит его: «возьми замуж». Устроены же фронтовики Мартыянов, Репин, устроены Божатко, дочь и сын Жихаревы, — такие же они, как и все колхозники, перед которыми все открыто, все доступно. Любить надо дело. Божатко правильно поступил с Африканом, не впуская его на время ремонта в свою избу — сам строй! А потом помог, не отказал. Дружба, любовь не есть благотворительность. Это у большинства чаромовцев вошло в самую плоть сознания. Многие видные вопросы современного колхозного быта правильно и находчиве поставлены в повести. Их целый узел. Насыщенность такая, что хватило бы на роман.

Но главное, на что наирает Жихарев, это побороть вековое «пустоплесье» на его болотистой родине. Желание, «замечательная идея», возникает мгновенно, — человеку хочется созидать, двигаться, благоустроить жизнь. Это вполне в характере героя-человека современного, советского. Все видят, что рядом пропадает пустоплесье. Разработать его, засадить овощами! Пусть это будет сверх утвержденного районом плана, но выполнимо и нужно. Африкану хочется

знести с вою долю инициативы в колхозное хозяйство. Тут заводится интересная перебранка между ним и председателем колхоза, которому обязательно надо «намять бока» за безмятежное отношение к делу. «Сверху пока больше не требуют», план разработан обстоятельно, колхоз и без этого неплохо проживет, чего же еще лезть... Не понимает человек Жихарева и Лукьяна Репина, не понимает, откуда у них эта настойчивость: «План планом, но в каждой деревне надо что-то и свое придумать. Неужели мы в своих деревнях не найдем того, что сверху и не видно?»

Ощущение себя, как хозяев жизни, показано в повести не отвлеченно, а во многих столкновениях и заботах дня. Жихареву, Репину и другим не скучно дома, даже и после многих великих дел, совершенных ими на полях сражений. А все-таки, не податься ли им на городские квартиры? Таких молодых живо где-нибудь в заведующие определяют! Что же отвечает Африкан на этот каверзный вопрос старшего брата? «Скучно ли будет? Кажется, это от себя зависит. Где бы ли было,—в городе, в деревне, за границей,— везде сам-друг, от себя не уйдешь. Как ты в четвертом году на полях Манчжурии себя чувствовал — Жихаревым или каким-нибудь хунхузом?..» Большой привязанностью к родине, к родным живописным местам отмечены все шаги и все ощущения Африкана, и тут ему колеблющийся, засматривающийся на-сторону Никифор никакая не помеха. Да и какой Никифор демон-искуситель! Добрая, честная он душа, что и оправдывается вскоре, только вот мелкогато он плавает и слишком сильно печется о текущем дне: «Земля нас носит, да каждый день хлеба просит». А то, что надо больше думать об общем деле, тогда скорей сыт будешь (совет Африкана) — это он не сразу осмысливает, потому что для этого нужна еще и смелость и полет души.

Разнообразная людская, человеческая толща в колхозной жизни. Новые люди, новые отношения. Неисчислима цена, какую сообщает жизни упорная настойчивая работа человека над собой, над своей идеей, вливающейся в большой поток общегосударственных идей. Что замечательного в Африкане Жихареве? То, что в нем есть черты преобразенного революцией русского национального сильного характера. В нем некоторым образом нашли выражение дорогие нам черты Хоря и Калиныча: воля и мечта, ум и

поэзия. Не в хрестоматийном смысле, конечно, надо понимать это сравнение, а в совершенно конкретном со всеми вытекающими отсюда следствиями — в том именно понимании, в каком были сказаны А. А. Ждановым слова: «Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня». Приведем еще одну цитату из «Чаромы», в ней также печать времени, эпохи, может быть не очень выпуклая, но все же отчетливая: «Вечер был тихий, морозный... Большие, яркие звезды горели в небе. Избы, занесенные снегом, нахохлясь, словно ждали чего-то. Африкан с нежностью подумал о своей деревушке, с таким дорогим ему названием — Чарома». Припомните сейчас названия некрасовских «смежных деревень», от Заплатова до Горелова включительно — и сразу разница бросится в глаза. И еще новая северно-русская локальная подробность в «Чароме» — в самом конце ее, за свадебным скромным столом, где собралась вся деревушка, когда в шуме мартовского ветра уже слышался приход весны. «Слушать мою команду, — крикнул счастливый Африкан. — Я князь сегодня. Наполнить чаши веселой брагой. Божатко, тысяцкой мой, проследить!» Вот что такое нынешний хозяин деревни, колхозный князь-во-князьях.

Отчетливы, вняты и многие другие образы повести, и особенно — Любы, дочери Африкана, большой хозяйки маленького дома, вынесшей в войну на своих хрупких плечах всю маяту безродительской жизни.

Разнообразное действие повести протекает в очень короткое время — в течение двух недель. Автор не мог поэтому избежать некоторых условностей в развитии действия. Например, перемена в личной жизни Африкана происходит кинематографически быстро. То же можно сказать и об осуществлении жихаревского плана освоения озерной пустоши. Иные струны в сюжете слишком натянуты, вот-вот порвутся. Трудно, например, поверить, чтобы в Африкане, каким бы широким он ни был по натуре, воображение безраздельно торжествовало над существенностью... В нем обе эти стороны слиты, и потому странно звучат у семейного, рачительного хозяина Африкана слова «не знаю» в ответ на вопрос Никифора, хватит ли ему хлеба до нового урожая. Беспечность не характерна для него. Совершенно неправилен также акцент в словах секретаря райкома

Кудрявцева, друга детства Жихарева, что для чего же он и учился, «как не для своей родины, не в широком смысле, а в самом узком, — для своего села Фомкина».. Противопоставление советской большой родины родным селам, деревушкам, погостам бессмысленно во всех отношениях. Автор заставил Кудрявцева произнести не те слова. Дело в том ведь, что он ведет себя в повести как настоящий государственный.

Идея «Чаромы» составляет одно целое с идеей, которой живут ее главные герои.

Требовательный к своему времени Н. Ташаков не помещает своего идеала вне обычной повседневности, вне насущной социалистической реальности. Читается повесть с интересом. В ней есть живое действие; перемены, начала и концы. Но пусть стремление к краткости и экономичности изображения не станет в дальнейшем помехой на пути молодого писателя.

Н. Замошкин

☆

ЗЕМЛЯКИ ПОЭТА

Нельзя сказать, чтобы тема советской деревни, с ее коллективным хозяйством, новой экономикой и бытом, социалистическим отношением к труду и общественной собственности, не нашла своего отражения в нашей поэзии. По меньшей мере в творчестве двух крупнейших поэтов наших дней — Александра Твардовского и Михаила Исаковского, песенный дар которых развивался и креп на колхозной теме, — наиболее глубоко, в лирике, отразилось то новое, что привнесли социалистические отношения нашей деревни в чувства и мысли ее людей.

И все-таки перед колхозной деревней советская литература, наши поэты в долгу. И особенно в долгу за годы Великой Отечественной войны, когда о колхозном крестьянстве с такой гордостью, уважением и любовью не раз отзывался товарищ Сталин. В долгу перед ней поэты и сегодня, когда наша деревня на новом подъеме, охвачена пафосом вдохновенной борьбы за урожай, достойные страны социализма.

По такому, как говорил Маяковский, «мандату долга», с хорошим чувством написана небольшая книжка Александра Яшина «Земляки»¹.

Еще на XVII съезде нашей партии товарищ Сталин говорил о тех грандиозных изменениях, которые принесли деревне годы советской власти, победа колхозного строя, — когда на месте старой выступила «новая деревня, с ее общественно-хозяйственными постройками, с ее клубами, радио, кино, школами, библиотеками и ясля-

ми, с ее тракторами, комбайнами, молотилками и автомобилями».

«... Теперь знатными людьми являются деятели колхозов и совхозов, школ и клубов, старшие трактористы, комбайнеры, бригадиры... лучшие ударники и ударницы колхозных полей», — говорил тогда товарищ Сталин¹.

Еще и пятнадцати лет не прошло с тех пор, как товарищ Сталин впервые отметил исторические изменения в деревне. За эти годы война оторвала советский народ от созидательного социалистического труда, задержав на целое пятилетие наше победоносное стремительное движение к коммунизму. Но совершенно невозможно уже представить себе нашу деревню иной, без машин, без коллективного труда, без ее деятелей и работников обычных советских профессий — агрономов, учителей, бригадиров, трактористов, комбайнеров.

... Посевы наши раздались,
Земля добра, народ богат,
Вошли машины в нашу жизнь. —

справедливо утверждает Александр Яшин, рассказывая о родном колхозе в северной, вологодской деревне Блудино, выросшей, по преданию, на том месте, где когда-то в дремучем лесу заблудился ее первый насельник.

Давно уже изменился и наш сельский пейзаж, и не совсем характерны для него привольное поле, да мохнатые ели, да звонкие сосны, да три символические березки, выражавшие столько лет чувство родной земли. Теперь — «меж сосен провода гудят»

¹ Александр Яшин. Земляки. «Советский писатель», Москва, 1946.

¹ И Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 457—458.

... Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок, —

вот те новые, непременные детали живой
картины, которые вместе с брусничкой в
чашах, голубизной реки, покрытыми тесом
просторными дворами, шумными колхозными
праздниками вспоминались поэту, когда
«он раненый лежал в пыли».

От колхоза, о котором поэтически расска-
зывает Александр Яшин, далеко до фронта—

Здесь оружейные раскаты
Не нарушали тишину.

Но сборник стихов Александра Яшина,
если не считать нескольких неудачных его
страниц, — это стихи о незаметном трудовом
подвиге, о воюющем народе, о народе-побе-
дителях:

В какой избе, в каком колхозе
Армейской клятвой не клялись?

В этом далеком от боев краю, где и «по-
ссы не примяты и селенья не сожжены»,
воевали, однако, все — женщины и под-
ростки, старики и молодые, и безногий
колхозный счетовод, и школьный учитель
с костылем, и председатель в гимнастер-
ке, который

Закончась ляжет, первым встанет,
А на поля с людьми пойдет, —
Он в душу каждому заглянет,
Как будто в бой ведет народ.

Все они, как бригадир на сенокосе, чув-
ствовали свою ответственность перед наро-
дом:

Все правление,
Все селение,
Положилось на нас. . . («На сенокосе»)

Это чувство долга и ответственности, па-
фос коллективного труда для блага родины,
увлекает и строптивую бобылку Настю,
«принципиальную» противницу артельного
начала, еще недавно находившую самые
различные предлоги — и немощь, и бо-
лезни, — когда ее звали помочь колхозу в
страду. «А погоните неволей, я до Сталина
дойду!» — Без всякого повода угрожала
она. Теперь, незаметно для себя, «по охе-
те, без политики», она втягивается в ар-
тельный женский труд. Вот и война уже
окончилась, а она попрежнему —

Из артели не выходит,
Говорит: — Желанья нет!

Мужественно воюют и подростки — «год-
ков по десять, не боле», которые выполня-
ют боевое задание — «за восемь дней за-
сеять озимое поле».

— Считайте, что вы теперь на войне,
И это не бороны, а тачанки. . .
А поле — взглянуть на него и вздохнуть:
Огромное, нет ни конца, ни края.
Таким представлялся ребятам путь
На запад, — от Волги и до Дуная. . .

Патриотический подвиг подростков-«ре-
месленников» в годы войны запечатлен в
творчестве А. Барто. Ее несомненной поэти-
ческой заслугой является новый герой на
страницах нашей поэзии — маленький «ре-
месленник». Александр Яшин любовно нари-
совал его родного брата — подростка-кол-
хозника. Поэт нашел правдивые интонации
в его ломающемся голосе, настоящее «пра-
вильное» слово, и мы вновь увидели живую
нашу советскую детвору, — и подлинных
героев, и настоящих детей в одно и то
же время.

Ночами опушки черным-черны.
Бездонное небо героев пугало.
Порою казалось: вовсе луны,
Совсем на свете луны не бывало.
... От шума листьев и крика совы
Бледнели и вздрагивали герои. . .
... Но если жалели кого — лошадей,
Одних лошадей, не себя жалели. . .
... Узлы на ладонях, вихры в пыли.
Заказ фронтовой и жизнь фронтовая.
И все им казалось: они прошли
С бойцами от Волги и до Дуная. . .

Это не только казалось маленьким
героям. Они ведь и вправду шагали с на-
шей армией, а дошли, пожалуй, и дальше,
чем им казалось. Дошли до самого Берли-
на. За годы войны и разлуки с отцами —
«не узнаешь сорванца, говорит как взрос-
лый». Ему нынче не до удочки, не до от-
дыха: «теперь молотим рожь, дело не по-
зволит»..

Но наш ребенок, со всей его взрослою
речью, со всем своим чувством патриотиче-
ской ответственности, остается все-таки ре-
бенком:

А уж как охота взлезть
На колени снова
Да обнять, что мочи есть,
Батеньку родного.. («Встреча»)

И вот — эти маленькие растущие х о з я е в а советских земель, как хорошо назвал Александр Яшин свое стихотворение о колхозной школе, об учителе, который водит костылем по школьной парте. Он рассказывает детям о нашей советской земле, об ее неисчислимых богатствах, и речь его вдохновенна, потому что недаром досталась ему эта своя земля — «вся шинель осколками пробита».

Горный Крым,
Карельские снега
Молодость его исколесила...

И «напрягая память, морща лбы», «скрестив босые ноги», — слушают на партах ребята своего учителя, и — «жажда ненастная в глазах».

Подрастут — родимый край подымут,
Власть над каждою речонкой примут,
Ветры, водопады приручат
... Их отцы умели воевать,
Сыновьям — учиться и трудиться...

Поэт любит своих земляков настоящей, верной любовью.

Не нужны и даты под стихами, чтобы почувствовать историческое время, ощутить суровое дыхание войны в атмосфере труда женщин и подростков, в тревожном стуке березовой деревяшки безногого колхозного счетовода, в костыле и шинели учителя, в солдатской гимнастерке председателя, в интонациях повзрослевшего сына, в рассказе отпускника.

Здесь и глаз у поэта зорок на характерные детали, и слух хорош на выразительные интонации, и теплом согрета улыбка, с которой он рассказывает о своем родном колхозе, о своих ребятах, о своем учителе, о своей бобылке Настасье.

Но не всегда, к сожалению, у Александра Яшина поэтическое слово, ритмический ход подсказаны непосредственным ощущением и видением жизни. В одной из своих песен, которые, как правило, менее удаются Александру Яшину, чем поэтический сказ в маленькой лирической новелле, — поэт взял эпиграфом горестные слова:

А и где найти мне, девушки,
Душевных слов?

«Слова-то красивого не подыщешь скоро», — поется в этой песне. Не всегда дается и поэту это ласковое, свое, «правильное» слово.

И вместо того, чтобы искать его, добывать своего, бережно отбирать нужные слова из речи земляков, которую хорошо, как правило, чувствует Александр Яшин, — он использует подчас для своей поэтической работы образы и слова, заимствованные из лирики старой деревни, иной эпохи, иных чувств и человеческих отношений.

Художественно убедительны детали в определении, когда их увидел поэт собственными глазами, когда почувствовал, как «карте школьной тесно на стене».

Но когда непосредственный, пусть и суховатый иногда, без «цветного» сочного эпитета, поэтический рисунок подменяется мертвой стилизацией под старину, — тогда и люди, и природа, вся наша живая жизнь теряет свои неповторимые голоса, краски, запахи.

И тогда молодое, чистое, свежее, как сад в вешнем цвету, чувство, за которым встает мир новых представлений, возникших в советской, а не в какой-либо иной деревне, — душевный мир, который так хорошо раскрывается, например, в народной песне Михаила Исаковского, — в лирическом изображении Александра Яшина вдруг подменяется чем-то внешним, старобытным, «жениховством», стилизованным сватовством, древнерусским «пированием» и т. п.

В стихах о родном колхозе поэта каким-то страшным анахронизмом звучит эта назойливая «тема»: «женихи со всей артели просто очи проглядели» («Зеркальце»); «И уже в колхозе завздыхали, где найти царевне жениха?»; «Парни-бригадиры, парни-трактористы, шофера» — «женихи пороги обивали, не было житья от жениха»... («Невеста»); «Женихи форсят: невесты все разборчивые» («Олёна»); девушка мечтает — «взамуж выйду» («На новый год»).

И все это назойливое «жениховство» кончается в сборнике этакой развеселой, лирической «колхозной» поэмкой «Сватовство», где, как и в других стихотворениях, девушка именуется не иначе, как грубовато-развязно — «девка», «девка-бой!», «такая девка — на колхоз одна была». Вот какая была «девка» и какой счастливый был поэтому колхоз!

Найти слово, острое и умное, чтобы читатель, если не рассмеялся, то хоть улыбнулся, не менее трудно, чем найти ласковое «правильное» слово, свое, а не стилизованное, заимствованное пускай из прекрасной, но стародавней песенной лирики.

Иная жизнь, иные люди, иные у них и песни.

Александр Яшин умеет с хорошей улыбкой показать бобылку Настасью, своих подростков, деревенского почтальона, который, не поняв телеграфного сокращения «зпт», разгадывает это загадочное слово все-таки патристически: «На Запад, мол, на Запад двинулись вперед!..»

Добрый теплом к родному колхозу веет от улыбки поэта, когда он рассказывает о несбывшейся мечте отпускника отдохнуть в деревне, поспать, рыбки поудить. Приехал — и в первый день на сходке «у карты полушарий» о войне до полночи беседу вел.

«На заре второго дня» — тоже беседа в другой артели, потом — в райкоме, в рике. «в школе тоже встречи». Потом пленум в сельсовете — «хоть на часик, будешь делегатом». Перечинил все ручные мельницы в деревне, сочинил сотню писем. И даже.. «в Зою Павловну успел, в доктора влюбиться».

Но задем это вытасненное из бабушкиного заветного сундука о советском докторе в деревне —

«Зоя свет Павловна — ясный свет!»
(«Прогулка»)

К чему стилизованное под научную фольклорную запись стихотворение «На новый год», в котором автор заменил звуком «в» звук «ф» и другие во множестве слов, за чем-то подражая «особенности произношения в некоторых районах Севера», и видимо «для смеху» предлагает в специальном примечании при чтении акцентировать это «в» (в стихотворении вместо кофта — ковта, жовтая, картовка и т. п.).

Наша северная, такая богатая цветом,

звуками, запахами осень, отличная от осени в любом другом краю, превращается у Яшина в стилизованную «Осень-красавицу», шеголяющую в наряде с чужого поэтического плеча — «из раззолоченных листьев», «по сарафану — оборки и стежки», «в желтых сапожках» и тому подобных аксессуарам.

Зачем понадобились Александру Яшину этнографические сватанья, которые полушутя все-таки поэтизирует он, одновременно полувсерьез рассказывая в своей «Балладе о рыбаках», как «мужики» с изумлением глядят на спасающую их «бабу-летчика», на «бабу» — капитана катера, и окончательно приходят к глубокомысленному выводу:

Бабы хоть и слабы, но всё — по душам,
Никуда, ребята, без бабы! («Баллада о рыбаках»).

Советский поэт любим в народе за то, что его поэтические обобщения придают огромную силу в сему новому, растущему, прекрасному в нашей жизни. Его лирика должна воспитывать и развивать мужественное и глубокое человеческое чувство, учить любить в жизни молодую поросль, готовить и звать к борьбе за нее.

Александр Яшин умеет увидеть новое в жизни деревни, ее огромный политический и культурный рост, ее жажду все знать, пафос ее патристического труда, новую девушку и нового юношу, растущих маленьких новых хозяев советских богатых земель.

Но у советского поэта ни одна строка, ни одно слово не должны пропадать даром. Об этом должен помнить Александр Яшин.

Н. Венгров



КОЛХОЗНАЯ ПЬЕСА *

Не в том беда, что послевоенные колхозные пьесы похожи одна на другую, за что нередко их упрекают критики. Один из них, например, путем довольно остроумных выкладок доказывает, что дра-

* Г. Федоров. Пути-дороги. Ник. Ветлугин. Василиса. Иван Щеглов-Пермяк. После войны. Всесоюзное управление по охране авторских прав. Отдел распространения. 1946 — 1947.

матические произведения трех различных авторов: «На далекой реке», «За Камой-рекой» и «Костер», разительно напоминают друг друга. Место действия двух пьес — послевоенный колхоз, третьей — районный центр. Но критик утверждает, и он не столь уж далек от истины, что территория, на которой развивается действие этих пьес, достаточно условна и даже экстерриториальна, что она населена столь же условными пер-

сонажами, находящимися в столь же условных взаимоотношениях. Критик выносит за скобки то общее, что обнаружил он в этих драматических произведениях. Оказывается, что в них совпадают прежде всего любовные коллизии, «треугольники», состоящие из «нее», — принадлежащей к сельской интеллигенции, из «него» № 1 — тоже местного низового работника (учителя, врача, председателя колхоза) и из «него» № 2 — человека заезжего, из другого, «рафинированного», мира.

В этой любовной коллизии, в том выборе, который должна героиня произвести между двумя героями, и дополнительных ее томлениях, так сказать, уже гражданского характера, выражена основная проблема всех трех пьес — выбор между «глубокой периферией» и Москвой. Все три пьесы кончаются тем, что героиня остается на далекой реке, или за Камой-рекой, или у костра, плененная суровой любовью «его», № 1, и разочаровавшаяся в «нем», № 2. С другой стороны, ее удерживают полюбившиеся уже ей деревенские просторы и, как правило, лишь декларируемое сознание своей необходимости.

Но ироническая интонация критики справедлива только отчасти.

Во всех пьесах, бытописующих послевоенное колхозное село, действительно немало схожих мотивов.

Электростанцию строит и председатель колхоза Настасья Петровна с участием других колхозов в драматической повести Геннадия Федорова «Пути-дороги». В пьесе Ник. Ветлугина Василиса (тоже председатель колхоза) строит, правда, больницу, но и здесь поговаривают о стройке электростанции. И в комедии А. Корнейчука «Приезжайте в Звонковое» вопросы строительства, даже уже — проблема стиля послевоенной колхозной архитектуры — занимали очень большое место.

И в «Василисе», и в пьесе Ивана Шеглова-Пермяка «После войны», и в «Пути-дороги» фигурируют персонажи, или в годы войны не воевавшие — все равно, на фронте или на колхозном поле, а обогатившиеся на народной нужде, или занявшиеся «доходными поездками» уже теперь, как один из героев ветлугинской пьесы — Лукашка.

Всюду показаны новые советские женщины, выросшие и окрепшие за годы войны, научившиеся все делать и руководить, пока

их мужа, отцы и братья воевали. Петру Шубину в пьесе «После войны» трудно оставаться в колхозе, председателем которого теперь вместо него будет его жена. В «Василисе» этот конфликт, с одной стороны, переведен в чисто комедийный план: против женской власти протестуют два старика, один — ни к чему не пригодный лодырь, второй — совсем дряхлый. Но наряду с этим Василиса ссорится и с будущим ее возлюбленным — офицером, который думает, «что если в колхозе одни женщины, так из них можно веревочку выть!»

Другие «бродячие мотивы» послевоенных колхозных пьес, как, например, стремление некоторых персонажей в город или строительство электростанций и больниц лучше прежних, выражающие стремление людей, переживших войну и повидавших свет, к большим жизненным масштабам, к более широкой деятельности, тоже взяты авторами из действительности.

Многие темы, персонажи, сюжеты, повторяющиеся у разных авторов, взяты ими из жизни, хотя часто и обеднены и снижены вместо того, чтобы быть обогащенными и возвышенными.

Некогда мнительный Гойчаров упрекал Тургенева в том, что тот похищает у него сюжеты. Разумеется, нет нужды защищать доброе имя великого писателя. Но действительно нигилисты и увлекающиеся ими русские девушки фигурировали во всех романах 60-х годов. Фигурировали потому, что они были в жизни.

Перед нами три новые пьесы о послевоенной колхозной деревне: «Пути-дороги» Г. Федорова, «Василиса» Ник. Ветлугина и «После войны» Ивана Шеглова-Пермяка.

В них должны быть, это диктуется самой темой, отражены и подъем жизни, и строительство, и борьба за хлеб. Больше того, они должны способствовать и подъему жизни, и строительству, и борьбе за хлеб. Они должны были быть вдохновлены такой верой и такой любовью к будущему нашей деревни, основанными на таком знании ее настоящего которые поднимали бы читателя, внушив ему доверие.

Горьковский писатель Г. Федоров написал пьесу о современном колхозе. Федоров попытался охватить широкий круг проблем послевоенного села. В этом его заслуга. Но

несомненная вина или беда его в том, что он не сумел подняться до подлинно реалистического отражения взятого им куска жизни, — во всей его полноте, во всем его естественном течении, не сумел сделать так, чтобы взятые им проблемы вырастали из подмеченных и показанных им процессов, характеров, событий. Пьеса производит впечатление несколько искусственной. Герои Федорова, во всяком случае некоторые из них, кажутся нарочито притянутыми для иллюстрации умозрительно включенных в пьесу, хотя самих по себе и важных тем. Так, например, демобилизованный фронтовик Андрей нужен в пьесе для того, чтобы он ссорился со своей женой Устиньей, которая выполнение своих колхозных обязанностей ставит выше заботы о муже. Другой демобилизованный — Григорий понадобился автору, как носитель темы стремления в город.

Колхозница Орина, сам по себе персонаж живой и правдивый, пужна для того, чтобы другие герои пьесы и вместе с ними зритель могли осудить дешевую корысть тех, кто разъезжает по рынкам и кричит «наш хлеб», когда речь идет о помощи государству. Семен представляет тип несознательного старика (это, впрочем, один из самых удачных образов пьесы). Пахом — напротив, старик сознательный. Глафира, фигура насквозь мелодраматическая, несет тему «дешевого счастья» и противопоставляется Настасье Петровне.

В пьесе говорится о том, что электростанция нужна для того, чтобы поднять жизнь. Очень хороши слова Настасьи Петровны, сказанные ею Степану, по адресованные Григорию: «Он что думал? С войны вернется, здесь ему рай будет? С золотыми яблоками? Нет, Степан, до рая еще не близко. Здесь еще деревня. Здесь работать надо. От электростанции все пойдет».

И тем не менее электростанция в этой пьесе все-таки производит впечатление дежурного аксессуара. Это происходит потому, что в «Пути-дороги» нет ощущения подлинности, настоящей реальности строительства, о котором столько говорится. В этой пьесе какая-то очень путаная, неясная история с любовным «треугольником». Когда Настасья Петровна поверила уже в подлинность любви к ней Степана и решила строить с ним свое счастье, не ожидая больше без вести пропавшего мужа — «чудес не

бывает», именно в этот момент пришло известие, что ее муж, опровергая это утверждение своей женой, вернулся.

Драматург стыдливо не показывает мужа Настасьи Петровны. Мы знаем о нем только из таких слов Устиньи: «Плох. Глядеть жалко. Да и то сказать, — человек четыре года в плену маялся, еле выжил. И жалко, и лучше бы не приходил совсем. И самому не сладко, и Настасью смаял». Этой крайне неприятной реплике ничего не противопоставлено. Неясен конец любовной истории Настасьи Петровны и Степана. Получается едва ли не так, что они будут ожидать смерти ее «жалкого мужа».

Мало истины страстей и правдоподобия чувствования в этой пьесе. Самая борьба за хлеб тоже мало ощущается в «Пути-дороги».

Поэтому особенно радуешься, когда находишь живые эпизоды, правдивые и выразительные характеры, умело схваченные жизненные черты и черточки, даже отдельные реплики.

Такова, например, сцена собрания, на котором председатель райисполкома и Настасья Петровна предлагают колхозникам, несмотря на ограниченность их запасов, сдать государству дополнительный хлеб. Здесь правдиво и естественно раскрываются все характеры и по-настоящему вырастает сама Настасья Петровна.

Если в «Пути-дороги» послевоенные трудности показаны, так сказать, сдержанно и больше ретроспективно, то «Василька» Ник. Ветлугина начинается с картин разрушений, которые были бы по-настоящему жестоко правдивыми, если бы автору порой не изменяли вкус и чувство меры.

Война еще не кончилась. «И несмотря на то, что бои шли рядом, на родное пепелище пришли люди, окостеневшие от холода и страха. Спотыкаясь, бродили они по пожарищу, рылись в горячих еще углях, с тупой надеждой отыскать хоть что-нибудь из погибшего добра», — говорится в первой ремарке. И уже в ней встречаются описания, удручающие своей чрезмерностью, явно мелодраматического происхождения: «Появилась Аграфена. Дико озирается. Потрясенная горем, некоторое время она стоит неподвижно, потом вскидывает руки, из груди ее вырывается стон и она проходит с глубоким рыданием».

Столь же мелодраматичны сцены с мертвым ребенком Василисы, которого силой отнимают от нее, и почти мистическая первая встреча ее с капитаном Орешко. Страдания Василисы, как и все другие чувства ее и Орешко, очень уж стилизованы и символизированы.

Василиса. Вы?

Орешко. Я.

Василиса. Я вас сразу узнала.

Орешко. Как вы говорите? Я капитан Орешко с Мелитопольщины.

Василиса. Откуда вы меня знаете? Простую колхозную свинарку.

Орешко. Хороший человек, как на горочке, его со всех сторон видать».

В пьесе, рядом со сценами реалистическими и в хорошем смысле приподнятыми немало сцен фальшивых, псевдоприподнятых, а еще чаще и то и другое переплетено в одной сцене.

Трескуче-напыщен с начала до конца колхозник Прокидин. Сама Василиса временами чрезвычайно плаксива. «Что же делать, голубчики? Помогите! Пропала я, пропала! Ведь хлебушко. Хлеб наш насущный.. Как без него? Сами голодные, солдат кормить надо.. Война требует. Помогите, миленькие!» — говорит она во второй картине. Много жалуется она и в других картинах. В каждой сцене «устало садиться». Несмотря на излишнюю слезливость и нерешительность, Василиса во многих сценах предстает перед нами, как действительно хороший передовой председатель колхоза, как человек с чертами нового.

Жизненно правдива и колоритна сцена, когда девушки наряжают Василису на слет передовиков. Одна — в свое шелковое платье, другая — дает ей свои туфли на высоких каблуках, третья — делает ей модную прическу. А затем сюда же приходит Орешко, и они с Василисой, не узнав друг друга, встречаются уже без всякой мистики, а с настоящим юмором.

Но история большой любви двух советских героев — демобилизованного фронтовика и председательницы колхоза, потерявших на войне всех близких и друг в друге нашедших новое счастье, увы, тоже лишена истины страстей и правдоподобия чувствований, как и многие другие, ей подобные, истории в других пьесах.

И все-таки «Василиса» имеет гораздо больше достоинств, чем «аккуратная» и

ровная пьеса Федорова. Заслуга Ветлугина уже в том, что он попытался показать движение послевоенной жизни, как от испорченного замка — единственного уцелевшего имущества Прокидина — колхоз поднялся до открытия больницы, «лучше прежней», как сама жизнь стала мудрее и выше прежней, как Василиса, которую мы узнали в высшем напряжении страдания, вновь нашла себя и тянется уже к новому счастью. Ветлугин и героев своих старался показать в развитии, в движении, в различных проявлениях, вызванных различными обстоятельствами. Так, например, совершенно правдоподобно перерождение лодыря, шута и стяжателя, а в прошлом хорошего колхозника и честного вояки Лукашки после перенесенного им большого потрясения. «Приехав домой — Варька. В лагере смерти у фашистов была. Шагнула навстречу и упала. Скрипнул я от жалости зубами — сестра ведь... Надо понять мое состояние. Есть у меня совесть или нет? Я вас спрашиваю? — есть у меня совесть или нет?»

И в пьесе действительно есть хорошая горячность и живая заинтересованность автора в преобразовании жизни.

В пьесе Ивана Шеглова-Пермяка «После войны» этой горячности, этой заинтересованности, к сожалению, несравненно меньше, чем в «Василисе». Пьеса Шеглова, видимо, задумана и написана, как прямой ответ на постановление партии и правительства о соблюдении колхозного устава. Но ответ не художественный, основанный на пропихивании в живую жизнь и ее потребности, а дидактический, поверхностный.

Несмотря на то, что конфликт этой пьесы, то ли для углубления, то ли по причине традиционности драматического мышления автора, перенесен в одну семью, события и расстановка сил и сами характеры этой драмы производят впечатление специально подобранных. Очень уж как-то неглубоко все это. Персонажи (все они члены одной семьи, за исключением почтальона и некой дряхлой бабуся) разбиваются на два лагеря. В одном — супружеская пара стяжателей: старшая дочь Полина, выработавшая за год только тридцать трудов дней, и ее муж, воруемый на железной дороге, где он работает весовщиком. Во втором — жена слабохарактерного старшего сына, председателя колхоза Петра, его отец, старик очень правильный, но и очень слашавый, и его сестра

Даша. Петр и старуха Шубина мечутся между двумя лагерями. Есть в этой семье, разумеется, и приезжающий в конце демобилизованный фронтовик, рекомендованный на должность председателя сельсовета. — младший сын Федор.

Семейная форма явно узка для темы. Конфликт пьесы, взятый крайне неглубоко, но верный сам по себе, сформулирован в разговоре Петра и Анны:

«Петр: Да, не легко нынче председателю... Беспокойная работа... Из района тебе командуют, здесь народ с тебя требует, и домой придешь — отдыха нет. А того не признают, что война хозяйство в упадок привела и людей измотала.

Анна: А ты за людей не говори. Они сами за себя скажут. За войну они неплохо поработали. Все отдавали.

Петр: А теперь иди-ка, возьми. Кто своей усадьбой живет, а кто на производство тянется.

Анна: Не доверяют... Они хотят после войны жизнь свою поскорее наладить, в порядок себя привести. А на тебя надежда плохая. Ты на войну сваливаешь, а сам родную сестру работать заставить не можешь. Думаешь, они этого не видят?»

Вот этих-то людей, о которых говорит Анна, в пьесе нет. Нет в ней поднимающейся жизни. Новое сводится к чтению газет Иваном Михеевичем и слушанию радио его женой. Большая тема дана умозрительно. Характеры условно сценичны. Мир пьесы искусственен и мелок.

Нет, не в том беда, — кончим мы тем, чем начали статью, — что современные пьесы на колхозные темы во многом похожи одна на другую. Беда в том, что они в большинстве своем еще недостаточно похожи на колхозную жизнь, такую, какая она сегодня, но и такую, какой она будет завтра.

А. Марголина



ПАРОДИИ И ШАРЖИ

★

Александр РАСКИН

ОЧЕРКИ И ПОЧЕРКИ

(Посвящается некоторым горе-очеркистам)

I

Детки тетушки Жени

(Очерк из серии «Агу, не могу»)

Я иду прямо, потом сворачиваю в переулок, и вот я в знакомом тупичке, где милое солнышко золотит любимую всеми нами вывеску: «Ясли № 8 при Мосгосяйцекуриценептице». Позади остались просторные наши улицы, нарядные новые дома, вместительные троллейбусы с вежливыми улыбающимися кондукторами и корректными контролерами. Белый особнячок в зеленом весеннем манто из тополей нежно ласкает мне глаза.

Уже издали я слышу радостный счастливый хор. Это приветствуют меня маленькие мои друзья: сосунки, ползунки, родимчики и прочие симпомпончики. Это они выбрали меня на днях своим почетным слюнявчиком. Агу-агусеньки, крошечки мои... Ни бу-бу... ни бе, ни ме, но куку-реку...

Пухленькие ножки, кругленькие личики, чудненькие вы мои младенчики, коллективно-воспитунчики.

— Уа-уа! — дружно кричите вы мне.

Я понимаю вас, младшие наши товарищи. Вы хотите скорее подрасти, учиться «на отлично», нести общественную нагрузку, получать золотые медали и попадать без экзаменов во все вузы страны. Я сама была когда-то такой же. Но не такой веселой. Только глядя на вас, я поняла, чего мне нехватало. Яслей, таких вот, как эти. Не потому ли я такой частый гость здесь?

— Гу, гу... — лепечет синеглазый розовощекий крепыш, месяцев 2 — 3-х с виду, фунтов 20 — 30 с весу. Новенький? Будущий агроном? Летчик? Инженер?

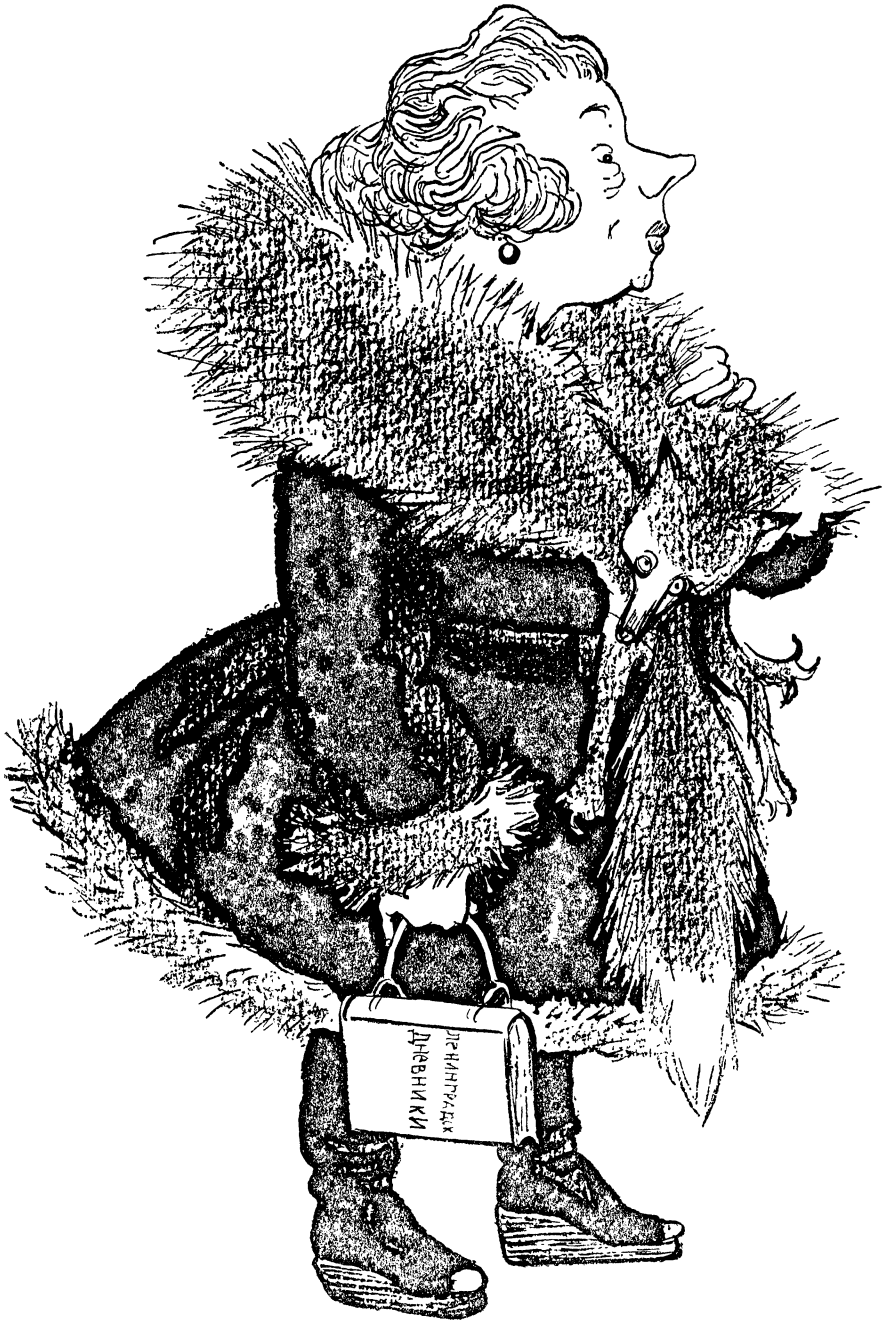
Будь кем хочешь, малыш! Не пиши только очерков о детях. Ты обещаешь мне это? Ты слышишь меня? Уснул. Ах ты, чудачок-рыбачок...

Дети любят сладкое. Я — тоже. Мои карманы всегда полны засахаренных фруктов, патоки, постного сахара, розового варенья и сиропа... Щедрой рукой одеваю я своих будущих читателей. Завтра я принесу им книгу своих очерков «Рахат лукум». Им она понравится. Я почти уверена в этом. Как быстро летит время. Неужели я снова в своем знакомом тупичке? Да, это он. До скорого, тупичочек!

Евгения Сю-сю

ВЕРА ИНБЕР

Дружеский шарж худ. Кукрыниксы



Ян САШИН**ПЕШКОМ НА ЛУНУ***(Научно-фантастический роман)***Глава первая**

Профессор Николай Орестович Чебурихин сидел в своем кабинете, наклонившись над рукописью, и думал. По выражению его лица было видно, что какая-то необыкновенной трудности проблема тяготит его. Профессор почесал затылок, поерзал в кресле и вдруг совсем молодо (а ему было уже за шестьдесят!) воскликнул:

— Эврика!

И Николай Орестович вдохновенно порбормотал:

— Всякое тело, погруженное в жидкость или газ, теряет в своем весе столько...

В дверь постучали.

Вошедшему на вид было лет двадцать пять. Высокий, весь ладно сбитый инженер Петр Ползуков энергично уселся в кресло.

— Я пришел, чтобы узнать ваше мнение о моем проекте, Николай Орестович, — запальчиво проговорил он.

— Вы изумили меня, но, — профессор чуть замялся, — я запомнил, о чем там идет речь. Напомните, если не трудно.

— Постройка винтовой лестницы на луну.

— Да, да! — подхватил профессор. — Вспомнил! Это эпохиально! Пока наши авиаторы соберутся на луну на своих сверхракетных снарядах, мы уже будем там! Пешочком. Тише едешь — дальше будешь!

И профессор ободряюще похлопал Ползукова по плечу.

Глава двадцать восьмая

Доктор астрономических наук сэр Патрик Сведром повернул трубу телескопа чуть вправо и замер: необыкновенное препятствие мешало ему различить в совершенно безоблачном небе несколько светил. Объяснив себе это чрезмерной усталостью, сэр Патрик Сведром вышел на балкон обсерватории. Ласковый ветер, дувший с Ламанша, несколько освежил ученого, и он вернулся к прежним занятиям.

Однако странное видение не исчезало. Блуждая в неясных догадках, сэр Патрик Сведром готов уже был пригласить секретаря Вууда, но решив, что открытие должно принадлежать только ему одному, воздержался от каких бы то ни было сообщений.

Уже на рассвете, уходя, он застал мистера Вууда в вестибюле.

— Хэллоу, старина! Как спалось?

— Благодарю, сэр.

Вууд был слишком болтлив, и сэр Патрик Сведром понимал, что это неспроста. В голове астронома мелькнула страшная догадка: Вууд не спал. Но мистер Сведром тут же успокоился, так как сила объектива телескопа, с которого мог наблюдать небо Вууд, была несравненно слабее.

Мистер Сведром вышел из обсерватории. По Лондону попрежнему протекала Темза. Готический силуэт древнего Вестминстерского аббатства вырисовывался бы на фоне утреннего неба, но был туман.

Глава сорок шестая

После того, как все открылось, и весть о постройке винтовой лестницы на луну дошла до Лондона, в британской столице произошло множество событий: акции концерна Лифтскомпани безнадежно упали, стоимость авиационных моторов понизилась вдвое, зато фирма, торгующая лестничными перилами, переживала небывалый подъем.

— Перила — вот на что можно опереться, — говорили британцы, расходясь.

Глава девяносто девятая

Когда Петр и Муся поднялись по лестнице до самого верха, настало время исполнить обещание, данное Мусей Петру. Она должна была здесь впервые поцеловать его.

Теперь каждому из них было уже около семидесяти лет, и времени на обратную дорогу не оставалось. Двое влюбленных стояли под огромной луной. Никогда еще не целовались влюбленные под такой луной.

Муся осторожно потрогала холодную поверхность луны и вдруг вспомнила, что она уже не молода, и ей расхотелось целовать Петра.

— Ты обманул меня, Петр, — сказала она, — зачем ты потащил меня в такую даль? Разве мало дела на земле?

Она беззвучно, невесомо заплакала.

Петр с минуту стоял неподвижный и гордый, но потом сразу весь обмяк и тоже заплакал.

— Я не виноват, — всхлипывая, шептал он, — это все они, авторы научно-фантастического жанра...

Наконец он вспомнил, что он все-таки мужчина, и сказал:

— Не плачь, Муся, я изобрету лифт, который вернет нас на землю. И тогда Муся, невзирая на преклонный возраст, поцеловала его.

★

МОРЯЧИЙ БРЕГ

(Н. Вагнер)

Рассказ

*«Он подсаживался, пытаясь незаметно приобнять Марфу...»
«...давая рыбе возможность поуйти из невода...»
«С растопыренными руками, дикий, всклокоченный, он шел на Марфу, и глаза его шарили по ее лицу, рукам, бедрам.»
«Во что-то упругое уперся кулак, Матвей отшатнулся, осел и понял, что это упругое — марфина грудь.»
«Руки Матвея были уже на груди Марфы, и Марфа не отбивалась больше.»*

У поприутихшей морской воды, на поизломанном ветрами скалистом берегу сидели трое: Онуфрий Ноздря — заскорузлый молодой парень, дед Никифор и поморская девка Агафья. Все трое смотрели на море громоздкими, зачарованными взорами, будто видели его впервые в жизни.

— И нету ему, морюшку, вишь, предела, — сказал дед Никифор, пропуская сквозь пальцы исседа-белесую волну бороды.

— Это ты — верно, — отозвался глухим голосом Ноздря, и глаза его посмутнели.

— Откель же ему повзяться, пределу-та? — спросила Агафья, скривив настырные губы.

— А ведь эка подумать — и впрямь неоткуда повзяться, — зловеще прошептал Онуфрий Ноздря.

Они замолчали. В протянувшемся просторе бирюзово голубели шняки, баркасы и карбасы. У берега лох блеснул серебром хвоста и, оборотившись семгой, опять поуплыл на нерест.

— Вот хоть бы, скажем, шторм, — неопровержимо молвил Онуфрий, еле сдерживая вопросы, рыбьей костью застрявшие поперек горла.

— И то правда, эка сила могутная, — процедил сквозь зубы дед.

— Сила, она свое берет, — потаенно замлела Агафья и выставила из-под узорной юбки икрастую под рыжеватым пушком ногу.

Дед Никифор пошарил опасными глазами и как-то вдруг подался и надвинулся на Агафью.

— Поприубью! — скрипнула Агафья, удушливо глядя куда-то вкось, и уперла багор деду в подложечку.

На море разыгрывался не просто шторм и даже не Г. Шторм, а Н. Вагнер и другие поморские прозознатцы.

Читателя поукачало...



Главный редактор **Константин Симонов**.
 Редколлегия: **Борис Агапов, Александр Борщаговский,**
Валентин Катаев, Александр Кривицкий, Константин Федин,
Михаил Шолохов.

Редакция: Москва, 8. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Сдано в набор 21/IV—47 г. Подписано к печати 15/V—47 г.
 А 02056. Объем 12 печ. л. Тираж 64.300. Заказ № 1361.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва.

Цена 5 руб.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ СССР
ГОССТРАХ

СТРАХОВАНИЕМ ЖИЗНИ
В ГОССТРАХЕ
МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ

С е б я

- при дожитии до определенного возраста
- при инвалидности, происшедшей от несчастного случая

Семью и близких

- в случае смерти застрахованного

— o —

Страхование заключается на любую сумму

Для заключения страхования и за справками обращайтесь в инспекции или к агентам Госстраха